№ 2 (76) 1995 г.

СВЕДЕНЬЯ

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

№ 2 (76) 1995 г.

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"
Париж — Москва — Нью-Йорк

Генеральный спонсор:
"Круглый стол бизнеса России"

Главный редактор — Александр Глезер

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ,
Дмитрий БОБЫШЕВ, Георгий ВЛАДИМОВ,
Виктор ЕРОФЕЕВ, Вадим КРЕЙД,
Виктор КРИВУЛИН, Юрий КУБЛАНОВСКИЙ,
Алла ЛАТЫНИНА, Генрих САПГИР,
Николай ФИЛИППОВСКИЙ, Сергей ЮРЬЕНЕН

Publishers:
Third Wave Publishing House

Адрес редакции в США:
Alexander Glezer
286, Barrow Street, Jersey City,
NJ 07302 USA

Адрес редакции во Франции:
Alexander Glezer
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron, France

Library of Congress Catalog Card No. 84-8582
ISNN: 0747 — 7287

ОТ РЕДАКЦИИ

"Стрелец" вступает в новое десятилетие своей жизни.

Начав свое существование десять лет назад в Нью-Йорке, он стал притстанищем для многих ныне хорошо известных русских литераторов, эмигрантов и тех кто оставался в метрополии, но чьи произведения не были угодны по тем или иным причинам советскому политическому и литературному истэблишменту. Широтой своих эстетических взглядов "Стрелец" привлек на свои страницы как реалистов, так и авангард, став одним из самых авторитетных и читаемых изданий русского зарубежья.

С изменением политического климата "Стрелец" вернулся в Россию, чтобы и здесь продолжать собирать лучшие литературные силы, независимо от эстетической и прочей конъюктуры, печатая писателей разных поколений и эстетических ориентаций.

Переживая со страной ее трудности и надеясь на их постепенное преодоление, редакция "Стрельца" по-прежнему остается привержена своей позиции — вере в свободу, в свободное слово и в непреходящую ценность и силу русской культуры.

Михаил Воздвиженский

ШРАМ ОТ ВЗГЛЯДА

Повесть увиолевого смысла о больничном мегаполисе

— Господа умирающие! По отдельности мы никого не докричимся! Нам остается грянуть общим горлом: "Няня! Няня!"

— Дуреешь, дед! Их здесь лет пять, как след простыл.

— Тогда кликнем сестру! Сестренку... Ну, энергичненько: "Сестра! Сестра!"

Сестра Наташа в палате хозрасчетника (тысяча в день), съев вазу черешни, три кружка ананаса, запив угощение бокалом ликера "Амаретто" с привкусом ореха, смачно сорвала таиландские трусики и стала медленно опускаться на волосатых руках Аликпера Касимзаде, словно космический челнок, вышедший на стыковку с орбитальной станцией.

— Сестра! Сестра! — задавали ритм раковые и циррозники.

— Молодцы, господа умирающие!

В родильном отделении у Жанны Краюшкиной начались схватки, но одновременно подошла очередь к телефону. Жаннетта, придержи-

вая нетерпеливый плод, кинулась к телефону, а отзывчивые сопалаточницы помогли: опустили монету и набрали номер подружки.

— Ну как у теба с ним? — нетерпеливо спросила Жанна и стала слушать про то, как ее подружку Светку Колька повел по над прудом, и как они удачно сделали в кустах свое дело.

— Я, слышь, приперлась к нему с коляской! — гремела в трубке подружка Света. — Я, слышь, лежу, а сама незаметно ногой подкачиваю! Теперь слушай про нашу лавку...

Проходившие мимо постояльцы родильного отделения заметили Жанне:

— Да ты никак окончательно рожаешь. Жаннка!

— Пусть! — Отмахнулась Жанна, впитывая новости: как всем кассиршам выдали мешки для денег, как они разворачивают их между ног и кидают туда выручку, а сучку Прасковью поставили на контроль в овощной, а Ванька, перетрахавшись со всеми из кондитерского отдела, перекинулся на бакалейный.

— А у тебя вообще-то как дела? — спросила Света.

— Что ты! У нас сегодня утром вахтер спятил... — начала было Жаннетта, но в этот момент что-то липкое свалилось ей под ноги...

Таракан Василий Иоанович, сожрав у плинтуса хлебную крошку, лениво посмотрел выпуск программы "Время", прикрыл глаза и стал размышлять о судьбе родины: эко, они все изуродовали кругом, сколько проживаю в этой больнице, а чтобы старухи дрались из-за хлеба и не снилось мне, и куда мы приползем с этими правителями? жирные боровы улыбаются, под их взглядом все рушится, а они улыбаются. Василий Иоанович, заметив бегущий по линолеуму коридора молодняк, раздраженно подумал: куда поперлись, идиоты, они у меня сегодня будут иметь собрание!

— Мы совершенно забыли о техническом прогрессе! — сплевывая мокроту в собирательную пробирку, волновалса Илья Соломонович Кранцберг. — Не пустячок техника-то! А ведь какую отрасль ни возьми — полувековое отставание! Все можно наверстать, но технику...

— Фашисты на носу, а вы о каком-то прогрессе талдычите, тем более о техническом! - возражал Кранцбергу поэт Агафон Данилович Семирунный, пишущий на военные темы. — Тьпфу на ваши станки и на ваш инструмент!

— Не проплюйтесь, уважаемый Агафон Данилович! Как можно упустить из вида столь важный аспект развития? Куда мы денемся без технологий, а? Ну будем закупать у Сингапура пылесосы и холодильники, так ведь стыдно же. Мы и сами могли бы производить эти железки, бог мой! Мясо закупаем! Смешно... Мы же становимся беднее самой бедной африканской страны, неужели такой вариант вас устраивает?

— Да-аа пошли вы... — задохнулся поэт от возмущения. — Что вы заладили, я же о вас пекусь, это вас, евреев, в первую очередь придавят фашисты! Вот вы харкаете, а у них отменное здоровье, они энергичны, у них не кулаки, а маховики. Давайте, я вам доложу свое стихотворение "Летит Буденный на коняге, чтоб Бабеля прижать к коряге"...

— Потом, как-нибудь, Агафон Данилович, мне пора идти на укол.

— Так и мне металл брать!.. Пошли вместе. А вы слышали, какое коленце отколол наш вахтер, этот пидор? Грандиоз!

— Да. Что-то фантастическое...

В ординаторскую, к врачу Галине Яковлевне Каюк явилась тоже врач Нелли Францевна Селедкина, чтобы выяснить детали необычайного опыта.

— Мы действительно выступили с важной инициативой! — сказала Г.Я. Каюк. — Мы принялись экономить лекарства!

— Очень интересно! — воскликнула Н.Ф. Селедкина. — То есть, чтобы больные не разбрасывали таблетки, а сестры аккуратно добирали раствор из ампул! Так я вас поняла?

— Нет. Мы пропускаем попросту один прием лекарств! Всего один прием, но это дает экономию почти в 1200 рублей на круг. В объеме страны такой финт принесет миллиардную экономию! А вот смертность, представьте не увеличилась, а несколько даже понизилась!

— Очень интересно! Ох, как я вас понимаю! Я сама давно думала, что лекарства вызывают новые болезни, так называемые лекарственные болезни! Так ведь?

— Нет. По нашим исследованиям такой эффект происходит от того, что мы частенько выписываем больным не те лекарства!

— Очень интересно! Мы непременно воспользуемся вашим опытом! И я так полагаю, что нам никто не запретит пойти дальше, то есть упразднить сразу два приема лекарств. Как вы на это смотрите?

— Идея выше всяких похвал. По правде сказать, мы сами уже подумывали об углублении опыта. А теперь, вы уж меня извините, мне нужно на обход, мы сегодня задержались, у нас вахтер отмочил штуку! Врачи не могли войти в больницу, можете вообразить?!

— Очень интересно! То есть я хотела сказать: какой ужас!..

Троица славилась недисциплинированностью. Троица просыпалась позже всех. Троица — каждому под пятьдесять — легко воспринимала чудеса существования. Это свойство характера и соединило их в палате. С такими хорошо воевать, строить в суровых условиях, голодать, жить в бараках, пробираться сквозь тайгу, дрейфовать на потерявшейся в море барже.

— Опять народился на белый свет! — сказал Чуматко проснувшись. — Четыре волоса соскочили за ночь! А за неделю пребывания в этой вонючей лекарне я постарел на несколько дней!

— На семь! — подсказал Константин Иванович Верхов.

— А что тебе снилось, Константин Иванович?

— Девки в бессменном виде! И будто я стою с ними в очереди за талоном на получение другого талона. Получаю этот талон, иду получать товар, а дают японские презервативы. Я спрашиваю продавца: а девки чего стоят, они же готовы, им товар совершенно излишний. А продавец отвечает: то спекулянтки!

— А тебе, Никулькин, чего во сне представилось? — спросил Чуматко третьего постояльца.

— Что изобрел искусственную мочу и велосипед, управляемый по радио. Прихожу получать вознаграждение, а там некролог: всего два инфаркта потребовалось фрезеровщику Никулькину, чтобы внедрить свои новшества! Большой портрет и я в гробе сфотографирован.

— Выдали гроши?

— Смешно и очень громко! Вылезаю я из гроба, подхожу к начальнику отдела кадров, тоже хохол, никак не может правильно по-русски выражаться, например, говорит: у меня жена 18 лет не курит и в рот не берет... Вот этот хохол мне и кричит: возьмите, Никулькин, из-под отсюда свои документы, да укладывайтесь обратно в свою гробину. Будете, кричит, временно проживать в ней, потому что у нас идет реформа всеобщей гроботизации и волчеризации! А тебе, Чуматко, было видение?

— А як же! Будто тикаю на своем бульдозере за границу. С фигуристою самочкой тикаю! И шкварят за мной несколько самоходных установок с ядерными боеголовками на х... похожими. И подлетаю я к сше. Президент Буш с жинкою шкирятся, ручками машут, ансамбль негритянских балалаечников наяривает. Пересек я границу, со мной завязалыся несколько пограничников прицепившись. Только мы пересекли границу...

— Нет же у нас границы с сшой!

— Видение же, Никулькин! Железяка ты, а не человек!

— Ну, ну! Чеши дальше.

— Перебил, зараза... Мы, значит, пересекли полосу, а преследователи вынуждены затормозить со страшным скрежетом. Принялись мы с Бушем мерить, не порушили ли они неположенно границу. Нет, не порушили. Буш, между прочим, говорит: ну и скорость, едрена мать, у ваших самоходок, уж извиняйте! А мне улыбается, шкирится: Вас, Пантелеймон Романович, ласково просим быть другом нашего народа. Да уж, не врагом, говорю Жорж Иванович! А тут моя красотка выпрыгивает уперед и с некоторым стриптизом объявляет: а я вот с пятнадцати годков друг всего народа! Смотрю на нее, ну проститутка проституткой, а когда сажал на бульдозер, думал девица! Ладно, пора рубцеваться, у меня "Филипп-Морис"!

— У меня тоже "Астра" — сказал Никулькин. — Пойдем, взглянем на природное оживление... Из окна туалета!

Туалет оказался на большой приборке. Пару раз дернув конструкцию двери, они услышали женский голос Михайловны:

— Нехера дергать! За вами безобразия тру. В других больницах давно уже лечат голодом и лишением сна, а тут все по старинке — кормят сволочей!

— Идет гонка выражений, — констатировал Никулькин.

— Послухайте, любезнейшая, — обратился к голосу Чуматко. — Самовар закипел, куда прикажете сливать?

— Сдай на анализ! Ты вообще чистый хохол, ты теперича иностранец, нехера в России бесплатно ссать, всю Россию обоссали, ино-верцы!

— Собеседники согласились на ничью! — улыбнулся Чуматко и спросил товарищей: куда теперь? Из отделения не выйдешь — с субботы запрещено. Остается Сонетке набрехать пару доводов.

Сестра, заметив их, давно уже дергала пальчиком.

— Эй, вы трое, — оба ко мне! — по причине высокой профессиональной выучки, Сонечка работала с насмешливой ударностью. — С утра травитесь?! Натощак? Врачу передать? Она и так решала на днях что с вами делать, не выкинуть ли вас к е... матери!

— Да здравствуют кадры, которые решают все! Сонечка, мы и так живем без женской ласки, а вдобавок прикрывают туалет! Сонечка, некуда сливать излишки организма. Но ведь существует конституция...

— А вы кстати, куряки. Пусть вся ваша троица бежит в палату № 8, где один товарищ взялся умирать, придумают же... Чего тебе? — спросила она подошедшую старуху Исполкомову.

— Большое тебе здрасте! — поздоровалась старуха. — Посмотри, милая, нерв у меня не потрясен?!

— О, господи! Какой еще нерв?

— Общий...

— Тебя бабка, видать, переколили на процедуре. Счас некогда, приходи со своим нервом попозже! А вы бежите, я следом...

В палате № 8 шла характерная для ЧП возня. Больной полулежал с закрытыми глазами, а дежурный врач увлеченно искал на его руке пульс.

— Нету никакого пульса, — раздражался врач. — Черт его знает куда теперь все девается!

Хозяева палаты общительно пояснили Никулькину:

— Проснулся и тяжко так застонал, руками воздух гребет... Ну тут Сонька каких-то капель ему. Он глотнул и захрипел!

— Кислороду! — скомандовал врач, увидев входящую Сонечку. — Дайте ему кислороду!

— Откуда он здесь! — хмыкнула сестра со знанием обстановки. — Нету!

— Как нету? — врач бросил руку больного и принялся крутить над койкой крантик с надписью "O_2", который однако никакого O_2 не выдал. — И кислороду нету...

— Он сроду не шел оттудова! Вот пригнаны помощники, — Сонечка показала на троицу. — Эти молодцы сейчас сбегают в больницу ветеранов за подушкой, я договорилась.

— Их Капитоныч не выпустит, вы что!

— Капитоныча уже нет. Он сегодня финт учинил.

— Адреналин! — крикнул врач, протягивая в пространство растопыренные пальцы. Сестра вложила в них заряженный шприц, и врач решительно всадил его в сердце больного.

— Что стоите? — обернулась Сонечка к посланникам. — Бежите, в кабинете интенсивной терапии возьмете подушку!

Троица понеслась по коридору, скатилась по лестнице, но была остановлена у выходной двери.

— Куда, дьяволы? - важно спросила их старуха в замызганном халате, то ли гардеробщица, то ли рабочая прибольничного сада. — Думаете, Капитоныча сместили, так теперь можно бежать. Нет вы-хода!

— Так мы же за кислородом для умершего человека!

— Как это? И кто послал?

— Сестра и, окромя того, дежурный доктор!

— Меня никто не предупреждал!

— Бабуся, мы люди подневольные, нас послали, мы бегим!

— Выход больным на территорию воспрещен!

— Вы вразумите, человек отдает концы, ему нужен воздушный кислород, про вас маленько подзабыли...

— Требуется разрешение! Вы мне голову не морочьте...

— Я стану загибаться, обязательно оповещу вас денька за три. А этот, что теперь отбрасывает сани, выпустил вас из вида, дурак!

— Здесь не Дахау же, — привлек историческую аналогию Верхов.

— Пусть мне звонят, этак все разбегутся! И кого лечить?!

— Вы сами позвоните, — мирно попросил Чуматко, — второе отделение, пост первый, а мы побегим! — Чуматко мягко, но решительно отодвинул ее руку, снял скобу, распахнул дверь, куда выпор-хнули его товарищи. — И кто только понаробил таких бабулек!

— Нет, вы посмотрите, как быстро нашли замену Капитонычу, — восхитился на бегу Константин Иванович. — И достойную замену!

— Це верно! А ведь, казалось, Капитоныч — Бог! Заместитель Бога, по крайней мере...

— Первый заместитель, — поправил Никулькин. — Сторожа, военизированные охранники, просто вахтеры, секретарки и, наконец, администраторы — это правители на Руси! Кстати, Капитоныч был не вахтером, а по штатному расписанию он значился администратором! Сторож и вахтер требуется государству для беспорядка...

— Ты у нас Никулькин чистый теоретик! И практический человек... С Капитонычем, оказывается дружил.

— Общался, — поправил Никулькин. — Весьма интересная личность. Но продолжаю: не было бы столько у нас сторожей, никто бы ничего не тащил с производства, учитывали бы на месте и болт, и гвоздь. Но государство как считало: есть сторож — значит нет воровства. Отсюда, то есть с Капитоныча, и начинался обман. Путь Капитоныча к вершине, то есть к сегодняшнему бунту, достоин повествования, и, если угодно, научного эссе!

— Ну поведай нам! Вот мы сейчас отольем в окружающую среду, ты и начнешь...

Эссе Никулькина о вахтере Иване Капитоновиче Детогрызове

Иван Капитонович приступил к обязанности вышибалы нашего корпуса ровно год назад. В его обязанности входило соблюдение правильности посещения родственниками больных в отведенных границах по среднеевропейскому времени. График висел на стене, правила рядом. Как блюстителю ему полагался халат, стол с ящиком и стул. До высочайшего назначения работать с людьми Иван служил такелажником литейного завода, выпускающего чугунные чушки. Иван на электрокаре транспортировал эти чушки с литейного цеха в механический, но при этом путал "время технологий", как выражался мастер Столбов, технология в самом деле тормозилась, а самого Ивана все чаще погружали на его же кар и вывозили за проходную, где и сбрасывали, чтобы не портить картину налаженного производства. Словом, очухавшему Ивану год назад выдали трудовую книжку с восьмью вкладышами, переведя тем самым такелажника 3 разряда в разряд вольного гражданина, подыскивающего должность. В этот момент подвернулась соседка Надежда Константиновна Околелова, которая и посоветовала Ивану толкнуться на должность администратора больничного корпуса.

— Будешь стоять в дверях, не пускать людей! — объяснила она цель должности. — Мужик ты мускульный, справишься! А помимо оклада жалований, тебе будет причитаться трехдробное питание.

Поначалу Иван очень боялся посетителей, потому что многие выглядели куда солиднее самого директора завода литейных чушек Арнольда Мартыновича Дмухайло. Многие, прежде чем пройти мимо Ивана, смачно хлопали дверцами собственных автомобилей, несли в руках букеты роз и сумки с явно деликатесным продуктом. Иван встречал посетителей стоя, остолбенело вытянувшись в струну, провожал посетителя подобострастным взглядом, а на любое обращение к нему отвечал по-солдатски четко: "Температура нормальная, будут жить!" И даже, когда посетители являлись с нарушением режима, Иван любезно улыбался, выбрасывал руку, как бы даже приглашая войти. Думал он при этом оголенно просто: кто сюда завернет без крайней нужды, больница ведь, не пивная и не магазин!

И вот однажды очень интеллигентный человек, явившийся в неприемный день, завел с ним долгий разговор, насчет своей матушки лежащей ничком. И дав ему полный путь, Иван выслушал целый ворох благодарностей, который никак не мог поначалу осмыслить. Ну прошел себе и прошел, чего тут, шлепай, тем паче, матушка тебя ждет не дождется! Но с этого посетителя Иван уже невольно стал отмечать у нарушителей особое к себе почтение и внимание. Почтение высказывали ему и врачи, учтивость их, он понял, обусловлена тем, что к ним приходили блатные на всевозможные обследования — в корпусе были сосредоточены диагностические кабинеты. Словом, очень скоро Иван ощутил некое равенство с солидным лицом, больше того, в каком-то смысле он, оказывается, повыше любого дорогого костюма, оказывается, именно от него, пусть в прошлом пропойного мужика, зависит пройдет мимо владелец автомобиля или будет твердо остановлен со своим букетом роз. И улыбка подобострастная сменилась на улыбку снисходительную. Вскоре улыбка исчезла вовсе, совсем не заметил Иван, как стал встречать любого посетителя взглядом вопросительным, встав навстречу идущему. В один прекрасный день он встретил уже солидного вопросом "К кому? Почему в неурочное время?". И задав неожиданным образом свой вопрос, Иван немедленно подумал, что может получить в ответ по уху или уж в крайнем случае услышать в ответ хорошую брань, наподобии той, что ему приходилось слышать от заводского начальства. За свои пятьдесят прожитых лет, он в основном не спрашивал, а с потупленным взором отвечал, используя не полные румяные слова, а смятые, затравленные междометия. Слыша теперь свой голос, громкий и требовательный, Иван долго не мог поверить в то, что это говорит он сам, что его слышат, да не просто слышат, но и отвечают ему. И как отвечают-то! С повинной головой, вялыми свалявшимися словами. Степенные богачи с хорошо выбритыми щеками, с седыми висками, подходя к нему, как бы съеживались от страха.

Иван будто проснулся. Голос его звучал уже в разных регистрах и чем он громче выкрикивал свое "К кому?", чем решительнее преграждал дорогу, тем покладистее становился останавливаемый. И новое открытие ждало Ивана. Однажды в пылу дознания причины прибытия посетителя, Иван ощутил в своей ладоне пятирублевую купюру. Он был настолько ошеломлен, что отошел в сторону, пропустив без веяких замечаний и выяснений с десяток посетителей. Но Иван легко пришел в себя. Уже через месяц он установил твердые тарифы поборов. С людей бедных он брал мзду сигаретами. Посетителям в костюме и галстуке он давал понять, что требуется презент. Но особенно суров был Иван по отношению к лицам южных национальностей, они пропускались за пакет с фруктами, а иногда могли проникнуть в корпус, расплатившись с суровым администратором вместительным пузырьком.

Сам того не ведая, Иван, четко организовав поборы с недисциплинированных посетителей, возненавидел посетителей в законе, что

являлись согласно графику посещений. Допросив такого аккуратиста, то есть задав ему положенную обойму вопросов: "Куда?", "К кому?", "Отделение?", поразив, наконец, его коронным вопросом "Зачем?", выслушав путанные ответы, Иван брал листок состояния больных и, стоя перед родственником, чеканно объявлял: "Температура плюс тридцать шесть и шесть. Ждите!" или "Состояние тяжелое. Ждите!" Родственник начинал нервное движение вперед, но Иван стоял на пути, с места не сходил, тем более не говорил "Проходите!" или "Можете идти!", так что родственник вынужден был его обходить. Иван провожал его подозрительным, недовольным взглядом, а затем с досадою отворачивался. Появилась в его манерах ворчливость, он стал бормотать некоторые слова из такелажного лексикона. Иногда эти словечки различали больные, но сносили бормотание безропотно. Впрочем, им особенно доставалось от Ивана. Он третировал их раскованно, как бы восполнял упущения врачей, не успевающих кон-тролировать нарушение режима тихого часа и запрета выходить на территорию после семи. Иван секунда в секунду, используя сигналы радио, накидывал скобу на дверь, и все, кто не успел вернуться с прогулки в положенную секунду, оставался под открытым небом в положении злостного нарушителя. Таких порой набивалась у двери целая толпа. Иван выглядывал на их нетерпеливый стук и через толстое стекло спрашивал, будто не понимая, что это больные: "Чего надо? Куда?" Опоздавшие переминались с ноги на ногу, не находя вразумительного ответа. Иван и не ждал ответа, он недовольно отходил от двери. Стук возобновлялся, Иван долго не реагировал на него, а появившись снова у стекла, принимался допрашивать каждого в отдельности, выясняя из какого отделения, с какой палаты. Ответы Иван записывал на листке бумаги и снова уходил от двери. Бездомные больные стучали все более интеллигентно, костяшками пальца, но Иван этот стук конечно же не слышал... Дверь он открывал как бы поневоле, когда требовалось кого-то выпустить из корпуса. Больные, молча толкая друг друга, с тревогою на лице стремились поскорее втиснуться в узкие двери, чтобы строгий страж не выкинул на третьем дыхании нового, еще более изощренного коленца.

Последнее время Иван, о деспотизме которого уже ходили легенды, что-то заволновался. Как-то уж слишком быстро поднялся он к олимпийским вершинам власти над людишками. Возник внутренний необъяснимый страх, что его царскому безбрежному влиянию вот-вот придет конец. Скрытая ненависть окружающих, которую Иван все больше улавливал, только усиливала страх. Но беспокоясь за трон, Иван не сбавлял нажима, а напротив, только еще больше ожесточался. Его словно несло какое-то течение, хотелось еще пуще, с хитрозадым выгибом проверить свою власть и силу. И чем вольготнее шел мимо него человек, чем увереннее ступал, тем больше волновался Иван. И

даже когда дверь должна была быть открытой, Иван постоянно находился у двери, держа в руках запорную скобу. А в это утро он как бы и забыл про нее, торчащую в дверях. Иван вообще решил не подходить к двери и к скобе не притрагиваться.

— Корпус пошел на закрытие! — орал он от своего стола, не замечая уже, что стучались не посетители, а пришедшие на работу врачи и сестры. — Хватит шастать, не колхоз!..

— Иван Капитоныч! — пытались его урезонить. - Мы же спешим на работу. Вы что?

— Все, хоре! Пароход отчалил! — отвечал Иван.

— Иван Капитоныч, ты шутишь что ли, дорогой? Ты что-то перепутал Иван!

- Светофор покраснел! — недовольно махал рукой Иван. — Пароход пошел по курсу!

Врачи прошли через подземный переход, соединявший корпус с лабораториями. Ивана схватили за руки и были страшно удивлены, что вахтер трезв. Знающие специалисты из врачей определили Ивану диагноз: помешательство на почве администрирования.

...За историей Ивана трое незаметно оказались у цели.

— Идите обратно, — встретила их в дверях сестра. — Не нужен там кислород...

— Мы так и думали, — сказал Чуматко. — Какой кислород, если у человека молчит пульс!

На обратном пути закурили, и Константин Верхов сказал:

— Вот все говорят, что курить вредно, а Черчилль? Девяносто лет носорогом ходил!

— Все Черчиллем прикрываются, когда с утра насмолившись, — устало сказал Никулькин...

Кот Тимофей (отчество неизвестно) посмотрел на уличные часы и подумал: час моей жизни прошел! Прошел действительно час с того момента, как Тимофей встретил довольно опрятную кошечку Майку и провел с нею шестьдесят счастливых минут около свалки больничного мусора. Тимофей был остроумен и нежен. Увидев треснувший наконечник для клизм, он философски заметил: жрать нечего, так они еще клизмы ставят! А прощаясь с Майкой, пообещал: придет время рожать, устрою тебя, тут в одном месте треснул асфальт и образовалась теплая нора...

Из палаты все настойчивее неслось "Сестра! Сестра!" и крики неугомонных больных ужасно мешали в фойе смотреть телевизор ходячим больным. Один из них, автор детских передач Харитон Георгиевский, педагог, воспитатель, научный популярист, как он сам себя называл, потеряв терпение, вошел в палату и, поправив очки, сказал:

— Должно же в человеке быть что-то прекрасное? Чего орете, оглашенные? КБД от вашего крика равен ста! Ну что дети, ей-богу!

— Что еще за КБД, Харитон Миронович?

— Коэффициент бесполезного действия, психи, пора знать! А почему у вас бабка валяется на полу?

— Свалилась... Кто бы ее взгромоздил на место!

— Пусть однако лежит... На полу почище. У нее вон вся кровать обосрана! — Детский автор демонстративно зажал нос двумя пальцами. — Я вам занавеску на окне задерну, будет меньше пахнуть. И лежите себе без всяких звуков, помирайте самотеком, рот защелкнувши, кругом же больные мучаются от ваших горлопанных воплей. В общем, друзья мои, — цыц!

И литературный автор, дождавшись эффекта тишины, удовлетворенно вышел.

— Грубый, но нежный! — сказала лежащая на полу бабка Авдотья Спартаковна Авгиева, бывшая столбовая дворянка, хранившая в тумбочке родовой герб, вышитый гладью...

В гастроэнтерологическом отделении глубокие пенсионеры, как всегда, вели бесконечные беседы-воспоминания о прошедшей войне. В этот день первым выступил, лежа на койке, старик Артамон Ростиславович Скользяев:

— Попадаю я полгода назад в первую градскую. Стали меня там объемно обследовать и между прочим добрались до слуха. И вдруг обнаруживается, что левое ухо у меня звук воспринимает, а правое, поди ж ты, молчит! Что такое, отчего такой неприятный перекос?! Достаю свои документы, требую тщательной экспертизы. Хорошо, везут меня к профессору с зеркалом вместо глаза. С ходу пошел ковырятся в ухе. Ковырялся, ковырялся и даже ругнулся не своим матом. Откинул локатор и спрашивает меня: вам, дескать, никто не цементировал ухо специально? Я говорю, извините, но у меня медали, один инфаркт плюс язва, я, как положено, сидел за недостачу, пил, говорю, конечно, но чтобы убухаться до такой процедуры, то вы меня удивляете, профессор. Он опять наводит свое стекло мне в ухо и слышу, в самом деле, стучит туда, как в стену. Что такое? Еще подумал об этом профессоре: не плотник, а стучать охота! А он в свою очередь, настучавшись вдоволь, вдруг объявляет мне: у вас в ухе камень! У всех, дескать, нормальных людей камни в почках или мочеиспускательном механизме, а у вас, говорит, вырос в ухе! Я ему свои документы показываю, поясняю, что в свое время ворвался в Берлин, не до шуток мне, в общем! А хоть бы, вы в Париж въехали, только ничего не остается, как тот камень долбать, ехидно отвечает ученый, поигрывая железной толкушкой. В общем, кладут меня на операционный стол для невиданной операции, собираются вокруг другие профессора и студенты помельче, я соглашаюсь, потому что хочется слышать все и даже шепот, его иногда важнее слышать, чем громкий лай. Дают небольшой наркоз в площадь уха, я лежу на боку, наблюдаю за ними глазом, а сам думаю: остроумно, ребяты, но не смешно! Начинают однако. Видели, как гранит отсыпают? Вот точно так же: молоток в одной руке,

стамеска в другой! Ничего,однако, не получается, уже каждый начинает советовать, каждый несет свою ерунду, и все, кому не лень, лезут по очереди мне в ухо. Смотрю, а у одного в руке чуть ли не дрель, но вполне натуральный буравчик! На всякий случай напоминаю им, что я вообще-то участник, перечисляю им свои медали. Так они меня, суки, решили обдать общим наркозом, мешаю я, видите ли! Засыпаю я с мыслью, что ладно уж, усну, главное, не остаться навечно глухней. А просыпаюоь уже в палате. На другой день является профессор. Задумчивый. Извлекли мы, говорит, предмет ваш, но не можем понять, что это такое. Вы, спрашивает, человек общительный и бойкий, не могли бы вы вспомнить, что же засунули себе в ухо? Очень, дескать, важно для науки. И вот тут меня осенило!..

Рассказчик Артамон Скользяев нарочно делает паузу, чтобы и соседи пораскинули несколько заскорузлым умишком.

— От бабы, небось, заначку спрятал и забыл, вот она и закаменела! — сделал предположение Касьян Августович Пустоход. — Я так тридцатку прятал, была такая красная тридцатка до войны. Жинка моя, б... такая, имела привычку бить меня по уху, у меня завсегда ухи висели красные. Вот она меня разденет, всего обыщет, а тридцатку не видать! Отгадал?

— Ты что, Касьян? — обиделся Артамон Ростиславович. — Как можно забыть заначку? Зачем тогда ее туда тыкать?

— Тогда уж и не знаю... Может, чем ковырялся в ухе, да забыл инструмент? Я вот серные залежи вытаскиваю скрепкой, разогну ее и чищу!

— Так ведь круглый же был предмет тот, причем здесь канцелярская скрепка? Ладно, видно тебе не по мозгам... Дело хотя и диковинное, но простое, солдатское. В начале войны, у пушки, чтобы не оглохнуть, мы засовывали в уши вату. Видно глубоко засунул, а потом привык, мы все тогда ходили оглохшие, все же тыщ пять снарядов я выпустил, наверное... Вот она и пролежала у меня сорок семь лет, окаменела, само собой...

— А я в лыжный десант пошел, — усмехнувшись сказал Пустоход. — Там сало давали, по пятнадцать граммов в день. Не мог без сала. Первую зиму так и простоял на деревяшках!

— В сорок первом снег выпал аккурат в покров, да так и не растаял!

— Верно. Ну а потом я попал в эскадрилью и пилил до конца механиком. А вот у нас в отделении лежат волосатики, с чем думаешь?

— Ясно, от призыва сачкуют... Вчера привезли еще одного, три бутылки красного на спор выпил. Лежит теперь в шестой, отходит! Интересно, спор-то выиграл?

Третий постоялец палаты Сергей Шаболдин, не воевавший, но когда-то пацаном впитывавший сводки Информбюро, лежал и слушал

вояк молча. Было интересно. Сергей вдруг встал, вытащил из пачки папиросу.

— Тоже оболтуса воспитал, — оказал ему Скользяев. — Слышал, жена жаловалась!

— Совсем от рук отбился, — откровенно признался Сергей. — Выскользнул. Не ночевал три дня, явился разукрашенный, без одного ботинка. Что-то рано закобенился...

— Развращениями не занимается?

— Извращениями! — поправил Касьян Пустоход. — Как представлю мужиков... Тьпфу!

— Девки у них, вы что! — как-то горячо возразил Сергей.

— Девки тоже радость невеликая. Подхватит чего-нито! Поговори с ним!

— Как поговоришь? Я его не вижу. В воскресенье проторчишь в постелях, его и след простыл. Разок начал было внушать, так перед носом хлопнул дверью...

— А ты отсюда, по телефону, — предложил Скользяев. — Трубку он же не бросит, а бросит, ты свежий звонок! По телефону и наставь. Ты ему скажи... Как звать-то?

— Шурка. Александр!

— Ты ему скажи: вот что голубь Александр Сергеевич... Имя-то какое!

— Специально подбирали, думали человек получится...

— Скажи: ты бы, боярин,бросил это бл... Хотя лаяться бесполезно, они дюже привыкшие к матюгу. Хорошо бы дипломатом залезть.

— Пойти что ли? — идея понравилась Сергею. — Пора прочистить свистуна!

— Иди, чего мусолить! Придешь, расскажешь!

У телефона орал в трубку про свои театральные дела Митрофан Галактионович Твердоступов:

— Подумаешь, не тем светом зафильтровал! Спектакль был детский, не бзди! У нас Эрнст Сифилискин в серьезном куске о сессии вместо "Открываю заседание!" ляпнул "Начинаем представление!" И то зритель, как сидел, так и не охнул. Пошли своего помрежа на все три буквы!..

Сергей дождался очереди и бросил монету.

— Ты? - спросил он сына и тут же понял, что глупо спросил. — Ты почему не ночевал дома, а? А почему пришел без ботинка? — Шурка бормотал что-то невнятное. — А что у нас с носом? Нет, не ври, то ручная работа, мать описала! А почему больничный не выдали, что еще за справка? Принеси-ка мне эту справку, я гляну. Порядочным людям выдают больничный. Ничего, видели мы разбитые паяльники, видели мы эти аппараты и трехцветными, что французский флаг. Мать тут плакала, учти, я еще не окончательно околел, я еще наступлю на палец! Из-за девки тебе сыграли по роже? Ты, парень, смотри с имя...

Сергей вдруг заметил рядом... мадам. Он так и подумал — мадам! Слышала, наверное, подумал Сергей, как при ней объяснишь про болезни-то? Она вон все уши вытянула, ей интересно, всю ночь простоит рядом, мумия! Меж тем, сын уже алекал...

— Парень! — нарочно громко начал Сергей. — Будь честен, как твой отец! Я справки не получал. Ты обдумай ситуацию, возьми книги почитай. Прочти Островского, у нас где-то валяется... Матери скажи, чтоб принесла мне молока...

Сергей говоря смотрел на мадам и вдруг заметил, что из-под халата у нее болтается ночная рубаха с грязноватой бахромой. Эта небрежность лишила мадам всякого уважения. Сергей раскованно взял разносный тон:

— Этот твой дружок, алкаш этот, чтоб больше у нас не появлялся, ты с ним и до армии не дотянешь, покрасят тебе тельник вдоль! Или досрочно подхватишь от девки заразу гнилую. Отдельно растолкую тебе, когда ты придешь, долгий разговор... Эх, позорник, думаешь мать там одна, так можно справки таскать?! Но я еще окажусь около, выведу тебя из всех равновесий. Я тебя породил, я тебя и похороню!

Сергей повесил трубку. Пот катился со лба. Больно кольнуло сердце. Сергей встал у окна. Стало вдруг тошно и стыдно от разговора. Воспитатель, зло сказал себе Сергей, чего было набрасываться на Шурку? Ему ведь интересно там, в компании-то, не дома же ему сидеть, слушать как мы с матерью лаемся...

Сергей вытер рукавом пот. Он устал, он бы лег отдохнуть, но в палату идти не хотелось...

В сестринской комнате, где стояли железные шкафы для одежды, шел сугубо конфиденциальный разговор, который завел с сестрой Наташей профессор-славист Энгельс Феликсович Баландюк-Опалинский:

— Поймите, милая, я не могу ей нанять сиделку, хотя я и профессор! Я унижен в деньгах, я получаю, в это трудно поверить, меньше вас раза в два! Чего бы я попросил... Все одно умирает, наркотики почти не действуют. Может, то есть нельзя ли... У нее еще и астма, жуткий атеросклероз. Так вот, может быть, некий случайный укольчик... я заплачу, конечно же, рублей шестьсот! За один укольчик-то шестьсот! Рак есть рак, укольчик рассосется, кто обратит внимание, старухе 78...

— А вскрытие, вы что?! Мне знаете, как за это влепят! А я на хорошем счету. Мы получаем надбавку за хозрасчетных больных. Зачем мне это нужно, вы что?

— Ну хорошо, Наташенька, — тысячу! Вы же сами с ней мучаетесь. А я не могу тут сидеть, у меня работа, у меня уйма работы! Маман, можно сказать, уже получеловек, мы бы и ей облегчили...

— Не, я не буду. Пусть помирает своим ходом. Идите домой, пусть она орет, что поделаешь, тут же больница! Мы не особенно и обращаем внимание на их крики, мы привыкшие!

Сестра докурила сигарету и встала. Она подождала, пока посетитель тоже встанет и выйдет из каптерки. Он встал, прошел мимо нее, с окладистой бородой и длинной шевелюрой, от него пахнуло приятным одеколоном. Наташа закрыла дверь на ключ и отправилась в палату поговорить с интересной больной, работающей в комиссионном ларьке.

— Для бизнеса, девки, высшего образования не требуется, лишний продукт, девки! — говорила Аврора Лохматникова, моргая густыми ресницами. — Вот ресницы мои требуются! Меня шеф квасил месяц, пока втолковал суть задачи. Ну а дальше следует показать прыть. Я, например, даже притомила его своим энтузиазмом!

— А шеф-то, кто он? — осторожно спросила Наташа.

— Смотря, в каком смысле... По интеллекту — на уровне обезьяны, разумеется, из аликов. Как мужик — жеребец полный, зажимает по-большевистски, конкретно. Ну а так — живет на уровне принца, квартира упакованная, глаз не хватает...

— И сколько ты гребешь?

— Поначалу было немного, едва набирала три блина. Но теперь я делаю по тридцать тысяч выручки и мне отплевывают по двенадцать блинов!

— Так это ж, немного, я думала вы тысяч по тридцать получаете.

— Не сразу, мы еще не расцвели. Это — во-первых. Во-вторых, у меня три свободных дня в неделю, свободный полет! А в-третьих, когда дежурю ночью, имею тысяч пять уже своих, личных. Нет, ничего, девки, дело интересное...

Раздавальщица Нюра, объемом в тазу с трехсотлетний баобаб, остановилась около зрителей черно-белого телевизора "Рекорд", заслонив изображение. Взгляд ее был уперт вверх, под потолок. В следующий момент открылся ее рот, а в следующий миг изо рта понеслась громоподобная речь, которая может быть изложена только с купюрами:

— Кто сдвинул занавески? Нет, я спрашиваю вас, клопы вонючие, кто сдвинул занавеску? Сказано же вам, б..., чтобы не трогали занавески! Сказано или не сказано? Вы их вешали,... вы их укрепляли? Их закрепить, не п... вращать. Вы видите, чем они закреплены... вашу...! Они же повешаны за скрепки, что б вам ...! Я спрашиваю, зачем сдвинули занавески?

— Свет глазы слепит! — робко сказал токарь Платон Иванович Худокормов.

— А ты, ... моржовый, вешал эти занавески?

— Я думал...

— Не х... думать руками! Пей свой сульфомудозин и не лезь к окнам. Еще раз тронешь занавеску, вылетешь отсюда с черным больничным!

— И правильно! — поддержал власть детский драматург Георгиевский, смотрящий в день на черно-белом экране все фильмы, а также все остальные передачи, а также все повторения передач, включая рекламные ролики. — Руки надо пообрывать всем наглецам, которым, видите ли, мешают светлые солнечные лучи! Им надо устроить длительное солнечное затмение.

Голенастая дурочка Манька, лежащая в больнице по привычке, указывая на зрителей телевидения, сказала непонятно о ком:

— Он, гад такой, называет меня Манькой величия, а вчера склонял к е...! Вот у меня непокушанное осталось от обеда, кто будет?

— Давай, Маня, я доем! — вызвалась древняя старушка Капитолина Клопова с постоянным затором в желудке. — Все одно коммунизма не построили, все равно придется вам, Маня, переходить в иную систему.

— Я никуда больше не пойду, что я замороженная! — захныкала Манька. - Я напишу письмо Бурбулису, я пососу у него...

Нюра погладила Маньку по голове и сказала:

— Не плачь, Манечка, ты лучше следи за занавесками, а мне скажешь, кто их сдвигает!

— Ладно, скажу, если меня здесь не в... Они все так и лезут подержаться за хохолок!

— Ты тогда кричи сестру Светку или Наташку, или Регинку, поняла?

— Их не дозовешься, они в хозрасчетных палатах лежат... А я каждую ночь сплю-волнуюсь, как бы, кто не вогнал, я могу и не заметить. Мне что, так и ходить вечно беременной?

— Тебе Маня, надо склепать из железа бронетрусы!

Успокоив таким образом Маньку, восстановив в первобытное состояние сдвинутую занавеску, Нюра отправилась к себе на кухню, где Николка мыл посуду. Николка уже успел навести порядок и в столовом зале. Нюра увидела спинки стульев, прижатых к столешницам, выставленные точно посередине столов стеклянные вазочки для хлеба, которые Николка накрыл белыми салфетками. Блестели в лучах заходящего солнца и клеенки, вытертые Николкой столь тщательно, что казалось с клеенок испаряется тонким облаком материал, из которого клеенки изготовлены. Нюра достала ключ и открыла, уходящий к потолку шкаф, где она хранила сэкономленный от больных хлеб. Из шестнадцати буханок, выдаваемых ей для отделения, Нюра пускала в обращение всего лишь девять, раскладывая по вазочкам тонко нарезанные ломтики с таким искусством, что все три раза создавалось впечатление изобильных хлебных горок, которые, однако, расхватывались больными в несколько секунд. Теперь Нюра, достав буханку,

прикинула ее длину, отрезала половину, снова примерилась и несколько меньшую в размерах оставила для подношения Николке за труды. Он вскоре закончил с тарелками, разложил их на сетчатой полке и, как всегда, сутулясь, огромными руками завернул собранные с тарелок кусочки рыбы и врученную половину буханки в заготовленную газету. Трудно было вообразить, как он договорился с Нюрой в отношении взятых на себя обязанностей и получении привилегий, поскольку само понятие до-говориться с ним никак не вязалось — был Николка так сказать неслыханно молчалив. И теперь молча захватив добытое, он молча ушел к себе в палату, молча, ни на кого не глядя, а, напротив, тяжело опустив свою бритую голову, обходил встретившихся на пути больных, которые прогуливались по коридору, переваривая обед. Он ни о кем не общался, никто, впрочем, не видел его в дневное время прогуливающимся, сидящим, а тем более лежащим. Он все время двигался, все время скорым шагом проносился мимо, не оставляя однако равнодушными никого, кто встречался на пути. Тяжелый взгляд и необщительный характер Николки шокировал буквально всех, но особенно задевал людей интеллигентных, возбуждая и раздражая их неимоверно. Высокоинтеллектуальные дамы вынуждены были бравурно реагировать на присутствие рядом с ними человека из крайне противоположной общественной прослойки. И потому редактор одного популярного журнала Александра Германовна Холмскер, только завидев Николку, акцентированно, вовсе не стесняясь показушности, кидалась в сторону, как бы в страхе, как бы опасаясь за свою жизнь, как бы опасаясь за свою честь, как бы боясь вдохнуть одного только воздуха с нелюдимым верзилой. После случайных встреч с Николкой, Александра Германовна отлепляла от стены свою спину и шла искать подругу по отделению Нелли Денисовну Бревенсон-Некатоликову, женщину также высокого интеллектуального накала, жену профессора экономики. Вместе они шли гулять по больничному саду и Александра Германовна дрожащим голосом делилась пережитым:

— Мне, знаете ли, страшно, когда он проходит мимо. Уголовный тип!

— Вы совершенно правы, — вторила ей Нелли Денисовна. — Мне даже неприятно идти в столовую. Ведь это ужасно видеть, когда рядом человек собирает объедки. А как он ест! Он вылизывает тарелку!

— Хам! Мне сдается, что он не знает законов вежливости. Вы слышали, чтобы он с кем-то поздоровался?! Какой-то деревенский колхозник! Кстати, у меня коробка арабского печенья, приглашаю вас сегодня на чай!

— А мне муж принес баночку балычка, чудесный засол. Извольте отведать также. А вскоре приедет сын из Парижа, обычно он привозит французский шоколад, все-таки французы великие кулинары!

— Что касается шоколада, то я бы вам возразила. Швейцарский, по-моему, более ароматен и, главное, не дороже французского...

В прибольничном саду, у кривого вяза, за шатающимся столиком сидели трое лицом к лицу по-над бутылкой спирта, почти опорожненной посредством граненого стакана, некогда стоившего 12 копеек, а сегодня начисто выпавшего из продажи. Встреча под вязом происходила по случаю удачной сдачи 48 бутылок из-под "Столичной".

— Я — новый класс предпринимателей! — объявил некто Андриан Стыров высокий, очень сильный в одиночных драках, в коллективных побоищах, а также незаменимый в случаях единоличной расправы над неугодным гражданином в угоду другому гражданину, которому первый как раз и неугоден. Стыров получал за такие услуги немалые гонорары. - Я нужен многим! Ко мне очередь! Я могу вот этой рукой задавить человека тихо и незаметно!.

— Параша ты, а не предприниматель. С Колымы спущенный ворюга! — не соглашался с Андрианом второй заседатель Валентин Аспидов, в свою очередь специалист по автомобилям, на которых, по его мнению, торчало излишне много колесных покрышек, фар, ветровых стекол и прочей требухи. Для избавления от докучливых деталей, приносящих только лишние хлопоты водителю, у Валентина имелся ящичек с инструментарием, который он доставал каждый вечер, собираясь на оздоровительную прогулку.

— Вы оба — дешевки! — скривив в ехиднейшей улыбке рот, молвил третий собеседник, простой человек Назар Порошков, чистый бомж, обитатель технического этажа высокого дома в Ясенево, где у него стояла раскладушка, однокомфорочная плита, а на кровати лежала простынь, которая одновременно служила полотенцем и, на манер итальянского певца Л. Паваротти, носовым платком. — Валентин, а ты у меня стащил банку с краской, говноед ты, Валентин. Знай, Валентин, у меня на тебя огромный зуб! Сядешь за решетку, Валя, сядешь! А я вот завтра пойду и легко сниму 30 счетчиков и столько же ламп дневного света. Черные оглоеды, надо уметь жить!

— Жить умеет жид, а русский умеет пить! Так я говорю, Андриан? — спросил Валентин, ударив стаканом об стол. Стакан окончательно развалился, впившись осколками в кулак Валентина. — Все — травма!

— Придушить вас что ли? — спросил Андриан обоих визави.

— Хорошая идея, Андриан! — сказал Назар. — Пройтись по кадычку!

— Псы подзаборные! — процедил Андриан. — Ноль вам в очко! Да, не лишне будет шмякнуть ком печени в массу!

— Ты, Андриан, последняя подконвойная блоха, я таких давил когда-то одним ногтем, — сквозь зубы процедил Назар. — И на тебя имеется одна пташка, такая закорючка в голове, понял?

— Покажи мне ее, Назар, покажи, ха!

— Покажу... Как-нибудь напомню тебе ту блатную коблу, которую ты прирезал и скормил двум псинам.

— Правильно. Собакам жрать было нечего, а собаки мне вот как нужны! Позарез. Они у меня горох тогда сторожили. Я бы и тебя скормил им за милую душу, а ты, вишь, жалеешь подзаборную цинготницу. От нее одна зараза шла по земле, я, можно сказать, подчистил слегка пространство, мне медаль положена!

— Будет медаль, Андриан! За душегубство. Сто кило отвесим... Валентин, а ты зачем лопнул стакан? И что теперь, спирт из горла?

— Нормально. Пойдет из горла, здесь осталось-то по глотку. Вольем уж как-нибудь!

— Мне об тебя, Валентин, хочется сопли вытереть. Вытереть, да выбросить на помойку! Всегда ты почему-то в кровище, Валентин.

— Пей оболдуй! По глотку, ясно?

— Давай, аборт кошачий! — сказал Андриан, жадно смерив злым взглядом, уровень оставшейся белой жидкости...

Навозный жук Глеб Кузьмич залетел в палату и стал слушать беседу двух ученых больных с университетским образованием.

— Возьмем паука и его паутину. Ведь это ничтожное с виду существо, обреченное ползать, ловит мух, которые летают! Вот как понимать Природу? Она что, создала сначала паука, не умеющего плести паутину, но которому очень нравилось полакомиться мухой, и он уже сам научился этому искусству? Или Природа сразу научила его плести паутину, чтобы добыть себе вкусную муху?

Роман Иванович Жуев, дефилировавший между окном и дверью, остановился перед сидящим на кровати Степаном Яковлевичем Пожаровым. Задав хитрый вопрос, Жуев поднял вверх палец.

— Наверное, сразу, — не очень уверенно ответил Пожаров.

— Тогда спрашивается, а зачем это было нужно? Чтобы у мухи был такой вот враг? Но у мухи и так много врагов в воздухе, почти все птицы, зачем Природе потребовались пауки?

Жуев опустил руку и снова заходил по палате:

— А еще нужно заметить, Степан Яковлевич, что при малости размеров, паучки в миллиметр диаметром обладают почти всеми видами чувств, что и человек! И зрением, пусть слабым, и обонянием, и слухом, и осязанием. Жертву заворачивает в кокон из паутины, ядом доводит до размягчения, потом только съедает, точнее выпивает. При спаривании плетет гамачок для самки, черт его знает какие сумасшедшие инстинкты! Паук мыслит пространственно, паутина, с точки зрения механики, идеальное сооружение. А мозг его с точечку, хотя если иметь в виду сравнительный объем всего тела, то не меньше человеческого. Мне иногда кажется, что сие насекомое нас слышит и понимает, возможно, смеется над нами, живущими по-идиотски!

Чего вас понимать-то, подумал Глеб Кузьмич, все вас понимают и все ненавидят мудаков. Житья от вас вот. Природа, если где и ошиблась, то при создании двуногих п...лов! По целым дням балагурят. А вместо болтовни, любовались бы вокруг деревцами, да речками. Нет, у них одни проблемы, всего им мало. Прав был мудрец: все, что им нужно, у них под ногами, а все ненужное они добывают превеликими усилиями...

— Вот вы, Роман Иванович на пауках защелкнулись, а сегодня надо думать о том, как пережить эти жуткие реформы. Так называемые...

— А я и думаю. Я демократ психологический, вижу в человеке чистого зверя, так легче все понять, легче и жить. Я выхожу на улицу и говорю себе: я попал в зверинец, где случайно забыли повесить замки на клетках. Идя по улице, я опасаюсь самого мирного с виду прохожего, я боюсь этой страны и ее людей, то бишь, зверей.

— Так видимо... Животные чище и безопаснее.

— Особенно зверство видно на наших правителях. Они злы ядовито. Раздели, обобрали труженика и голому предлагают стать предпринимателем. Причем самые талантливые для такой деятельности, то есть самые опытные, умные, честные, — они-то и раздеты, унижены. Теперь дальше. Престарелым, людям без всякой перспективы, суют в нос идею платной медицины. Им на хлеб не хватает, а они, по мерзким планам наших правителей, должны отстегивать от своей пенсии или нищенской зарплаты страховку.

Роман Иванович остановился у окна и стал смотреть на прибольничный двор, который пересекала траншея.

— Вы правы, — отозвался Степан Яковлевич. — Но не совсем. Злость наиболее чувствительна на горизонтальном уровне. Возьмите нашу раздавальщицу Нюру. Она минуты не может простоять, чтобы не наброситься...

— Так это еще Горький заметил. Помните, в "На дне" герой говорит: злая русская женщина!

— Если писатель прав, то не в женщинах ли наших главная причина зла? Подумайте только: в школе сплошь женщины, к со-жалению, их слишком много в медицине, в высшей школе. Они заполонили торговлю, департаменты, местные власти. С президентом и правительством мне сталкиваться не приходится, а вот в магазин ходить приходится каждый день, в РЭУ у нас даже главный инженер — женщина! Они воспитывают детей и взрослых, чудовищно!

— Злость, ненависть к ближнему — неужто, эти черты свойственны нашему народу? Как не хочется верить, но мысль такая преследует ежеминутно. Злость лезет в глаза и уши. Кажется, земля пропитана ею. И все деяния наши злы! Вот извольте взглянуть. Эту траншею выкопали еще в прошлом году. Отсюда сверху она похожа на шрам. И куда ни бросит взгляд наш соотечественник, от его взгляда остается

шрам! Вот бросили взгляд на иную общественную систему и что? Шрам! На земле, на лицах всех людей...

— Скорее всего тут уж не шрам, а открытая рана!

— Страшная страна. Мне жаль даже животных, которым не улететь не убежать отсюда. Одному навозному жуку здесь хорошо, ибо страна, что навозная яма!

Чего они говорят, заволновался Глеб Кузьмич, договорились... Мне позавидовали! А впрочем, они только и делают, что кому-то завидуют, до умопомрачения скучно с ними...

Неосознанное чувство беды вибрировало в душах и нездоровом воздухе, солнце спешило убраться прочь, обнажая холод стволов, и все стволы были в шрамах, потому что после захода солнца на них падали только взгляды, одни только взгляды, которые оставляют шрамы и на камнях, и на брильянтах. В угасающем свете проступили желтые пятна на траве, по которой шел Николка. Он нес тряпичную сумку. Николка шел к автобусной остановке, где он каждый день в это время встречал свою матушку. Они усаживались на поваленное дерево, и Николка доставал из сумки еду. Он раскладывал сбереженные кусочки у себя на коленях, подстелив газету. Он смотрел, как она ест и гладил ее мягкие поредевшие волосы. Его пребывание в больнице позволяло обоим инвалидам безбедно питаться, а кроме того мать уносила домой полбуханки хлеба. Николка очень любил свою мать, потому что она была почти немой, но несмотря на это вызволила его из психиатрической лечебницы, где его били санитары. Николка гладил ее волосы, а сам подсчитывал оставшиеся до выписки дни, которые, как он знал истекут незаметно, — больше 24 дней врачи не имели права его держать. Он слышал ее бормотание, похожее на стоны, но различал его, он понял, что она уже засушила два пакета сухариков, что щенок Ойя, которого Николка подобрал на стройке, подрос и очень балуется, что тетка Зинаида таскает ему косточки, собирая их у соседей и все очень хорошо, хорошо. А всем раковым сквозь коричневый квадрат боли виделась в бреду одна общая крыса, бегущая над землей, и была она столь объемна и жирна, что опасно заколебались под ее лапами магистрали и скрытые в заботе подземные сооружения, задвижки оторвались от труб, полился вверх и направо малофьикак и он растекался в то время, как выбросили бесконечно хрупкое детское место в помойный бак, который охранял пес Хрипунчик, съевший до этого 1128 эмбрионов, выкакав их затем на землю, чтобы буйно росли яблони и шиповник с красной каплей на зеленом, а Василий Иоа-нович на вечерней вылазке говорил ровно сорок девять с половиной минут, уверяя собрание, что историческая альтернатива заставляет оглянуться на аграрную программу эсеров, а глиста Аграфена Степановна выползла из соседней камеры и, увидев движущуюся пробку, немедленно упала в обморок от стыда и удивления, и было слышно, как Харитон Миронович говорил по телефону молодой жене, что он весь день работал,

ужасно устал, но так и не написал ничего занятного для детей новой формации, дабы они знали не только о составе малофьикака, но и берегли честь с молодых лет, ибо самое ценное на земле подвижность гибкого жгута и его противостойкость извержению, что само по себе глобально, что ради всего святого, не следовало путать и даже сравнивать с противоположностью процесса в голубых обойных недрах палаты, где Манька, которую когда-то заклинило в очереди, по пятнистой просьбе раздавальщицы Нюры с усталой насмешливостью водила взад-вперед черным жгутом, касаясь ребрами ладоней огромных Нюркиных холмов, всякий раз утыкаясь в теплую настороженную липкость, а столовая по случаю сеанса была закрыта на ключ и к титану с водой никто не имел доступа, а потому, сделав несколько бесполезных попыток, Касьян Пустоход кряхтя лег на койку и принялся рассказывать историю Петрухи Зотова, который вылетел на своем истребителе вместе с двумя товарищами...

— Мы тогда по два раза в день вылетали. Словом, вылетели они трое, а вернулся Петруха один. А на другой день появился политрук вместе со каким-то стариканом из партизан. Спрашивает политрук Петруху: как было дело? Потерял товарищей из вида, отвечает Петруха, и вернулся. А теперь ты расскажи, дед! просит политрук старикана. Было иначе, мил человек, говорит старик, смело глядя на Петруху, встретили вы семь "мессеров", двое ввязались в бой, а третий ушел вниз, вроде бы подбитый. Оставшиеся сбили четырех "мессеров", но сами нарвались, ребят ваших мы обнаружили, похоронили, вот и документы их... Так-то! — Касьян вздохнул тяжело и добавил: — Больше мы Петруху не видели!

Артамон Скользяев, выслушав историю, заметил:

— В штрафбатальон попал твой Петруха. Там, небось и довоевывал остаток.

На что Касьян Пустоход, скрипнув пружинами койки, сказал:

— Трусость трусостью, конечно, а у Петрухи под Курском трое пацанов оставалось.

На что Артамон Скользяев заметил:

— Презабавная штука — война! Но дряная... Никогда не знаешь: то ли схлопочешь штрафбатальон, то ли возьмешь орден. Что касаемо орденов, то с ними еще презабавнее. Сегодня повесишь — могут осмеять волосатики.

На что Касьян Пустоход сказал:

— Вчера хмырь встал, подошел к телевизору и переключил канал. Кто сейчас про динозавров смотрит? — спрашивает. И щелкнул переключателем, а на другом канале безобразные псы с гитарами. И не столько они поют, сколько подпрыгивают. Но некрасиво. По козлиному!

На что Артамон Скользяев заметил:

— Грешно, но иной раз подумаешь: прости господи, но и им не мешало бы пороху понюхать. Чистые гитлеры!

Сергей лежал и смотрел на грязную стену, узоры пятен напоминали коленвал, а в голове шумел телефонный разговор. Незаметно перед глазами вместо лица сына вдруг проступило незнакомое лицо. Черты были размыты, горели лишь глаза, — удивленные, вопрошающие. Так это же Петруха, трус, про которого поведал Касьян! И повинуясь силе горящего взгляда, Сергей представил себя в том самолете, подержал в руках штурвал, глянул на семь "мессеров", а увидел трех Петрухиных пацанов. Семь "мессеров"! На заводе перед мастером трясешься, подумал Сергей, в глаза его поганые заглядываешь, подхихикиваешь его дурным шуткам, здесь перед сестрой заискиваешь, гордого человеческого слова боишься вымолвить. А там семь "мессеров"! И пацаны за спиной. Впрочем, пацаны небось были моими годками, гоняли небось по соседним дворам в поисках жратвы. Мысли его скакнули в те времена, выхватили из памяти нелепый случай, когда они с Петькой Шляпниковым пошли "брать" фруктовый магазин, как выхваченное яблоко развалило всю горку, а он, вместо того, чтобы вырывать коготь вместе с Петькой, принялся собирать яблоки, а продавец успела снять с него теплый шлем, без которого уйти он не мог. Вспомнились слезы матери, когда выяснилось, что мелкий ворюга уже два месяца не ходит в школу. А еще припомнилось время, когда впервые ходили знакомиться с девчонками, как вешали по тогдашней моде на брюки стальные цепочки, что продавались в Военторге, как волновались до дрожи в ногах, знакомясь... Кровь прилила к лицу Сергея: чего было злиться на Шурку, подумал он со стыдом, девки, а как же без них, коньяк, — так и время иное, да и какой ты в сущности отец? Дальше получки, которую ты приносишь сполна в дом, отцовские заботы не простираются, чем и гордишься, откуда и гонор этот. Был маленьким Шурка, было интересно наблюдать, как начал ходить покачиваясь, а дальше вырос, а дальше замолчал, так все пацаны замолкают, в один день и замолкают. А подрался теперь,. так может, в обиду себя не дал, чего было кричать? Поиграл в воспитателя, послушался стариканов, но они вон злы на весь мир. Он снял со спинки кровати полотенце и вытер вспотевшее лицо. А любила, наверное, баба этого Петруху. Трое пацанов... Их надо было настрогать, родить... Сергей представил себе пышный луг и среди высокой травы женщину, откидывающую ладонью волосы, юбка женщины билась о высокие колени, а статные бедра бросали на зелень травы волнистую тень, а Петруха Зотов как бы говорил ему: ты правильно понял, рой детишек надо вызволить из-под юбки, цена жизни еще никем не определена, установлены одни лишь законы, по которым человека кидают в пасть смерти.

А в соседней палате недисциплинированная троица в полном составе лежала на койках, и Константин Верхов рассказывал, как вы-

званная из другого отделения пожилая сестра мастерски завернула умершего, всего-то одной простыней умудрилась схватить и подбородок и стянула около глаз, а когда он по просьбе Сонетки вез каталку в морг, тело трясло на кочках, а само тело, накрытое сверху одеялом, было похоже на беременную бабу, ибо на мертвый живот положили его шмотки.

А другая троица продолжала сидеть за столиком под старым вязом. Пустая бутылка была отброшена, троица была похожа на картину Рублева, фигуры живописно изогнулись, изогнулись по причине печально-забавной: трое душили друг друга, и правая рука Андриана Стырова лежала на горле Назара Порошкова, а левая на глотке Валентина Аспидова, одновременно же руки Валентина и Назара давно нашли горло Андриана Стырова и кадыки друг друга, общее сцепление рук походило на структурную формулу, что-то вроде бензольного кольца по формуле Кекуле, и пальцы-связи жадно жали чужой кадык, хотя на лицах приятелей играли улыбки, злые, во улыбки, никто из приятелей не мог привстать, потому что двигаться было опасно и было около них тихо, лишь перед тем, как рукам взяться за работу, приятели произнесли несколько незначительных фраз-раздумий, фраз-вопросов, фраз-ответов, вроде: "Я так думаю, что смелого надо искать в тюрьме!" или "Тебе, Андриан, не стыдно так долго жить?" или "Ничего, Валя, мне кажется, что ты первым пойдешь на истребление!" и так молча они досидели до первого упадка звезд и вместе с первой, загоревшейся после долгого мытарства во Вселенной, отпал, неприятно захрипев, Назар Порошков и освободившиеся пальцы немедленно переместились, включившись в работу на одном фронте, но из руки Валентина обильно текла кровь, затекая за ворот рубахи Андриана Стырова, и чем сильнее жал Валентин, тем больше выдавливал свою кровь на противника, так что тот от неприятного ощущения вдруг резко оттолкнул ночного врага, встал в ночи, пугающей ночь, огромной костистой фигурой, после чего оба посмотрели на обмякшее тело бывшего общего соперника, и Андриан, ничего не сказав, ушел в темноту. А Валентин Аспидов ушел не сразу, а после того, как окровавленной рукой засунул опорожненную бутылку в карман брюк, ушел, размышляя над тем, удастся ли ее сбыть, а коль не удастся, то как бы получше пристроить ее в своем немудренном хозяйстве.

Илья Кранцберг думал в это время об истории США, о том, как счастливо образовалась и сформировалась страна, почти без крови, на разумнейших принципах, хотя их первый президент был по-существу разбойником, что хорошо бы вступить в синдикалистскую партию, наиболее подходящую сегодня, что по выходе из больницы первым делом следует добыть адрес их штаб-квартиры, да записаться, да начать агитировать, агитировать, агитировать каждого встречного и прежде всего технарей, которым в первую очередь должны быть понятны

и близки принципы синдикализма, то есть государства без давлеющей власти чиновников, без верховенства одного лидера. Сосед Агафон Данилович Семирунный лежал с открытыми глазами и думал, как поскорее избавиться от всех евреев и почему именно ему выпала доля лежать рядом с этим, до противного умным технарем, с которым трудно говорить о жизни вообще, который свят от давящих мыслей и что это за люди, не живущие от сердца, от природы, а только от головы и расчетов. Но тут поэт споткнулся о какую-то новую, неприятную идею, которая подспудно так и норовила расшатать устоявшиеся взгляды. Мы уж слишком защелкнулись на еврее, думал накатом Семирунный, а они живут тихо, зато пока мы отталкивали христопродавца, из-под руки просочился черножитель, ведь у меня сегодня начальничек узбек, всеми денежками распоряжается армянин, я уж не говорю о верхах, где горец и вовсе обнаглел, они своей косноязычной болтовней, одною только болтовней поставили на колени русского богатыря, сделали из него изгоя, да уж не мстят ли они за Шамиля, не задумали они парламентским путем поставить весь русский люд на колени? Василий Иоанович, устав от произнесенной речи, из-за ножки стула посмотрел "Новости", смотрел думая ожесточенно: не боятся Бога, никого не боятся, а может они договорились с Богом, что они, мол, отпускают цены, а он им грехи или как-то еще договорились, а потом Василий Иоанович уполз в палату и забрался в мензурку для запивания лекарств, где и уснул. А к столику под вязом пришла еще одна тройка, два молодых московских парня и восемнадцатилетняя Альбина. Они сдвинули немного в сторону Валентина, как предмет незначащий в ночи, они сели треугольником, и Альбина привычным жестом от-стегнула две "молнии" на джинсах своих кавалеров, извлекла наружу две горячих свечи, наслюнявленным пальчиком отерла колечки творожка и, внутренне трепеща, склонилаоь будто в молитве, крутя светлой головкой то направо, а то налево, почувствовав в свою очередь, как две ладони оказались у ее ягодиц, и горящие нетерпением пальцы, сдвинувшись к середине, рвали ее пополам. И когда вес трое кончили свои манипуляции, Альбина вдруг заметила, что отодвинутый ими человек все это время проторчал в одной позе, и молодая москвичка воскликнул: "Уж не мертвый ли он?" И все поняли, что именно мертвый, то есть самый яркий и красноречивый мертвец, после чего троица на ночных цыпочках удалилась в темноту подальше от греха.

А тем временем по всем кротовым ходам растекался малофьикак, и главный крот города Вениамин Гаврилович, больше всего любивший распарывать мешочки с мужским настоем, принялся активно барахтаться в кипящей вязи весело напевая "Маньки-ваньки табунись!" С громкой песней он ворвался в барсучью нору, где знакомый барсук Никифор Мартынович сидел набычившись супротив своей супруги с гладкой шерстью. Что за радость така вышла? - спросил Никифор за-

летевшего приятеля. Подымай хвост козырем! — воскликнул гость. Можа рухнут гнилые фундаменты об черном виде! — слепо озираясь, добавил он. Супруга Никифора поцеловала возбужденного Вениамина Гавриловича, а густая ночь еще сильнее придавила черноТой, так что огромной крысы, пронесшейся мимо темного корпуса с огнем в зубах — сущий махайродус! — никто не заметил, лишь сработала сигнализация в машине Касимзаде и он вынужден был встать, открыть окно и дистанционным регулятором сначала включить фары, а затем выключить сигнализацию, после чего снова бухнулся на кровать до-сматривать новую кассету, то есть глазами впиться в экран, а рукой приобнять свежую сестру Свету, которая доедала свою порцию черешни и ананаса, подливая в бокал ликер "Амаретто".

А в это самое время Василий Иоанович, все спавший в мензурке, был вытряхнут на ковер и раздавлен полутапкой Лидии Христофоровны Лярской, умирающей в свою очередь от простого воспаления легких. Василий Иоанович легко и безболезненно отправился к праотцам под звуки "Сестра! Сестра!", но эти бесполезно-неудобные возгласы прекратились на время, когда в палату ворвался Харитон Георгиевский, который никак не мог уснуть. Харитон пригрозил орущим повырывать матки, а для всеобщей острастки лежащей на полу Авдотье Авгиевой заткнул рот тряпичным родовым гербом.

1992 г.

Виктор Соснора

БЕССМЕРТЬЕ В ТУМАНЕ

Стихи

БЕССМЕРТЬЕ В ТУМАНЕ

Радужные в тумане мыльные пузыри - фонари.
Спичку зажжешь к сигарете — всюду вода, лишь
язычок в трех пальцах — звезда.
Тикают по циферблатам цикады... пусть их,
их цель... Пульс и капель!
В небе — нет неба. Август арктический, или
оптический очи-обман?... Ночь и туман.
Хор или ноль?... Ходит как нож с лезвием чей-то
ничей человек. Целый век.
Ходит, складной (с кляпом? каникулы?), и никак
самого себя не сложить.
(Как в слезах! Как в глазах!) Стало жить
невмоготу...
Но наготу ни лезвия не боится, и что ему чьи-то
"нельзя", но не готов ноготок.

Как научился (на "у" или "числа"?) так не
уметь — не умереть?
Или надеется, знает (незнаемый!) все про
любовь... и кровь?... И... — вновь?
Или бессмертье — больше близ смерти?...
... Голос мой! Логос мой!

***

Прощай, Париж!
Летают самолеты,
большое небо в красных параллелях,
дожди, как иностранные солдаты,
идут через Голландию в Москву.

Прощай, Париж!
Я не уеду боле
туда, где листья падают, как звезды,
где люстры облетают, как деревья,
на улицы квартала Бабилон.

Прости за то, что миллион предчувствий
в моей душе, как в башне Вавилона,
прости мои монгольские молитвы,
монашество мое и гамлетизм.

Прости за то, что не услышал улиц,
моя душа — вся в красных параллелях.
Кто мне сулил исполненное небо?
Такого неба нет и не бывало.

Как убывают люди и минуты!
Атлантов убаюкали моллюски.
Как и умру, не зная, кто из граждан
мне в уши выливал яд белены?

Прощай, прощай и помни обо мне...

ЗАВЕРШЕНЬЕ

Завершено. Книге нашей конец.
Храм — и живи! Гнезда-ласточки птиц.
Цоколь злащен. В цепях фундамент колец.
Фрески — моей любви, Женщина, или твоих лиц.

Тебя отобрали, моя, отобрали от "О".
Брал кто хотел, — о эта ярмарка хамства Сарая!
Брали больней, чем от ребра брал Бог
Дух сотворяя, Круг сотворяя, Двух сотворяя.
Храм — хоронили: ласточек — в око, влет,
злато лизали, кольца — для уха черни,
фрески — по камушку, чтобы дышал живот
у очага, чтобы каждый кирпич — для чтенья.

Что ты наделал, я? Смерть двух сердец —
ужас — в кроватях предательств читателей,
чтиц,
в склянках лекарств, в свекольниках вин книге
нашей — конец,
(Балл балтийский! Теперь — типографский текст страниц.)

Тебя отобрали, моя, от "О" и ор
вранов бенгальских морей двух душ, —
суп с сухарями! —
с травкой теперь жует трудящийся хор,
день сотворяя, дом сотворяя, дуб сотворяя.

Ты, мой соратник! По буквам тебя любил.
Кровь отливал в колокола текста.
Книге — конец. И тебя уже убил,
хоть еще ходит где-то имя твое и тело.

***

Я вышел в ночь (лунатик без балкона!),
я вышел — только о тебе (прости!).
Мне незачем тебя будить и беспокоить.
Спит мир. Спишь ты. Спят горлицы и псы.

Лишь чей-то телевизор тенора
высвечивает. Золото снежится.
Я не спешу. Молений — телеграмм
не ждать. Спи, милая. Да спится.

Который час? Легла ли, не легла.
Одна ли, с кем-то, у меня — такое!
Уже устал. Ты, ладно, не лгала.
И незачем тебя будить и беспокоить.

Ты посмотри (тебе — не посмотреть!),
какая в мире муть и, скажем, слякоть.

И кислый дождь идет с косой, как смерть.
Не плачу. Так. Как в камере. Как с кляпом.

Ночь обуяла небо (чудный час!).
Не наш. Расстались мы, теперь — растаем.
Я вышел — о тебе. Но что до нас
векам, истории и мирозданью?

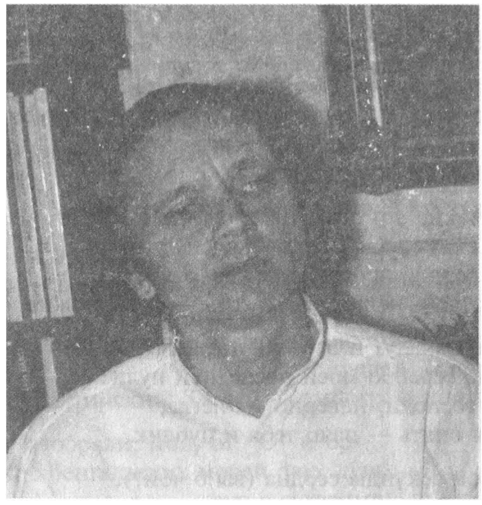
В такие вот часы ни слова не сказать.
А скажешь — и зарукоплещут ложи.
А сердце просит капельку свинца.
Но ведь нельзя. А то есть — невозможно.

Не попадут и этот милиграмм.
Где серебро моей последней пули?
О господи, наверно ты легла,
а я опять — паяц тебя и публик.

Мои секунды сердца (вы о чем?).
Что Вам мои эллегии и стансы?
Бродяги бред пред вечностью отчет —
опавшим лепестком под каблуками танца!

Нет сил у слов. Нудит один набат
не Бога — жарят жизнь тельцы без крови!
Я вышел вон. Прости. Я виноват.
И незачем тебя будить и беспокоить

было...



Андрей Бычков

НОЧНАЯ РАДУГА

Рассказ

"Туз, — сказал, усмехнувшись, шофер. — Выходить вам". Картóн вышел — шоссе, мягкая беловатая пыль, темная ночь. В освещенной кабине еще немного поиграли в пас. Рубашки провинциально раскрашенных карт, валет с усиками напротив алебарды, дама с розой в засаленном декольте. Картóн стоял, глупо покачиваясь, рядом с автомобилем. Но откуда он знал, что они заодно? Остался в кабине запах новой коричневой кожи сидений, остались в кабине проминающие кожу сидений тела. "Сколько до мотеля?" — "За час дойдет". — "Он просто дурак". — "Кх-кхырр-рр!" — "Поехали". Завелся мотор, исчезла кабина, остался Картóн (прозвище, которое презрительно дали в курилке сквозь серо-синий стеклянно висящий насмешливый дым). Шоссе, чертежник Картóн на шоссе, темный (на задних лапах) лес и злорадство луны из-за дерева.

"Легкая, я научу тебя любить ветер, а сама исчезну как дым. Ты дашь мне деньги, а я их потрачу, а ты дашь еще. А я все буду курить и болтать ногой — кач, кач... Слушай, вот однажды был ветер, и он разносил семена желаний..."

Картóн поднял воротник. Картóн побрел, черпая широкоскулыми ботинками ночь. Белая пыль поднималась в темноте и оседала.

"Кач, кач... Ты купишь мне кровать, а я не стану на нее ложиться. Не захочу, и ты не увидишь меня голую никогда..."

Вжик-вжик, не пыль уже, а трава. Картóн вздрогнул. Со всех сторон наваливался темный лес. "Где шоссе, черт подери?.. Да нет, вон". Светила луна, Картóну было просто вернуться, чтобы снова пойти по шоссе, но Картóн углублялся в лес.

Сладко и больно хлестнула по лицу ветка. Упало под ноги — "а я с американцами никогда, и с немцами никогда, вот еще — целую ночь работать; мне китайчики, мне япончики по душе, выпьют бокал и в отвал...". Отвал был овраг — черный, бездонный, назревший вдруг под ботинком Картóна. Отвал звал. Картóн содрогнулся, вовремя отступил, вытер бузинный сок (след удара), ветку благоговейно поцеловал. "Или вернуться?" Тогда засмеялся в душе Картóна Картóн и, как барсук, осторожно, он стал пробираться по краю оврага. "А Нинка-соска за сто рублей всего на вокзале..." К черту, к черту, в овраг! Картóн как барсук.

Через час он вышел из леса, освобожденный. Был берег реки перед ним. Из-за леса луна, плавно опережая Картóна, покатилась к реке и бесшумно плюхнулась в воду. Картóн увидел высокий арочный мост. "Почему высокий такой? — подумал Картóн. — Трудно же заезжать". Любопытство повлекло Картóна к мосту. Была быстрая ходьба Картóна. Вскоре ботинки стали снаружи мокрыми от росы. Через носки Картóн чувствовал, что ботинки внутри тоже мокрые, но кожа ног Картóна оставалась суха. "Высоководный или колейный? — думал Картóн, приближаясь к мосту. — Если колейный, то где же колеи? Что-то не видно, хотя и темно. Или это луна так отсвечивает? Скорее высоководный. Но зачем? Зачем здесь пропуск высоких, выше берега, вод? Ведь здесь не могут громоздиться льды и не могут проходить суда с высотой шире берегов". Впереди заплывала под мост луна и покачивалась. Через картофельное поле пробирался к мосту Картóн. Влажными стали носки окончательно, но ноги разгорячились, и Картóн сырости не ощущал. Высокое легкое строение, элегантное, самолетное, словно светилось слегка, надвигалось, подсвеченное и сверху и снизу луной. "Ночная радуга", — промелькнула мысль и погасла. Чертежник задыхался от быстрой ходьбы. Вдруг его остановил звук мотора. Словно восстал из ботвы призрак освещенной кабины. Запах новой кожи сидений. Кач, кач... "Не может быть!"

В тени под мостом неясно чернела груда автомобиля. Но это был какой-то странный, какой-то слишком уж странный автомобиль — огромный, громоздящийся. Но звук был тот, тот! Картóн бы отдал на отсечение голову. Картóн почувствовал холодную влагу в носках.

Это и в самом деле была другая машина, огромная плоская с низкой кабиной. Восемь выпуклых мощных колес держали платформообразное тело машины, а на платформе лежала короткая толстая на

двух круглых шарнирах стрела. В низкой кабине зажегся свет, привлекая Картóна. Сердце забилось — Картон подошел. В кабине сидел пожилой человек, борода лопатой.

— Что вы здесь делаете? — вздрогнув, спросил человек с бородой, когда заметил Картóна.

— Я... я, по-видимому, заблудился, — ответил Картóн.

— А-а, — покачал лопатой бороды человек.

— Вы не скажете, где здесь мотель?

Человек кивнул через мост.

— Там, за рекой, в получасе ходьбы. Вы там остановились?

— Да... А вы здесь работаете?

Исподтишка Картóн глянул еще раз в лицо человека, и лицо человека поразило Картóна, и дело было не в бороде. Где? Где же он видел это лицо? Мешковатое, солдатское, каторжное лицо. Глубоко запрятанные, узкого взгляда, глаза. Тяжелый лоб. Этот пожилой бородач на кого-то похож... На кого?

— Да, я, в некотором роде, работаю здесь, - ответил бородач.

Картóн мучился лицом бородача. Лицо этого человека вдруг стало болью души Картóна. Картóн хотел как-то назвать, назвать лицо человека и не мог. Старался словно прорвать его именем, проколоть будто иглой и через собственность имени освободиться от гнетущего чувства...

— И ночью? — нелепо выговорил Картóн.

— И ночью, — печально усмехнулся бородач.

"Достоевского! — вдруг пронзило Картóна. — Это лицо русского писателя Достоевского! Я хорошо помню портрет".

Человек с бородой внимательно посмотрел на Картóна, словно догадался о догадке Картóна, и вдруг тяжело выпрыгнул из кабины. Ростом он оказался ниже чертежника на голову, и был он какой-то квадратный, нет, не квадратный, а даже кубический человек. И он посмотрел теперь на Картóна снизу вверх, как краб. "Странно, что он так долго смотрит, — содрогнулся Картóн. — Почему он молчит?" Картóн почувствовал себя словно напяленным сверху на взгляд Достоевского.

— А как вы работаете? — не выдержал взгляда Картóн.

— А вы что, хотите посмотреть? — усмехнулся тот.

— Да...

Достоевский молчал, потом он покашлял в квадратный кулак и полез на платформу, нелепо переставляя короткие ноги по скобам приваренной лестницы. Там он долго стоял, а потом вдруг закряхтел и как-то даже застонал, отчего Картóн вздрогнул, будто волосы шевельнулись на голове. А Достоевский со скрежетом стал поворачивать. Он поворачивал что-то в основании стрелы. И тогда стрела начала подниматься. И раздался другой звук, прозрачный и музыкальный, то был звук ровно и без напряжений заработавшего другого мотора. Словно на звуке, завораживая Картóна, стрела поднялась. И тогда Достоевский

невозмутимо полез еще выше, наверх, в закрытую квадратную люльку на самом конце стрелы. Там он опять стал долго кашлять, и Картóну казалось, что в том кашле были скрыты какие-то слова, но что слова никак не могли освободиться от скорлупы кашля, чтобы стать доступными слуху Картóна, чтобы стать прелестными круглыми ядрышками, полными смысла, что так приятно улавливать аппаратом слуха, зная, как правильно будут они располагаться и наполнять ждущий мозг... Картóн ждал, что вот-вот, наконец-то. прорвутся слова, но был только когтистый кашель. И вдруг Достоевский затих. И чертежнику показалось, что опять зашевелились волосы на его голове, и это было так, это был небольшой ветерок. Двинувшая потоки прохлады ночь вернула Картóну самообладание. Он даже захотел рас-смеяться и выкрикнуть что-нибудь замершему в люльке бородачу. Отчего тот так неподвижно сидит? Новое игрушечное чувство охватило Картóна, уже он ощущал в горле щекотку и уже раскрылся рот для освобождения груди Картóна от смеха, как вдруг новый тяжелый мотор вынес из недр своих новый прозрачный звук и стрела начала расти. Достоевский включил в своей квадратной кабине свет и теперь был отчетливо виден сквозь широкое боковое стекло. Он сидел слегка наклонившись, его рука сжимала рычаг, а взгляд был устремлен вверх, на реющую в небе серебристую арку моста. Короткая стрела удлинялась, обретая изящество. Выдвигались блестящие нарядные штоки секций гидроподъемника, обретала луна все новые и новые торжественные цилиндры. Все выше поднимался Достоевский к арке моста и неотрывен был его взгляд. И словно бы и сам Картóн удлинялся и рос и наполнялся прозрачным светом луны, и стремился к мосту, словно в касании, в достижении был и для него какой-то скрытый теургический смысл, как имя — освобождающий. И когда наконец стрела подошла к мосту, Картóн почувствовал, как струи восторга колеблют самое существо, тонкий призрак его души. Слезы навернулись на глаза Картóна. Достоевский повернул рычаг, и кабина вошла в соприкосновение с аркой. Натужно мотор заурчал, продолжая и продолжая выдвигать стрелу, которая уперлась теперь в сопротивление моста. Конструкция ожила. Мост заскрипел, и арка стала слегка покачиваться. Тогда Достоевский снова повернул рычаг, мотор замолчал, оставляя напряжение стрелы в изогнутой арке моста.

— Давай! — закричал сверху Достоевский и гулко закашлял в ночь.

С высоты выпущенный кашель словно бы полетел наискось в поле, вонзаясь и вибрируя в картофельной земле. Восторг отступил, в душе поднимался страх.

— Что? — крикнул снизу Картóн.

— Давай, давай! — отозвался сверху Достоевский из освещенной люльки.

Картóн смутно почувствовал, что надо подниматься на мост.

— Не бойся, — железно сказал Достоевский в ночь.

— На мост?

— Да.

Картóн помедлил.

— На мост?

— Да, да! Держись за трос! Если будет качать, я подопру еще. Давай!

Ночная радуга, блестящая, словно бы алюминиевая, легкая и изящная, круто уходящая вверх, а там, плавно выгибая свой бег и останавливаясь в полноте иллюзий, не устремляясь дальше бессмысленно, касаясь пустоты лишь слегка, пропуская под собой высокие воды, коварные черно-белые льды, тяжелые баржи, нагруженные высоко тупыми ненужными тоннами, колодами карт, ляжками... и вновь опрокидывающая вниз, пусть, пусть, под собой, на тот берег, на тот берег, в овеществлении иллюзий, свободных отныне от священной пустоты, соскользнуть и врезаться в землю жгучим семенем, навсегда, навсегда...

Картóн потрогал рукой холодную опору моста. Рукой Картóн услышал серебристое пение металла. Металл звал, обещая новые восторги, глубокие, неведомые.

— Давай, — отчетливо сказал Достоевский сверху.

Слово "давай" наполнило ночь. Слово "давай" раздуло слегка купол ночи. Ярче засветилось окошко луны, напрягаясь. Блеснула из-под моста голубая бритва реки. Вторая луна лежала на острие, покачиваясь. Достоевский выключил свет в кабине. Стало еще светлей. Две луны.

"Давай".

Картóн взялся за трос и, ставя плотно ботинки перед собою, один за одним, прижимая ногами так, что капли напитанной картофельной росы выжимались из подошв и вытекали на мост, стал подниматься, оставляя бесформленные лунные светляки, выжатые...

Восторг, о восторг! Во имя восторга поднимался Картóн в ночь вдоль серебристой арки моста. Лес и поле, что раньше были наравне, теперь оставались под. Выше леса и поля поднимался Картóн как человек, что возносится к вершине моста, что между двумя лунами, и где включает и выключает свет Достоевский. Вон река под тобой, Картóн, смотри, из узкого лезвия хищного обратилась она в нежный платок голубой. Вон и другие поля, плавают скирды в бессоннице тумана, сторожит, засыпая, лес, с открытыми глазами птицы летят... Так пел металл под ногами Картóна, и струи воздуха проходили в высоте, и к ним устремлялся Картóн, к невидимым... Серебряный мост нес все выше и выше Картóна, и от восторга плакал Картóн. "Как я раньше не знал, не знал... Почему я раньше не знал, не знал..." — обливался радостными слезами Картóн, и ветер холодил его лицо. И потоки воздушных масс устремлялись, и Картóн словно видел, как проходят они, втекая невинно и вытекая под аркой моста, что сама словно пустой

парус обмана священного. И облаков захотел Картóн и туч, и появились ночные облака и тучи, и все они, приближаясь наравне, на линии глаз (для касания его груди), проходили покорно под. Но туже и туже становился поток воздуха, надавливая, и словно против бежала теперь луна, а другая луна плыла. И мост сам покачивался как корабль.

"Картóн!" — услышал Картóн голос из-под моста. Он перегнулся через трос и заглянул в бездну, откуда из утолщений, из блестящих муфт поднималась стрела и упиралась в дно серебряной арки. Из квадратной кабины смотрел Достоевский на перегнувшегося через трос Картóна. Взгляд Достоевского словно развевался лихорадочно на ветру, взгляд победно блестел.

— Картóн, теперь ты понял, какая моя работа?!

Картóн видел азарт в его взгляде, Картóн знал, и благодарность открывала сердце Картóна.

— Восторг, Картóн! — в ветер кричал бородач. — Это и есть восторг! Ночью, когда восторг, я подпираю мост!

Ветер летел, и против ветра летел Картóн, радостно ощущая ладонями надежность троса моста. Уже начиналась борьба металла и ветра, уже не качало, уже повело, потом повело назад. Сквозь ветер Картóн расслышал мотор. Достоевский включил и натужно поджал еще. Тяжело выгибаясь под ветер, мост словно слегка застонал. Теперь, выпертый стрелой и натянутый в опорах назад, он не качал, но через ладони и через ботинки Картóн ощутил его напряженную дрожь. Ветер, налетая невидимыми километровыми кубами, напрягал и напрягал еще. Дрожь частила, дрожь как будто твердела и отделялась, жужжа над мостом. Дрожь как птица, как оса моста...

"Оста, оста", — твердил Картóн, сжимая в содранной коже ладоней надежно-мучительный трос. Ветер уже оторвал его ноги от серебристой поверхности. Картóн пытался... и все пытался... и все пытался... и безрезультатно пытался все подтянуться на трос, чтобы обвить его и ногами и телом, и так, будто нанизанным на шампур, сжавшись, удержаться под огромным неистовым холодным огнем невидимого, неизвестно как и почему налетевшего урагана...

Мост гудел и, казалось, вот-вот сорвется. Сквозь гул Картóн расслышал человеческий голос. Это был голос Достоевского. Достоевский пел. Снова включил он в кабине свет, и Картóн увидел косые струи, свитые воздушные жгуты, петли, что налетали, обвязывая и пытаясь сорвать его тело с троса, что старались натянуть его веки на его зрачки — навсегда, навсегда...

— Пу-у-скай! — пел Достоевский. — Пу-у-скай бе-е-зум-ству-у-ет сти-и-хия, мы пье-ем во-сто-орг до-о дна-а!

В мышцах своей борьбы изнемогал под ветром Картóн, сладостное чувство смерти молило и обманывало: отпусти, отпусти...

— Пу-уска-ай! — пел Достоевский.

Громадная невидимая масса намчалась на тело Картóна, надавила неистовой силой, растягивая запястья, отрывая кисти от рук.

— Пу-уска-й бе-е—зу-у-у...

"Нет, и... нет, и..." — Картóн пустил, отдаваясь. Стихия подхватила. Словно стал он родным стихии, понесшей его. Не было смерти. О нет, смерти нет! И ураган точно затих, только внизу бесшумно проносилась земля, скирды бежали, мелькнула река, заторопился темными перебежками лес... В безмерном, в пролетающем океане стихии, в сердце ее был покой. И тогда родились новые звуки, и они окружили Картóна. Струнные вытягивались на цыпочках, пели блаженство; ласковые рояльные словно возводили на пьедестал; в латы облачали валторны; флейты покорно свивались в подножии; преклонялись гобои; мавры-контрабасы проносили... И подобен новому Пáрсифалю был отныне Картóн, он обнажал изумрудный свой меч, он вытягивался вдоль струй, простирая впереди себя изумрудный и обоюдоострый, растущий с серебряного в драгоценных каменьях эфеса, рассекая не успевшие сдвинуться оторопелые массы, так летел...

И вдребезги разбивалось стекло, в черный пух изрезая осколками шторы, в черный пух — так врывался Картóн в мотель.

На постели лежали шофер и дама в фиолетовом, закинутом до плеч платье.

— ...о-сто-рг до дна-а! — голос Картóна был звенящая неумолимая сталь.

Едва успел откатиться к подушкам шофер. Огненный изумрудный меч, вонзаясь, погружался в фиолетовые разодранные нежные недра...

Марина Темкина

ИЗ СТРАНЫ ЗИМЫ

Стихи

***

То ли неба, то ль поля: материи площадь сырая
переходит пространство, то ль держится духом святым,
то ли гостем в дверях застревает с мешком темноты за плечами
в пустоте, как на полке, нашарив сухарик луны.

Никакого такого словечка не вымолвит втуне,
глухо-голодно-холодно, дунь, фитилек и потух,
погруженной в себя, как во взрослом младенец, скитальцем, как Шуберт,
ей сгождается к утру простой петушок или галльский петух.

Ни к войне и ни к миру, однако распелся недаром
с гребешком леденец, и на шпорах побудка красна,
луч толкнет золотую игрушку с заводом "сторонка родная"
ни с шеста, ни с креста и не с вышки, а просто со сна.

1991, после солнечного затмения

1 мая 1993

Из страны зимы, из страны согрева горючим,
разлагающим кровь на частицы слепого гнева,
из породы сущих мира сего и детей сучьих
я, как все вкусившие там хлеба и хлева.

В бранном поле речи, удобренном химикатом,
грянешь хором, криком зайдись, песней луженой глотки,
я давно не пью денатурат-яд, ни в день зарплаты,
там везде война, женщин силой берут, без подготовки.

Дешевизны такси крутой слова на ветер пускать не жалко,
а водой живою брызгая хоть до утра на трупов свалку,
в птиц о двух головах, о шести крылах, я не вдруг поверю,
я, как все мы, страхолюдо-звери из страны потери.

Ты, мужик, послушая, взгляни в глаза другого двуногого сычьи,
не от слез, от злости пухнет башка, от этой кромешной дичи,
как оглохли, мертвая тишина, только бабы внемлют,
свет мой ясный, за-разум-ум, раскрутивший землю.

1993

Август 89, Вилларкуа, в Лиможе

В расписании ночи коненый пункт р-а-с-с-в-е-т
загогулинами дедовских писем, почерком перелеска,
в обе стороны двигающимся наперерез
черноземной пуще и берущей ее в окружение.

Прорастает пушок ворсой золотой травяной,
у гнилушки светящейся, у цистерны-жестянки-
-бензобака зеленого, где продают в розлив
и сбивает с ног ударами волн,
смешаных, как темнота со светом,
словно контуженых,
распластанных на земле.

***

Скелетик дерева растет внутри листа.
Женщина нагая, смотрящая грудью,
как лицо с громадными зрачками
карими, вылезающими из орбит сосками,
телом слепо по телу солнца водит.

В тряпочку куклу завертывая
не поднимая головы. За спиной
обрывков бумаги открытые солончаки.
Известка. Мусор мира, не убиравшийся с 50-х.
Гарь. Выцветший мох. Песчаный обрыв
с рваным краем загибающимся как заячья губа.
Желтые корни сосны как сухие змеи ползущие,
на ходу превращаясь в чешую на лапах
старухи-колдуньи, птицы Рух.
Безъязыкий народец шишек, иголок, хвороста, костяники.
Люди смотрят ящерицами с раздвоенными языками.

Сентябрь 1993

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

I.

Аннотация: "Фотография Театра Марселия. 1858.
Постройка, начавшаяся при Юлии Цезаре
и закончившаяся в 12-м году н.э. Августом,
рассыпавшаяся в IV в. и заново укрепленная в XI-ом,
превратившаяся в XVI веке во дворец — театр Марселия,
стала мастерской и жилищем ремесленников в XIX веке".

2.

Вторая Опиумная война. 1860.
Объединенные англо-французские военные силы.
Открыть Китай к торговле. Заснято все:
тела убитых, повешенных, виселица для дезертиров,
тюрьма конфедератов, вожди индейцев,
княжна Юсупова сепией, молочно-оливковая и точеная,
как резьба по слоновой кости с ниткой жемчуга,
Нижинский в розовом спектре, Карсавина,
Дягилевская труппа на фоне афиши зимних сезонов,
в сюртуках Равель, Берлиоз и другие, в пиджаке Дега,
скучноглазая великая княжна Ксения Александровна в шляпе в 1905-м,
прототипы героев Пруста, его шофер, он же и любовник.
"Родные" рамки и окантовки. Умерший орнамент,
декор картонки с золотым обводом по краю.

СТИХОСЦЕНАРИЙ

То ли спишь, то ль уже пробудилась,
несешься по снежному небу, по полю,
по катку ледяному, по кромке ребристой, по следу ее огибаешь
холмы,
по лыжне между облак, по тени от них вдоль сугробов,
взбитых сливок с изделий кондитерских,
по веревке оборванной от реактивных петель.

Дует, как на заливе, и тянет, в трубе динамической словно,
ты летишь нараспашку и с ветром болтаешься взад и вперед,
словно лозунг безротым полотнищем, ты свет-розмарин
под колпак заливаешь со снежными хлопьями, то ли смертью не
звана еще,
но однако уже проверяют тебя для порядка, оприходовать чтобы
и, как время наступит, в будущем не упустить.

Тут из леса, вестимо, доносится хор деревянных флейтисток,
барабанщиков процессуальных фанерный долбеж-колотун,
скрип полозьев, и видишь: опилки, поземкою след заметает, то ли
мысли
о том обо всем, не успеешь чего. А уж точно чего-то всегда не
доделать,
просто так себе ни у кого не выходит взять помереть,
это надо еще заработать, чего-нибудь самого главного несовершив.

Да, чего и спешить устремляться, ведь нету возврата оттуда,
из мертвых в живое, а кому и охота в глаза Элиазару глядеть,
содержание жизни уж лучше обдумала б лучше иль смысл.
Состоят они в том, что времени очень мало,
это прямо сейчас, всю минуту сию, и всегда, и вообще, и совсем.

Обретая свободу, взросление сильно сужает границы
возможностей, в одно превращая два слова хочу и могу,
что наводит на мысль основания секты времяпоклонников
и задевает струнку связок голосовых в туннеле, на том конце,
где вход предстоит в молчанье душе моей легкой-нелегкой,
бесполой, двуполой, женскомужской, и никогда не узнаешь,
бессмертная ли.
Полотенце висит на веревке, таз с бельем, и звонит телефон.

Октябрь, 92

ИНСТАЛЯЦИЯ

Мы сошьем все флаги вместе. Добровольцы-швеи-портнихи
шьют уютно по-домашнему женскою рукою,
мужики усядутся строчить за машинки, инструмент сподручней,
трудотерапия падения победившего социализма.
Мы сошьем все флаги вместе, всех государств,
больших и малых, и маленьких стран, и совсем самых маленьких
независимых островов нейтральных. И когда все будет готово,
мы разложим их на футбольном поле в ясный день,
чтобы солнце флаги раскрасило поярче,
чтобы облака цвета попригасили, а болельщиков пустим
ходить босиком счастливых — всей толпою рассматривать
швы между ними, узнавая флаги, те, что знают,
а про незнакомые догадаться пытаясь, чьи это флаги такие
под их стопами, сшитые между собою так, что не сразу
и распознаешь, где какой страны конец, где начало флага,
особенно там, где пришито незаметно женской искусной рукою,
так вообще непонятно, а если на машинке пристрочено,
тогда понятней: лежат флаги, и бродят люди
по футбольному полю, и стоят пустые ряды скамеек,
как лабиринт открытый к обозренью, вот и ходишь кругами,
крутишь башкой, глазами, пока, отвлекшись
на что-нибудь постороннее, не остановишься.
Вот и мы тоже входим, присоединимся, участвуем в действии,
глядим на стяги, полотнища, вымпелы, пальцами ног расправляя
складки,
полосы, клетки, круги, звезды, львы, полумесяцы, кресты,
листья, лоза и колос, пока наше время не выйдет,
когда попросят убрать, потому что пора начаться футболу,
тогда мы этот ковер цирковой из флагов скатаем, сложим,
как лоскутное одеяло, стащим на склад, где спорт.инвентарь хранится
вместе с баррикадой флагштоков с наконечниками золотыми,
потому что пора приступать к игре, футболистов, болельщиков
набежало,
да каких сердитых, видно, кому-то не терпится победить кого-то.

30 янв. 94

Нина Садур

ЗАИКУША

Повесть

Я ненавижу раннее утро. Господи Боже мой, как же я его ненавижу. Утреннюю смуть. Ненужный этот, дрожащий час. Нищую промозглую пустоту за окнами. Простор, простор до края, до мутного неба, до завода. Поземку понизу, и дым из завода. Как будто все умерли, а я опоздал. Проспал.

Ненавижу: метро, автобус и свою работу. Медбрат я. Я брат болящих в грязной, заразной, злой районной больнице. Уж болящих-то я ненавижу-то, Бог Ты мой! Они воняют, кряхтят и умирают. Все время. У них рубахи на слабых телах, а на рубахах синее тавро больницы. Они льстиво заглядывают нам в глаза и ничего не прощают. Ваших быстрых движений. Здорового смеха. Даже когда глаза их клянчат. Их черные, дышащие, смертные зрачки дрожат от жалости к жизни. Они уже немножко не в ней и им ее жалко. Не выразить! Их относит, оттягивает неумолимо от нее, от милой, теплой, от золотых деньков-пустяков, не сильно, но неостановимо в глубь, туда, низко, где не видно. Намокают одежды их, тяжелеют тела их, ноют жилы и спать хочется. Но не уснуть пока что, золотые позванивают деньки дорогие там,

наверху, где все вместе, а здесь тянет, утягивает, неумолчно нашептывает: "Болит у тебя все. Болит." Закончите же эту муку мою? Зачем же так длить разлуку. Мрака дайта тогда! И сразу!

Они никогда не признаются, что знают, что им могут впрыснуть вместо морфия дистиллированную воду. Они будут корчиться в муках, кусая воздух, и не признаются, что знают, знают — украден их обезболиватель. Потому что они боятся медперсонала, и, не признаясь, надеятся, что медперсонал за это сжалится и чудом спасет их. Потому что в их жизни кроме медперсонала больше никого не ос-талось.

Ненавижу метро, автобус и свою братскую работу. Своих мед-братьев и сестер.

Я говорю себе: "Ну вставай, вставай же ты, Господи Боже мой, вставай, король дебилов!" А я так не хочу вставать!

Я хочу лежать и представлять, как вьется поземка, льстивая, по моим пустырям беспробудным. Уже звонил будильник, но уже опять тихо и темно, и никто в мире не знает, что я есть на свете, и только воет ветер там, снаружи, где поземка бледная, где темная, без жизни, льдистая в коросте лежит земля.

Я лежу и никто меня еще не потрогал, не крикнул на меня, не погнал куда-нибудь принести-отнести, не напугал оброненной кишкой, скраденной ампулой, не забрызгал кровью, не накомандовал мною, не похвалил. Я еще ничей.

Я ничей, не людской, не русский, и даже не земной. Нет!!!

Я-то земной и русский! а вот сон мой сегодняшний!

И тут я вспомнил его! Господи Боже мой, вот отчего я лежу так сегодня-то! Как расслабленный. И никто не придет и не скажет: "Встань, вставай же ты, детина, ну!" И сегодня особенно веет ветер снаружи, и особенно бледнеет-сереет зимнее утро! Свистящее утро зимы моей. И сердце во мне медленнно сту-чит, а я его слышу: тук- тук — слушаю. Оно, бедное, знает одно себе — работать во тьме моей, бесхитростно трудиться, содрогаясь. Удивляюсь я, чего это я сегодня? Лежу, сам про себя думаю. Что внутри у меня, например?

Сон мой сегодняшний! Я даже дышать перестал, как вспомнил его! Как будто он упал на лицо мне и я обмер. Вернее, сна-то я и не вспомнил как раз!

Лежу я, опаздываю и вспоминаю я, чего мне такого наснилось, откуда, зачем? Чего душа все еще дрожит, будто бы ее потрогали незваные пальцы?

Господи Боже мой, это ведь не я неземной, а сон мой был такой огромный, но пока я спал, развалившись по всей по кроватище, одинокий я, по двуспальной моей, просто высокий, молодой я парень: пока спал так, я сам незаметно стал таким же огромным (не по нашему, не по людски, а таким огромным!) и он свободно плавал во мне, в слезах души моей. Кто это было? Что?!

Снилось мне, что мне пять лет, что я стриженый "под машинку", веселый я, а долговязые (на голову выше деревьев вон тех вон) золотые стрекозы шуршат крыльями на весеннем сквознячке, ведут меня на праздник. И глаза их немыслимы, как земные шары: изумрудны, златны. Со всех сторон, сразу, отовсюду вас видят глаза эти. А могучие челюсти в покое сомкнуты — не о чем говорить с таким сопляком, пляшущим во-он там, внизу у нас; и праздник, праздник мой дорогой ты!

Нет, мне не снилось этого. Это я сейчас придумал, проверял.

Снилось мне, что мою маму назначили в РЭУ деспотичной, но любящей повелительницей небольшого пигмейского народца, случайно обнаруженного с вертолета в пшеничных гущах среднерусской полосы. А я, соответственно, инфант. Нам с мамой дали удостоверения и два красных флажка (со старых еще первомаев) сигналить по верхам пшеницы, мол, вот они мы, не теряйте нас на простотах, стекайтесь, шурша колосками! Каши наварено уж! С маслицем. Мне это не снилось, не снилось. Я даже хоть чуть-чуть представить и то не могу, что же мне лилось и лилось всю ночь в грудь? Пока я доверчиво спал, всхрапывал, набирался сил для нового трудового дня.

Но ты, дебил, вставай, засранец, а-то тебя уволят, мечтателя, с работы с твоей заразной.

Как-то я встал ведь, свесил ножищи, взметнул ручищи, выпрямил торс как-нибудь, и комната моя нежно поклонилась мне, взмахнула и поплыла своевольно, как ей хотелось, а я стал топотать, приседать и цепляться, и наконец-то я понял — я не могу без пива! Так это, наверно, пиво-то мне и снилось! Оно! А у меня его нету! Я знаю!

Доплетусь я до больницы своей, весь огромный, распухший, подрагивающий, доплыву, как надувной матрац, доползу и вымолю себе мензурку маленькую чистого, злого спирта. Ведь болен я, а больница для больных. Дадут, дадут, они же не знают, что я про них гадости думаю (насчет ампул). Они дадут, ведь я, как они, в белом халате. Если я доплетусь. А-то неизвестно. Комната моя, как женщина танцует. Она думает, что я шарик у нее во рту, леденец, вот сейчас дососет, дотанцует.

И тут как раз в дверь тихонечко поскреблись, а я и обрадовался (потому что козел я козел), ведь я в миг догадался, что это пришло пиво.

Но я интересно повел себя:

— Дима, Дима! — поражаюсь я, приоткрыв. — Что же ты пришел-то? Ведь мне на-адо на рабо-о-оту собираться.

— Пиво, пиво! — хрипит Дима и втискивается боком, кривя лицо в усилии, потому что я его как бы не впускаю, придерживаю дверь, так, чтобы только боком, а прямо, как полноценному гостю, нет, не открываю.

Дима проникает, а я (ведь козел я) бегу мелким шажком за Димой и убеждаю, всплескиваясь и тревожась:

— Но ведь если мы с тобой по одной бутылочке выпьем, то я успею на работу, как ты думаешь, Дима?

А Дима и говорит:

— Мать дома?

Но как же?! Ка-ак же это так?! Ведь он знает же!

— Она же в сумасшедшем доме лежит, Дима, — говорю я. — Как же она может быть до-ома-то? Она-а же не мо-ожет быть и там и тут сра-азу?

— Че ты все заикаешься? — говорит Дима. — А-а а-а.

— Так я-а... — говорю я. — Всегда-а-а...

— Ну ладно, хва! — одергивает Дима и вдруг внимательно, цепко оглядывает меня, а до этого только хмуро и вскользь.

— Что-о, Дима? - вскрикиваю я. — Не пуга-ай меня взглядами-то!

— Че-то ты какой-то... — равнодушно удивляется Дима.

— Го-осподи, какой? Ка-а... ка-а... — и я начинаю приплясывать на месте, чтоб сказалось, наконец, из горла моего сжатого выскочило.

— Как будто сдох, а про тебя забыли. — догадался Дима.

— Ты ка-акой ужасный, Дима, человек-то! — изумляюсь я. — Ка-акие вещи говоришь-то!

И начинаю смеяться. Потому что ведь правда смешно как-то. Как мы разговариваем, как Дима топчется, сдерживая гнев, как я заикаюсь, а Дима гневится сильнее. Он смешной такой. Хороший!

— Миро-о... — говорю я.

Я хочу сказать "миролюбие". Но Дима раздраженно машет рукой и сам идет, первый идет в лучшую комнату, в "залу", где ковер и диван, поэтому я остаюсь один в прихожей, и со мной остается только "миро", и приоткрытая дверь в подъезд, а "любие" опускается обратно, в несказанное. Я закрываю дверь на все замки и на цепочку.

И мы усаживаемся за стол и начинаем открывать открывать отрывать крышки-головушки, а телевизор нам показывает утреннюю аэробику, а за окном светает, рассеивается мгла, и по жилам растекается покой.

— Вон та вон классно гнется, — говорит Дима про девушку в полосатых рейтузах. — Скажи, здорово!

Мне самому нравится, столько в ней незлобливой силы и воли к жизни. Я киваю, но сам думаю про слово "миролюбие". Ведь в заикании есть особый и тайный смысл! Потому что нормальный человек, не колеблясь, брякнет:

— Миролюбие!

Вперед брякнет, чем подумает, потому что у него широкое горло и слово само вылетит. "Миролюбие!" — крикнет такой челевек. Чего крикнет, зачем? Но и слушатель услышит: мол, миролюбивым надо

быть, понял, козел? Тем более в чужой дом пришел! Ну и что же, что ты пива принес? Теперь хамить можно? А кстати, где ты его в столь ранний час раздобыл-то? Украл, что ли? На базе?! Расхамился.

А заика потянет слово, оно поразит его глубинным, сонным смыслом, и у человека перехватит дыхание, он замрет на полузвуке, потрясенный бездной, несказанной бездной старинного слова: мол, до того, как оно поднималось к моим губам, из узких темнот моего горла, пробуждалось в тайниках памяти, сколько толстых, тонких, шершавых, красивых, лживых, наивных губ через сколько седых, навеки ушедших времен, его произносили, выдыхали в мир из своих горл: "миролюбие". Любие ли мира это, аль иное что? И что есть мир? И за что про что ему любие? Чье? И кто я во всем в этом? С любием своим в мир пришел? Слюбится ли? Аль только стерпится? (как де-вушки в толстых рейтузах все вертятся-крутятся в аэробике, огневые, задорные, или лишь напоказ, а самим уже потно в рейтузах, невыносимо — почесаться бы?) И вот же, заика дальше станет думать: почему порхало это слово и взяло, село ко мне, на мои красивые губы?

— Ну чего ты, как козел? — сказал Дима. — Вылупился в телевизор, че ты, баб на видел?

— Видел... Ай, да ну тебя! — я махнул на него совсем.

Но тут стали показывать "Поле чудес". Мы с Димой напряглись.

— Ты ни за что ни одной буквы не угадаешь, — сказал Дима.

— Я знаю. — согласился я.

Но тут Дима толкнул меня в бок и закричал:

— Во! Во! Прям в первом ряду сидит! Ну точно он!

— Где! Где! — завертелся я.

— Ну вон же, в кожанке! Тайга! Это Тайга!! Кореш мой по Владику!

— Ничего себе! — кричу я. — Повезло!

— Да уж, не как ты! — почему-то враждебно пробурчал Дима. — У него денег мешками. Брокер.

— Он тут выиграет еще. — сказал я. — Тут все выигрывают. Это для идиотов.

— Тебя там почему-то нет. — сказал Дима. — Тебя туда ни в жизть не позовут. Давай, давай. Тайга! Крути эту дуру!

— Ди-има, давай выпьем? — позвал я друга.

— А, давай, Леха, — миролюбиво вдруг откликнулся Дима, оторвался от телевизора, бездушно от Тайги Брокера.

И я опять поражаюсь этому переходу к открытой и теплой дружбе нашей. Мы открываем маленькую (от пепси-колы) бутылочку водки и разливаем в пиво.

— Пожрать! — вспоминает Дима.

— Да-а, пожрать! Да, пожрать? А — нету!

Я хочу тем самым намекнуть на пирожки. Был такой случай. Гуляли мы с Димой как-то... и недавно это было! на той всего неделе! и вот испек я пирожки с картошкой. Замесил тесто, тесто славно взош-

ло, и испек я целую большую груду румяных пирожков с картошкой. А тут, как раз (редчайший случай), позвонили девушки. Мы так разволновались с Димой, что даже толком не поняли, какие это девушки нам звонят-то? Нету у нас никаких девушек (кроме Димы, у него есть Любовь, но она никогда не позвонит). Ну все равно, Дима говорит:

— Иди, встречай, веди их сюда, Леха! А я пока приберусь.

Я, радостный, бегу встречать этих девушек, а про их лица я и забыл разузнать, как я их узнаю-то, не расспросил же про лица-то? Ладно, думаю, может там вспомню, когда увижу. Увижу и вспомню. Смотрю — правда они!

Вижу я, стоят они под козырьком остановки и улыбаются мне. Я говорю:

— Здрасьте, девушки!

Они говорят:

— Здрасьте, юноши.

Я закивал, закивал, ну да, мол, да, мол, и говорю:

— Вы Шура и Клара?

Они говорят:

— Вроде того.

— Слава Богу! — говорю я. — Как я вас сразу нашел-то! Даже удивительно. А-то уже темнеет, пойдемте.

Они посмотрели друг на дружку, как будто смерялись личиками, и потом говорят мне:

— Пойдемте.

Вот, вроде бы не так долго я ходил, и девушек сразу нашел, а приходим мы, незлобливо пошучивая, мол — юноши-девушки, жаль, мороженое закрыто, одним словом, в прелестном настроении, а Дима нам открывает, как черная туча. Глаз даже не хочет поднять на нас, раскрасневшихся от смеха и ветра. Сердце мое екнуло. Я все-таки говорю:

— Дима! Выставляй наше брашно! Наше красное вино и румяные пирожки наши пышные!

А Дима говорит:

— Какие пирожки? — и поднимает надменно подбородок. Со шрамом.

Я говорю:

— Ка-ак... ка-а-ак... ка-а-а... — словно вот-вот яичко снесу.

А девушки хохочут, прямо падают друг на друга: Шура на Клару, а Клара на вешалку.

А Дима говорит грудным баритоном:

— Какие пирожки, Алексей? Где — пирожки?!

— Ты их съел! — кричу я своим визгливым тенором. — Так быстро?!

— Кого там быстро? — кричит Дима тоже тенором. — Ты сколько часов ходил? У тебя сроду пирожков не было!

— Как же не было-то? — поражаюсь я. — Девушки! Скажите ему! Были пирожки! Уж я так предвкушал! Сам тесто месил, сам пек! Я и с рыбой умею. Вы любите с рыбой? А с картошкой-то! Да так много! Ну хоть бы один! Ведь я даже не попробовал!

Тут Дима кричит мне:

— Не наступай мне на ноги! — и наступает мне на ноги. — С рыбой! Ха! Ха! Брехун ты! Я же из Владика!

А я кричу:

— Я не наступаю! — и топаю ногами! Кричу я:

— Причем здесь Ха! Ха! твое!

— Да там этой рыбы завались! — кричит Дима и толкает меня в грудь.

— Картофельные мои где? — кричу я. — Угощение мое где? — и сам толкаю его в грудь.

А девушки кричат:

— Х... с ними, с пирожками, нам лишь бы выпить было!

— Понял? —кричит Дима. — Разорался тут. Кому они нужны, пирожки твои говенные!

А я просто задохнулся.

— Как это говенные? Он же съел их один! Без нас! Сам с собою! Да так много! И даже не заметно по нему — такой же тщедушненький!

— Кто тщедушненький? — взвился Дима,

Но я закрыл глаза. Я ничего, ничего не мог понять. У меня в голове буран какой-то закружил, мгла и слепота стали.

И тут приблизились ко мне горячие и потные духи, ударили в лицо, и я открыл глаза. И вижу: два синей краской обведенных глаза стоят напротив глаз моих синих, и дрожат черные зрачки, дышат прямо в глаза мне. Сами собой. Вне пирожков. Вне всех нас. Вне синим обведенных глаз. Сами по себе дышат, сосут свет. Зачем они такие? Зачем так жадно втягивают свет они и дрожат, ненасытные?

Нет, это была, конечно, Шура. Она, ясное дело, просто обняла меня и привалилась, молодая. Что еще она могла сделать! И это ее простые глаза были. И Шура мне сказала:

— А ты на лицо красивенький. У тебя губки вырезные; как у Барби.

Но зрачки ничего не говорили. Они сосали воздух света, им было мало, а мы никто ничего не знали. Я резко оттолкнул Александру и сказал:

— Я вас всех так люблю! Вы такие хорошие! Давайте выпьем!

— Так бы сразу! — горько упрекнул меня Дима.

И я раскрыл объятия Дмитрию, другу своему, и мы запели песню и все пошли пировать. И дальше я помню, что звонил телефон, и мне в телефоне звенел душистый (почему душистый?!) гневный, милый голос:

— Мудак! Мы стоим тут уже пять часов, нам это все остохренело, ты идешь или не идешь?

— Иду! Иду! Кто это? — жарко волновался я.

— Шура и Клара! — звенели мне. — Ты сказал, выйдешь встретить, мудак!

— Еще одни! - ликовал я. — Шура и Клара! По две!

И мне кричали в ответ, кричали капризным, нетерпеливым женским голосом, как сквозь буран и вьюгу, и тысячу промерзлых пустырей, кричали, гневно звеня, уличные, милые, что замерзли коленки, и какой я козел и мудак.

И дальше помню: зорко, прицельно глядел я: во-он потекла неостановимая наша жизнь. Всех нас. Вон она течет, розовая, морозная, молодая такая, ух! И озирался я в беспокойстве, охранял всех нас, развеселых.

И вдруг вижу я: маленькое личико клюет меня и клюет, (кто рисовал его маленькой кисточкой?) клюет меня слабеньким ртом.

— А кто же ты? - я беру это личико в ладони. — Я так хочу знать!

И сквозь острые зубки:

— Я Шура...

Настоящая! — я мгновенно понял! — Неподдельная, душистый голос!

Но ложная Шура тоже была хороша. Я что-то понял о ней сегодня, но что, уже не помню. Золотой поясок блестел на ней. Я все позабыл о ней. Посылал ей приветы, свои поцелуи. Покачивала серьгами, сужала глаза, отворачивалась. Слабые были кудри затылка, не-прокрашенные пряди блондэ.

Не целуй же, не целуй ты воздух, не люблю я его, застужает меня он. Крановщица я, трудовой день мой продуло весь, общежитие я, Александров, знаешь, нет? под Москвой — сто первый километр я, неподдельная я, ложномстительная, Шура народная, Клара культурная.

Клара крикнула из-под бра:

— Ты был на защите Белого Дома?!

— Да что ты, нет! — крикнул ответно я.

Клара из-под бра засмеялась в лицо мне. В треугольнике света лицо ее было.

— Меня там убить могли! — кричал я Клариному лицу. — Меня могли танком задавить.

Клара сплюнула на пол и отвернулась, черноглазая.

— Мы с Кларой были, а ты не пошел бы, я сразу увидела. У тебя личико девчачье, беленькое. А мы с Кларой пошли. Мы за тебя и боролись, — звенел голосок Александрин, как звенели капельки-рюмочки. — У тебя ресницы загинаются, ну прям как красотка! Мы боролись, чтоб жизнь стала для молодых. Так надоело кругом!

— Не говори! Не говори ему! — крикнула Клара, подавшись вперед.

— Клара тебя не простит. Все теперь уж. Я ее знаю. Не обижайся, пожалуйста. Клара за последнюю правду, никого не боясь, будет стоять. А я не буду. Мне все равно.

— Не тужи, Александра, — уговаривал я, пожимал ей, маленькой, плечи, гладил ей темечко.

А как же? У нас с Кларой был, на тебя немного смахивает, автомеханик Виталик. Мы к нему потянулись, мы всего нажарили, наварили на его на двадцать третий февраль, хоть уже и не празднуют, а у нас в Александрове празднуют. Мы нагладились, накрутились, прибрались. Он пришел, все сожрал, и спать лег, ни спасибо, девочки, ни хоть посидеть с нами. Я говорю, ну ладно, Виталик! давай, Клара, улыбаться и все, он не подумает плохого, уйдет на работу, а мы давай ему матрац разрежем с под-низу. С под-низу и тех вон жареных котлет, что мы сами крутили и жарили, вон, остались еще, их насуем в матрац и искусно зашьем и застелим. Пусть время идет, а он сначала не будет знать, что такое? Потом форточку станет не закрывать, потом вертеться начнет, все ворошить, искать, выть, ни за что не дотумкается! А знаешь, как мне на кране под небом холодно? Каждый день! Я же одна целый день там. Отчаянно сине там, а солнце только слепит, и стекла кабины моей не греют, вся я простыла.

— Александра, тебе надо много теплых штанов и толстую шапку, чтоб ты не простужалась там, — кричал я Шуре, боялся за ее уши, за все, что могло застудиться в воздушных краях.

Но Александра уклонялась, смеялась:

— Александровские мы. Лимитные.

Пусть Шура в защитных очках, во всем полярном, бьется с громадой небес, а Клара в раковинах, в бархате-декольте на летней эстраде среди мальв в Волгограде, когда вам пять лет и к вам мама приехала из Москвы, и очень теплый сад. После дождя. Табачки пахнут. Кители сверкают в вечернем солнце. С Волги гудки. Кажется, к осени дело. "Моя мама в сумасшедшем доме болеет," — сказал я. И грациозная Шура очень смеялась от этого, а я целовал ее мелкие зубки, а Клара сигналила целуемой, головой мотала, коричневыми глазами поводила на двух самозванок, пришедших первее.

— Тех вон кошек облезлых прогони, — научала меня Шура жаркая, царапала мне щеку ноготком.

— Что ты, что ты! — я отшатнулся даже. — Как это можно? Они такие хорошие! Им Дима песни поет про любовь, Лже-Клара носки повесила сушить, а лже-Шура в золотом пояске задремала совсем, вон, серьги свесились, не звенят. Да и куда их гнать-то? Ты посмотри, Александра, за окном — вон, одни пустыри-пустыри, и поземка до самого края крутится, мутная. Истинной Кларе своей передай — пусть не сигналит! Пусть поймет, что еще повезло нам, удачно, что мы все тут собрались в тепле.

Но Шура горько скривилась — вам в тепле, а мне в небе! мне в небе! — и делась куда-то. Ну что же ты, Шура? Куда ты?

Я хотел всех-всех целовать! Я ползал по комнате, чтоб целовать все их ножки, измученные корявой обувью. Я говорил им:

— Люблю вас всех!

И вдруг те самые, жадно сосущие свет, склонились над моими глазами-слезами. "Черные, они ничего не простят! - я вдруг догадался! — Они не простят, что время все время идет. Но они еще кое-что. Они не как сердце, которое во тьме человека трудится, крепостное. Нет, они навылет, сквозь всего человека, сквозь теплую, сонную плоть его и дальше — не знаю куда. Они два узких, два черных тоннеля для кого-то..." Но я не понял своей мысли, я испугался. Я зажмурился и ткнулся в чьи-то мокрые губы. И дальше я помню, что стукался головой обо все, космонавт ли я был, крановщик ли небесный, и было много людей, все кричали, воздевали бокалы, славили, а среди всех был чей-то ребенок. Он визжал и вертелся, Владик. А когда я падал, он подбегал и кусал мои щеки зубами. Нет, все-таки карлик. А еще кто-то ревел и вертел топором. Наверное, главный здесь.

— Так что пожрать, Димочкина, нетути!

— Продай тогда брюки, — хмуро он попросил.

— Что ты, что ты, что ты, Дима! — я замахал на него. — У меня и нету брюк.

— Что ты врешь! — сказал Дима. — Тебе мать накупила всего.

— Ах!

— Дай тогда я тебе мусор вынесу, — сказал Дима. — Хоть что-то по дому сделать.

Это я разрешил. Дима взял помойное ведерко, и ушел, сильно хлопнув дверью. Загудел лифт.

Куда он поехал с моим мусором? Мусоропровод ведь на лестничной площадке? Но я уже устал, я хотел на работу. Я пошел, насыпал пшена Чике, налил в его корытце свежей воды. Чика забегал, заверещал на плече у меня, но я отмахнулся, я, правда, устал. Он укусил меня и пошел летать по квартире, а я лег на пол. Но тут завизжал домофон. На всякий случай я не открыл наугад, снял прежде трубку и спросил:

— Дима, ты?

— Это Алексей? — сказал Дима.

— Входи, я открыл, — ответил я.

— Можно мне с вами поговорить? — спросил Дима.

— Можно, Дима, —сказал я. — Но я уже хочу на работу. Уже светло!

— Я знаю, вы друг Димы, — сказал Дима, заплакав.

— Я твой друг, я твой друг, входи! — крикнул я. — И ведро не забудь!

Мне ответило рыданье.

— Что случилось за эти пять минут? — спросил я.

— Дима мой единственный сын! — крикнул Дима, захлебываясь.

— Господи! Господи! — крикнул я.

Рваное, мокрое дыхание шумело в ухе моем. И потом мне сказали:

— У нас уже ночь. Ночь глубока уже. Я шла по снегу на почту — мне сердце так стукнуло. Я решила вам позвонить.

— Что, что, что? — я не понял.

— Как так у вас ночь? Какая ночь?!

Мне сказали, что ночь настолько сильна, что даже снега почти что не видно.

Я сказал, что у нас уже почти рассвело здесь, зато снега нету почти всю зиму. Только поземка, мучнистая, бледная, льется по обмороженной земле. Но ее все время сдувает на край. И от этого как-то зябко.

— А у нас снега очень много, — сказали мне. — Он заносит жилища, поэтому не поддувает, не зябнем мы в глубине, не дрожим под зимними толщами, спим, свернувшись в клубочек, чутко ухом поводим на шорохи, — сказали мне. — Но ночь такая густая, что от нее снега не видно.

Вот сейчас, в этот миг, когда я стою у своей двери, обитой дерматином с желтыми пуговками, где-то такая гуляет ночь. Вот — она говорит со мной.

— Как это так? Как?! — растерялся я, закричал.

— Не знаю ничего! — заплакали в ответ мне. — Я шла по снегу на почту через эту ночь. Она выла, метелила, я пробиралась, уклонялась от лап еловых, осыпающих снег, я дышала в мех свой, чтобы рот отогреть, чтобы вам позвонить. Я хочу вам сказать, что у вас там, в Москве, Дима, сынок мой неосторожный, базоглядно ходит один. Посвистывает, поплевывает. А это так далеко! Это так далеко! С Димой что-то случилось!

— А вот это и нет! — влез я, утешая. Обрадовался слову своему, влезшему в эту речь несказанную... Кружилась у меня уж голова. — С Димой вое хорошо как раз! Кроме того, у нас тут светло уже, имейте в виду!

— Я это знаю. По телевизору показывают. — Москва вся сверкает огнями, — сказали, смягчаясь, но тут же голос вновь задрожал, набрякая слезами едкими, — А что Дима делает в Москве?

— Как он там?

— А что он кушает? Много ли? До сыта? Нет?

— Ноги его промокли? Насквозь?

Вопросы повизгивали, как поземка. Не ждали ответов.

- Все там друг дружку знают, а Дима один в тех краях. Он верит людям. Он часто спускается под землю, я знаю. Носится там. Куда?

Зачем? Пусть едет обратно, к своей маме.

— Ах! — я догадался. — Это не "под землю", это метро. Вся Москва там носится. Это передвижение терпеливое. Транспорт.

— Пускай так, —согласились со мной, помолчав. — Но для Димы, вы, Алексей, единственный друг. Не бросайте его одного нигде. Дима очень хороший человек.

— Хороший! — крикнул я согласно. — А насчет того, что Дима один, так он в любой компании заводила, он поет, как Высоцкий. Он веселый товарищ и обаятельный друг! Мне-то уж он по-честному дорог! Это у меня-то как раз и не особо с друзьями.

— Ну Дима! Ну Дима! - посуровели там. — Если он что-нибудь вытворит, я его буду ругать. Спасибо вам, Алексей, за все доброе.

— Это вам спасибо, — сказал я.

— Я пошла домой, — сказали мне. — Сердце мое замолчало. Спасибо вам.

— Вам спасибо, — снова сказал я. — А как же вы одна-то пойдете ночью? Или вы не одна? Вас проводят?

— Нет, я одна. Здесь никого нигде нет. Здесь даже доярка не выходит навстречу, а я так люблю молоко!

— Я не знаю, что делать! — закричал я. — Что же делать-то?!

— Я вам уже говорила, здесь есть тропинка в снегу, — нетерпеливо напомнили мне. — А от почты идет свет до того вон дерева, а после света я пойду-пойду — тропинка узкая, я не собьюсь, и там будет наш дом, я увижу по тому уже свету. Спасибо, что вы поклялись до гроба, за крепкую дружбу на всю жизнь с единственным другом Димой. Пошла я на ту тропинку.

— Постойте! Про Диму-то ладно! Я больше про вас, раз такое! Вам покажется дико, но вы все равно послушайте: у меня было точь-в-точь... Я сейчас это вспомнил! про снег и тропинку — точь-в-точь! Вы не поверите, моя-то мама однажды взяла, учудила, уехала в какой-то городишко, деревянный, низенький, зачем, что? А была зима с таким же снегом, как вы рассказывали. Ну она-то, ей пятнадцать лет, перессорилась с мамой Капой, это моя бабушка, она живет в Волгограде, уж она натерпелась там, баба Капа моя, то есть тогда мамы моей мама Капа. Короче! Она изболелась вся — где мой ребенок?! Никаких новостей! И вот, в это самое время в том городишке началось бесконечное млечное кружение влажного снега от земли до самого неба. Буран! И к тому же в те последние часы января, когда возьмет вдруг потянет первыми струями весны. Откуда? Что?

Но тут дверь задрожала, я привалился к ней изо всех сил, но меня пересилили с той стороны, поехал я, оттесняемый. В дверную щель втиснулся распаренный Дима, он шумно, горячо дышал, он был взбодрен недавним бегом, что ли? (ведь лифта я не слышал, значит он взбирался сюда пешком), и он был взбодрен до крайности, даже потрясен. Словно тельце его оттрепали стихии. Но вот он здесь. Но я, борясь с

дверью, спрятал трубку за спину, я стоял, как будто поправлял кнопку на обивке, я даже и не смотрел на Диму (только вскользь, рассеянно) я ковырял кнопку, кровь во мне зудела, и мне хотелось разодрать себе кожу, так зудело, чесалось, жглось. Дима тоже не глянул на меня, буркнул что-то. взбодренный, помчался в ванную с помойным ведром. (Я и то успел заметить, что ведро мое цело!)

— Слышите... — я зашептал в трубку, хотя в ванной включилась, заревела вода. — Вот. Алле. Вам, как матери, ясно, что нельзя в ее положении так делать, но вы тоже поймите, ей ведь пятнадцать лет! Да и проследить некому — город-то чужой!

Я старался говорить тихо, но получалось, что кричал, потому что больше боялся, что там-не услышат, чем того, что — здесь услышат. В ванной ревело. Но я все равно помнил, начинал говорить тихо и забывал — заканчивал криком.

— Она вышла на улицу. Вы поймите, просто выглянуть, посмотреть, как крутит, метет, ведь ранняя юность у нее и ей движенья стихий любопытны, милы даже (перекликаются с тем, что в душе у ней). Вот она выглянула и ее в тот же миг (будто ждали!) втянуло, закружило ее, повело вслепую. А улички все кругом чужие, горбатые, путаные. А мама моя растопырила руки и шла наугад, хватая ртом воздух и снег. Подозреваю я, что ей даже нравилось! Ведь во глубине бурана очутившись, сам как будто летишь, и кружишь, и мелькаешь. Ей только того и надо! Но — как схватится за живот. Схватки у нее начались, а она ведь уже глубоко заблудилась. Господи Боже Ты мой, она уже не могла, се-ела пря-я-ямо-о... я-а-я-а за-а-а-и-и... Короче!! Она расселась прямо в сугробе, растопырилась и стала охать все громче и громче. И прохладный снег залеплял ей глаза, таял, стекал по щекам. Мельтешило все, двигалось, да и в ней самой глубинные сдвиги пошли, ледоход в крови, ясно вам? Но вдруг она чувствует — кто-то к ней прикасается? Или кажется? Ведь столько касаний, движений, кружений вокруг! Нет! Теплые, недоуменные касания прямо из снежных вихрей! Даже лицо обежали ей торопливые пальцы. Но мгла и буран — она-то сама никого не видит. Потом она помнит, как стала вдруг подниматься вверх вся, легла прямо в воздухе вверх животом и лицом, и выше, выше поднималась вся и поплыла осторожно, торжественно (это несли ее над головами, покачивая на горбах гололеда) и из неба сверху ей прямо на лицо слетал снег, остужал, разрешал не видеть, не понимать, только щуриться ласково. Вы, конечно, догадались, что это местные жители, они-то знали все тропинки. Все! Они принесли мою маму в родильный дом, где я тут же родился. А это уже потом, через много лет, когда мы с ней уже повзрослели, очнулись, она мне сама сказала: когда рожаешь, лихих людей не бывает, на это время передышка, затишье у людей. Главное, только не дергаться, вытянуть руки вдоль тела и бездумно плыть над головами. Алле. Теперь все. Это все. Я все сказал. Вы меня поняли. Алле? Алле?! Поймите, я нагородил, я заика, я

ранес околесицы, но вы поймите — это похоже на ваше. Сильно очень! Алле!!

Там неясные звуки какие-то возились. То ли снег скрипел, а шаги удалялись? Уже очень-очень далеко. Может меня и не дослушали? Докуда дослушали?!

Далеко-далеко угасали шаги, снег скрипел в темноте. А голосишко мой слабый скулил там, догонял, слепо тыкался повсюду. Не догнать...

Я осторожно повесил трубку домофона. Я вытер пальцы об рубашку.

Тут и Дима вышел из ванной. Он вынес помытое ведерко, понюхал его, показал мне, я кивнул, что да, чисто, и Дима вытер свободную руку о рубашку и понес ведерко на кухню.

— Залезь на диван! — крикнул Дима из кухни. — Самому-то тебе не противно? Всю квартиру засрал. Я полы буду мыть.

Я отлепился от двери, прошел в комнату и взошел на диван, Дима пришел в больших бледных трусах, босой. Ему было зябко. Он посмотрел на меня, встал на колени, помедлил, потом уперся руками в пол и пополз с мокрой тряпкой вперед. За ним оставался широкий мокрый след. Наконец я вздохнул полегче, снова смог сгибаться в суставах, опустился, присел на спинку дивана.

— Шваброй — терпеть не могу! — пояснил он, радуясь работе.

Я спросил, зачем он разделся.

— Одну мою одежду пачкать? — закричал он.

— Ты мой! Мой! — успокоил я.

Дима ползал, тер паркет, раскачивался над ним, как горюя. Он был желтоватый, узенький, с тонкими ребрышками, и все мышцы его и косточки хорошо, удобно двигались в работе. Мне неожиданно стало интересно смотреть, как красиво все в нем подогнано под эту нехитрую работу. Эластично, мягко, но настойчиво весь он перетекает, раскачивается, будто бы уговаривает работу, чтоб не горячилась, не дергалась, а спорилась бы. Не только интересно, но необычайно приятно смотреть было! Не глупая ведь затея — вымыть пол, чем застаивать мышцы молодые. Пока не прокиснут. Отмякал я, одеревенелый, и совсем уж развалился на диване, отпускало меня и теплело во мне. Веселел понемногу.

Но при мелкокостной азиатской фигурке у него оказались волнистые, неожиданно сильные руки. Я раньше не замечал как-то — почти черные. А кисти косно распяленные, как ступни.

— Мы так в армии драили, — пояснил он, заметив, что я за ним наблюдаю.

Я схватился за беседу. Подобравшись было, я опять расслабился, потянулся весь.

— А я не был в армии, я увильнул, — начал я в потягушках. — Я перепрыгнул через проволоку, через забор. Они догнали — ты зачем

бежишь? ты и сам нам такой не нужен. Иди себе. Хотя постой-ка... Я окончательно убежал...

Все это Дима прослушал, замерев внимательно, склонив голову набок, как смышленый зверек непривычную для себя команду. А когда я закончил, он попросил:

— Ты молчи, а? пока я работаю. Ну сколько щас времени простояли с твоей проволокой, а? Ну зачем же, зачем же мне все это знать?!

Я замолчал.

С упоеньем работал, обтирал тряпочкой ножки у мебели, обходил на четвереньках стулья, узенький, подлезал под них, змеясь, тер, мыл, ластился к заблестевшим местам, хотел, наверное, клубочком свернуться на чистом паркете, и громадные трусы с клеймом едва держались на копчике.

Ну хорошо, ну а как рассказать-то?

"Дима, было черте-что, не знаю, с чего и начать?"

"Дима, вначале зазвонил домофон. А ты как раз пошел с моими помоями — вон!"

"Дима, я снял трубку домофона. Ты орал, как всегда ты орешь, а я орал, что открыто, что входи давай. Ты не слушал, конечно же, орал свое, и тут тебя сбило другим голосом, неуловимо отличным от твоего. Баритон. Со слезами. Мокрый, густой, как ночь баритон. Ревела вьюга. Баритон умолял, рыдал. Оказался — твоя это ма..."

Но если я начну говорить, то он перестанет мыть, чтобы слушать и тогда...

...Вот сейчас она идет по этой тропинке... (вот он лег на живот и возит тряпкой под сервантом, по-честному, до самых дальних углов, прилежный татарченок) ...света от почты уже не хватает... (вот он намочил, выжал тряпку, и стал мыть под столом) ...но тропинка узкая, по краям ее высокий намело за всю зиму снег, сбиться нельзя, невозможно... (вот он подбирается к дивану моему, разлегся, возит тряпкой под диваном)... и снег скрипит под ногами, а тот свет еще далеко...

— Ну все, все! — Дима как вскочит!

— Ты что? — помертвел я.

— Чисто! Баста!

— А в том углу! Под столиком, где телевизор!

— Я тебе нанимался? — заспорил он, заупрямился.

— Если взялся, то домывай! — визжал я, колотил по дивану, — А то только грязь развозишь!

Дима взыграл желваками, мышцами рук, но потупился, опустил голову, подломился в коленях, ниц упал... (И вон уже — тот свет и дом и - мама добежала!)

Он унес ведро и тряпку, а я остался один в опустевшей вдруг комнате. Было влажно, светло. Чика влетел, трепеща, стал клевать стекла окна, зеленея от нас туда — в мир. В самом деле, посвежело от мытья. Дима гремел ни кухне.

— Дима! — крикнул я. — Ну давай же!

Дима вернулся одетый, глаза его были припухшие и красноватые.

— Ой! Ой! — вспомнил я.

Какой — одинокий? Какой — сирота в казенных трусах?!

— Да ведь любовь у тебя! — начал я, волнуясь.

— Заткнись! — оборвал меня Дима и опустил глаза, чтоб не набить меня.

— Я знаю, тебе надо одеться! — понял я. — Вот козел я! Ведь любимая женщина увидит тебя в рванине!

— Ничего твоего мне не надо! — крикнул Дима сквозь слезы.

Дима надел мои брюки, ну конечно, они ему до горла. Но Дима, прояснев, подвязал их веревкой под мышками, подвернул, завернул, а сверху сдержанный, не старый еще свитер, ловко покрашенный в черное. Я сказал, как удачно, прилично!

— Брюки нормальные! Покупаю! — сказал он, разрумянясь.

По этому поводу мы налили снова по маленькой водочке и по бокалу пива.

— Хоть хлеба бы, — сказал Дима сурово.

А я посмотрел в окно.

— Господи Боже мой! Дима, смотри, только что было светло, уже темнеет.

(Значит там, в той ночи, уже светает, и чья-нибудь мама дошла, ведь дошла до дома?)

Хотя нет, только что было темно, потом сразу светло, и вот — темнеет. Время стало неуловимым, бесцельным: лукавым, как поземка, а часы только путают тиканьем. Нужны надежные приметы. Вот пол — если он мокрый еще, то должен блестеть. Пол блестел, он же был лаковый! Я украдкой провел ногтем царапину на стене. Это будет зарубка. С нее можно начать заново отсчитывать время. Чтобы медленно темнело, а не сразу.

— Хоть хлеба бы, — глухо бухнул Дима. Шевельнулся в сумерках.

— Попроси у соседей кусок. Это ж хлеб.

Я прямо охнул. У соседей! Во-первых, неясное время. А потом — они меня арестуют, и руки заломят, и в лицо мое будут кричать.

— Я лучше телевизор переключу, хочешь?

— Хочу, — кивнул Дима.

Я поискал и нашел "Голубой Огонек", такая старинная программа. Мы очень обрадовались.

— А хорошо ведь, правда, Дима, что они придумали прошлое нам показывать?

Дима молча кивнул, улыбаясь Кобзону.

— Ведь мы с тобой были маленькие тогда. Помнишь, как праздновали Новый год? Стол со скатертью. Пельмени, "селедка под шубой", "Голубой Огонек" и гости огромные, ты с рук на руки перелетаешь, кружишься под потолком, и елка, и мама блестит!

— Ну селедка! Ну прямо! У нас отчим такое из плавания привозил! Платьев японских — мать первая такая ходила. А жвачку эту я вот с таких лет знаю. Джинсы разные. У нас это все первее было.

— Но сейчас... — попробовал я.

— Че сейчас? Икра, крабы... Мать с боцманом любят.

— Крабовые палочки? Я их сам обожаю!

— Сам ты крабовые палочки! У нас крабы с твой телевизор! Ой, ну заткнись, а!

Я заткнулся. А Дима добавил:

— Ведь охота послушать. Поют же!

Почувствовал, что нагрубил. Но я уже затревожился, я не удержался, я в пенье ввинтился все ж:

— Дима, а ты когда мне деньги за брюки отдашь?

— Ну ведь отдам же, ну! — нетерпеливо он дернулся.

— А вот, Дима, — вспомнил я, — мы с тобой мой ваучер пропили, ты обещал отдать мне две тысячи и не отдал!

— Ну сказано же, что отдам! — сказал Дима.

— Ну как же тебе не стыдно-то, Дима! — я настаивал, потому что я был уже уверен, что меня уволят с работы. Надо быть сумасшедшим, чтоб не уволить меня.

— У меня же совсем нету денег, - уговаривал я. — И не будет, я чувствую.

— Короче, давай выпьем, ты мне надоел! — решил Дима.

И мы выпили и вновь подружились. И снова выпили, и горячо, и сладостно стало жить. Я стал поводить плечами и притопывать от веселия и даже напевать, а Дима глядел на меня, глядел и говорит:

— Не пойму я тебя никак!

— А уж я-то тебя! - замахал я. — Давай лучше петь и плясать. Эх! Эх!

— У самого мать в дурдоме, а он веселый.

— Дима, я тебе сейчас морду набью! — взмолился я.

— Спросить нельзя? Спросить нельзя? Спросить нельзя?

Он забегал бочком, завертелся, беспокойно озираясь, щурясь, дрожа, потягивая воздух остренько.

А я заплясал и запел:

— Эх! Эх! Ну Дима! Ну Дима! Давай же! Подтягивай! Эх! Эх!

— О Господи! — сказал я. — Давай тогда сразу много выпьем, а то мы все по маленькой да по маленькой.

И мы выпили, а Дима схватился за голову, стал качать ее, потную, а я понял. В миг один увидел все: сверкнул тайный огонь жизни, и я успел ткнуть в него пальцем, вслед ему, молнийному, и замычать, потому что знание это было пребольше слов, а Дима проследил за моей рукой и заплакал. Тогда я сказал:

— Но ты не плачь, не плачь. Ведь ты счастлив! Болея своей любовью, ты счастлив, потому что жизнь теснее прижимается к тебе, боля-

щему. Жизнь таких любит больше. Ты даже слегка температуришь всегда. Я заметил. А мне, холодному, намного хуже. Я ведь в покое, а ты нет.

И Дима со мной согласился. Он поднял ко мне лицо, косое и мокрое, оно меня поразило, какое оно слезное, стертое, и какие его подпирают черные, разбитые пальцы. И ваучер, и брюки, прощайте! — решил я в тот миг, и опять стало весело, смешливо, дружески.

—Хочется бурана! — крикнул я. — Настоящей елки, мандаринки, настоящего сыпучего снега, сухого, морозного!

Дима крикнул мне что-то, но я уже не мог остановиться.

— Мне! Мне! — кричал я. — Сверканье и снег глубокой зимы! Ура! Ведь мы летим! Летим! И санки наши — вжик! вжик! и буран буран в наши горящие лица! И мех подруги! И зрачки ее! И чернозвездное небо! И мороз и солнце! И молочный зуб шатается! И лицом в сугроб! А-аве-е Мари-и-и-я-я...

А Дима скакал по дивану и рвал на себе свитер.

— Нет! — отмахнулся я. — Нет! Бурана мне! Бурана! Санок!

— Козел! Козел! — крикнул Дима.

— Ну что, что, что? — обмяк я и сдался.

— Ты можешь понять, что так все и было?! — затопал он на диване, подлетая на пружинах: высоко — легонький, под потолок — злющий

Я не понял:

— Что было-то?

— Только еще лучше! И снег шел над океаном! Наискось! Ты же знаешь! Ты сейчас про мое кричал! А это мое, а не твое!

Не понимал я! Не понимал я ничерта!

— Как же оно твое-то? Раз оно вообще ничье!

— Ты знаешь! — летая, рыдая, кричал он. — Я тебе рассказывал! Во Владивосток она приезжала, весь город в афишах был! Я первый пробился и увидел ее, рукой достать, как тебя...

Я разозлился:

— Ты низко прыгаешь! Трусишь! Надо вольно до-потолка! Руки в разлет! Пошел! По-честному!

Я запрыгнул к нему на диван, стал подпрыгивать мощно.

— Во весь дух! Выше! Еще!

— Чеканулся! — он завизжал, зашатался, больно царапал меня, пробуя ухватиться.

— Прыгай! Прыгай! — разлетелся я уж. — И-ух!

Люстра свистала, тяжело пламенея, проносилась у лиц наших, жгла, ослепляла нас.

Он взмок, побледнел, он визжал, весь дрожа, он брызгал слюной мне в лицо, кричал мне в глаза. Он пробовал сесть, устроиться в ногах у меня, переждать, но я вздергивал его, чтоб летал, не робея — высоко, высоко, он.

—Все члены вразлет — словно перья! Пари! И-ух!

— Убьемся! Убьемся! До смерти! Дурак, ты Алешка! Мне темнеет в глазах уж, поплыло огнями все...

— И-ух! А-а-а!

...Он первый пробился и увидел ее — рукой достать. Она грустно всем улыбалась, принимала гвоздики, длинноного сходила по трапу. Обомлев, он пошел за ней, весь потянулся, и охрана потупилась.

Через плечо глянула на него, озорно засмеялась.

На краю океана, нахмурившись, шубку схватила у горлышка. Снег валил наискось над океаном, во всю длину его, даль. Выпуклый лоб ее увлажнился от соли и снега.

— Эсть ли там луди? — наточенным пальчиком указала в пучину.

Акцент ее легкий покалывал, как шампанское.

— Сейнер с рыбаками, — торопливо ответили.

...Качаются на волнах, штормовки, бессонные очи. Серебром сверкает улов. Наловлено для города. Владивосток мерцает вдали, родимый, плывет за волнами. "Здесь у нас ветер и снег, ледяные валы воды. Мы стоим, ждем, когда успокоится, мы не боимся мглы. Мы по рации слушаем вас, ваши песни."

Певица была непреклонна. Маленьким, смелым сердечком выстукивала: "Полечу!" В обкоме ее умоляли вкрадчиво не летать: "Спойте отсюда, по рации." Она улыбалась, насмешливо щурясь на ковры, хрустали. Ноготком по бокалу выстукивала (где-то рация принимала: туки-тук, туки-тук).

Дали ей вертолет. Взвихрив снег, поднялись, город ахнул: "Во мглу прямо, там, где крутит и вертит!" Маленький летчик кивал, улыбался всем сверху. Разрумянясь, из глухого, из тесного шлема пушисто моргал — он сам был за безумство такое — только-только из детства и сразу и в летчики, и в буран, и с певицей носиться над безднами. Весело юному вертолетчику было, кружилась его голова от духов среди выпуклых стекол кабины.

— Мы лопастями! — кричал он сквозь глухой шлем свой, сквозь рев стихий. — Лопастями рассекаем весь снег вертящийся, и ветер гремящий, и тошнотную мглу! А волны нас не достанут! Где мы — выше некуда! Брызги на стекла нам. Ладно, мы еще выше возьмем! Пускай бесятся воды!

— Нэ поналя, я нэ слысю! — смеялась она, наточенными всплескивая пальчиками.

— У нас внутри раковин находят точь-в-точь такие же блистанья, как на кончиках ваших рук!

— Не слысю! Совсэм нисево!

Летчик смеялся в ответ. Сам не слышал себя.

Кивали друг дружке в зеркальце. Смертные, все понимали, но совсем сорвались, и не хотели вернуться.

Влюбленный же, дыханье затаив, метался по берегу Дима. Понимал, что звездой поднялась она. Слепнул от слез, вглядывался, но дали плавились, смутно ворочались. Обмер и подкосился. В льдистый песок зарываться стал, скреб, вился, кусал себя. Вода подбегала к ногам. Белокипящая, она в долгом беге теряла ярость и тихо шипела у ног, зимняя.

В этом полете выпускник летной школы, не он. И он жевал песок, и наотмашь бился лицом, ранясь.

Вон — впереди вся твоя седая лежит жизнь! Она без всего теперь, без смеха и шалостей, без острых вскриков счастья, без воздуха весны-весны, без юности навеки. Правильно, зарывайся весь, ешь песок, баси утробным ревом. С неба зима валится в океан, и ты, влюбленный, ты распластан, вдавлен, а не в небе, не в небе, как выпускник.

Нет, о нет! И вскипев, не стерпев, поджался весь, злющий, легкий (косточки-дудочки ветром насквозь) вдоль воды, вдоль воды, по-краю кипенья, по гребешку снежнопенному побежал-бежал к дальней забытой моторке. Узенькая, она сама рвалась с привязи, злилась давно.

Прыгнул любящий, рванул, помчал по воющим водам за улетевшей. Ветер уперся в него, грудь надул солью и льдом, косточки-дудочки все заиграли, заныли. Лег на ветер всем тельцем температурным. Глаза сожмурил, выдавил слезы, чтоб остро глядеть, но вверх все равно не глядел — там ворочалась мгла. Зорко щурился только в воды, пришпоривал лодочку, знал: должен сейнер стальной, качаясь, блеснуть.

Ревел океан, рычала лодочка. Свирепела, бесясь на волнах, кувыркалась. Смертно взвизгивала, в бездну катясь с поднебесного вала, карабкалась, горячась, на другой, поднебесный. Соскальзывала обратно, скуля. Валы наклонялись, смыкались уж. Поцарапанным брюхом лежала на песчаном, голом дне. Всухую моторчик стучал.

Меж двух стояний великой воды я замер — не смерть, и не жизнь. Внимание древнего океана к моей температуре. На обнаженном стоял я, не троганном никем дне. Зияли воды вокруг, многотонные, тяжелым светом сияли насквозь. Далеко вверху хотели сомкнуться. Немножко снежинок едва опускались сюда, вниз, из просвета долетали они, ослабевшие, из того вон неба — сюда.

Виновато губами я шевелил, лепетал, вздыхал. Немножко долетало снежинок, был просвет — не достать — едва-едва там, вверху.

Заклинания я исторгал. Жертвовал. Все больше и больше.

Стояли, стояли воды до неба, сияли насквозь, тусклое высыхало обнаженное дно.

Крикнул могучую клятву.

И океан передумал, разлегся — плыви уж... Нежно подтек под меня, со дна меня поднял, покачивая. Как рванул я мотор! Понесся. И как раз! Над сейнером завис вертолет, и по шелковой лестнице спускалась она к обомлевшим рыбакам.

Она спускалась-качалась. Вертолет бил крылами, жужжа над палубой ровно. Весь прозрачный, в нем розовый мальчик сидел, кудри примяты тесным шлемом. Лестницу же дикий ветер крутил, кидал во все стороны, мотал, как хотел. Палуба пролетала, и было все мимо — не успеть спрыгнуть. Но певица спускалась, тонкоруко цеплялась, браслеты смеялись, как рыбки, щурилась ласково, дарила улыбки вниз, кружилась на ветру, вместе с воющим, зимним, соленым до слез, крутилась-моталась — юбка вкруг колен, шелковый шарф по ветру... и обмершие рыбаки очнулись враз и потянули вверх руки. И тогда она (без расчета, а сразу) отпустила веревку и полетела, не раздумывая: в пучину ли, или же на руки. Все ахнули, попадали в кучу, она сверху всех невредимая, только смеялась, и летчик смеялся из тучи к ним, из прозрачной кабины смеялся, из шлема непроницаемого веселым личиком кивал, совершенно оглохший от шлема и тьмы, он уже знал, уже понял, как с ней здорово в мире носиться!

Застеснявшись, все встали в полукруг, капюшоны на самые брови, а очи потупя. И она им запела.

А в это время моторку прибило к сейнеру. Но никто не посмотрел за борт: не могло прийти в голову, что за бортом человек. Да и некому было смотреть.

Лодочка же, взлетев на волне, выше палубы зависала на миг один, и человек, в ней стоящий, видел певицу на палубе, застенчивых рыбаков. Не слышно было, как поет, — голоска ее в реве стихий, но бледнели моряцкие лица и никли головушки, мутились, сладко печалились. Один капитан держался, громко твердил курс корабля: не в дали дали гиблые океанические за серебряной, лживой, слабенький ротик разевающей на ветру. Упала из мглы к нам она! А в город родимый, к милым женам, в гавань вернемся мы с уловом, владивостокские мы, ребята, вы что?! Она же по-правде, никого нас не любит, вы что?!

Пела певица.

Любящий взлетал за кормой и вскрикивал, понимая: мужики повлюбляются! Загляделись уж! Но рушился вместе с волною в кромешную бездну, в зимний мрак океанный крик ярости унося. И меркло виденье. Удушье и смрад безвоздушья: плывущие мутные тени подводья. Но вновь вылетал, высоко-высоко, выше палубы, просторный всасывал, вольный воздух, ненавидел всех моряков, видел милые кудри на пустой поющей головке, зависал на секунду, одуматься не хотел, и рушился снова, ниже дна, к плоским, застывшим пластам поддонья. И снова взлетал, еще-еще выше, чиркая по стеклу вертолета, не мог даже крикнуть, скованный смертной истомой. Но снова рушился вниз, ниже стылых поддонных пластов — к дремлющим известнякам.

И взмолился, позвал, заклял тоскливо клейким заклятьем (из ноздрей уже кровь текла, и легкие болели, искомканные), заклял: Пусть

на миг, на чуть-чуть она обернется и только увидит его, мельком, вскользь — как он летает тут, как тянет к ней руки с горячей лодчонки своей.

И взвился с темной верой, мутнолицый от страха (ибо содрогнулись недра поддонья в ответ мольбе неслыханной, подокеанный гул их дрожью прошел по молившему), взвился на волне, на самом белом гребне ее, и певица к нему обернулась... ласково щурясь, она улыбнулась рассеянно, песенно, вся в своей песне "вновь зыма в лыцо мне вьюгой дунуля...", приласкала глазами и вновь отвернулась... Она не поверила виденному. Глазам своим.

И тут изменилось все. Серый ровный встал свет кругом и в недвижной тишине пустыня стала: ни сейнера, ни вертолета, ни туч с громами. Ровный лежал океан везде, а снег, что упасть не успел, помедлил и в небо вернулся. Сильнее застыло после снега. Так застыло, будто ни разу в мире не было бурь, даже слабых движений не было никогда, даже невидимых, лёгких и чуть ощутимых воздушных струений. Застыло все. Только лежал океан, тяжелый, бездыханный, до самого неба, такого же серого, глубинно-недвижного, только на самом краю темнеющего дале-екой черной синевой. И ни движенья, ни плеска, ни одного ветерка ниоткуда. Потому что не нужно.

Стало тихо так навсегда, так бездонно, что нужно стало умереть. Но вдруг в небе, далеко, на самом краю, вспыхнула молния, от света ее задрожало все небо. Страстно обрадовала она этим движеньем дрожащего блеска! Но в тот же миг радость ушла, наоборот — еще больше помертвело в душе человека — молния, подрожав, вдруг полилась с неба вниз и растеклась по всей линии горизонта. Во всю длину океана и неба, разделяя их сияньем жидкого электричества. Не гасня, она нестерпимо жгла узким сияньем своим. И от этого еще сильнее побледнели свинцовые дали, и если случайно вода океана ловила отсвет ее, то виднее становилось, что нету силы в воде, нету движения, даже если забить по ней руками — брызги без воли вернутся, без смеха улягутся, просто вода без смысла. Стало окончательно, бесповоротно понятно — все неживое отныне навеки, потому что свет молнии был такой поразительной злобы, что молодой колдун заплакал, схватившись за грудь. Ей нужно навеки-навеки палить — никого специально, а просто сиять, и палить, и не избыть ей ярости.

Закрылся юноша руками, но мертвосияющий свет грозно стоял, что ему теплые, смертные руки? — он сквозь руки сиял прямо в голову, и не было теней, была серосияющая тишина навеки-навеки. И то, что ныло, болело в груди человека, не смогло — дриньк — вскрикнуло и сгорело.

В тот же миг все качнулось. Стало, как было: снег повалил вниз из неба, неуловимо ожившего тихими шевеленьями темных глубин, заревел черный ветер, крутясь, сейнер замигал огоньками, вздыбился

океан влажногрозный, и влюбленный в своей лодчонке снова нырнул вниз.

— Пойду я, повешусь, — сказал Дима.

Я от неожиданности сильно порезался.

— Как ты повесишься? У меня?

— А где еще?! — крикнул Дима. — Я что, собака тебе?

— Но послушай, Дима, — сказал я, — Во-первых, мне тебя жалко, во-вторых, у меня будут неприятности, это совершенно точно! Я заика. Я ничего не смогу объяснить. Я просто не вынесу!

— Ты только о себе думаешь! — усмехнулся Дима. — Но я все равно повешусь.

Встал и пошел.

— Ты куда? - взвизгнул я.

— Да не ори, в туалет, — ответил Дима.

Но я прокрался за ним, и пока он был в туалете, я деликатно покашливал за дверью. Я не вынесу вида удавленника, тем более друга. Да какая разница-то — друга не друга?! Никакого не вынесу. Хоть я и медбрат.

— Ты уйдешь или нет? — сдавленно крикнул Дима из-за двери.

— Дай клятву, что ты не повесишься, — непреклонно потребовал я.

— Где мне тут вешаться? — обиделся Дима. — На унитазе? Ты думаешь, что говоришь-то?

Ну хорошо, я ушел, но недалеко. На кухню. Кстати, покормить попугая. Зеленый мой друг вспорхнул мне на плечо и больно ущипнул за щеку. Удивительно злые попугаи. Я насыпал ему пшена, налил свежей водички. Потом я вернулся, потом раздался шум смываемой воды, и я перевел дух. Дима был жив. Сейчас мы с ним выпьем!

Когда он вошел в залу, я закричал ему:

— Хочешь, хочешь, я рискну, и попрошу у соседей хлеба? Хлеба! В конце-то-концов, хлебом люди обязаны делиться! Обязаны! Несмотря ни на что!

Дима посмотрел на меня. И что-то поразило меня в его лице, так поразило. Но я не понял что, и тут же забыл. Потому что Дима сказал:

— Включи лучше телевизор.

— Ой, с удовольствием! — я так обрадовался простоте просьбы. Я включил, а там все еще нюнил "Голубой Огонек", и в этот раз с экрана какая-то тетка нудила из старинных времен. Она пела, покачиваясь: "Эсли я тэбя прыдумаля, стань такым, как я хосю..."

— Господи Боже мой! — воскликнул я. — Дима, убери эту дуру!

Что-то темное метнулось ко мне, и вцепилось мне в горло. Удушаемый, я выкатил глаза, мерцающее, скалилось, косило лицо Димы надо мной, жаром веяло от него, воспалением, и недавнее, поразившее меня, вдруг вспыхнуло вновь: кого, кого ты напомнил мне, Дима,

удушающий меня, косоглазо пьющий зрачки мои, пристально и тускло следящий за гаснущим светом моим...

...Я изловчился и ткнул Диму в пах.

— Ты-ы просто сво-олочь ка-акая-то. Ты-ы приду-у-урок.

Дима хрипел и смотрел ненавидяще.

— Ты-ы хо-оть понимаешь, Ди-има, что ты в го-остях на-аходишься? Ты ко-огда по по-одвалам под ба-атареей спишь, ты при-и-ихо-дишь и сра-азу на мо-ою по-остель. Ты-ы да-аже не мо-оешься, сво-олочь.

— Ты че, ничо не понял? — поразился Дима.

— А я и не со-обираюсь по-онимать! — пел я. — Я-а-а уста-а-ал от тебя, ко-озел. Мне-е шею бо-о-ольно.

— Леха, ведь это она! — жарко выдохнул Дима. — Это она и есть, моя любовь. Ты понял, Леха?

Я мгновенно залился своим раздольным заливистым смехом. Я в миг все простил ради такого.

— Будешь смеяться, убью, — предупредил Дима.

Но я замахал на него, замотал головой, и ему пришлось ждать, пока я отзвеню, откачаюсь.

— Дима, но как же это может быть она, если это такая Эдита Пьеха и все? — простонал я, изнемогши.

Но Дима даже на вспылил. Усмехнувшись, он остренько глянул на меня темноблестящими глазками. Умненькими такими, на самом деле-то. А я почему-то рассердился.

— Такая Пьеха и все! — крикнул я. — Такая старая Эдита, черт ее знает, что это такое!

Я затрясся всей тушей, кровь загудела во мне, в голове поплыло, засверкало, скулы свело до слез, но я чутко следил за Димой; если посмеет он шевельнуться — хотя бы пальцем одним, я прогрызу ему глотку.

Но он не двигался. Он даже руки свои приостановил в полужесте. Но он все так же улыбался и глубоко, до самой детской боли, обидно было мне, нестерпимо язвила меня улыбка эта.

Где-то далеко-далеко, за мной, в туманце (как с той стороны радио, если ухо приложить — как там живут говорящие человечки?) за самым краем шептала, ныла эта Эдита Пьеха. Удивительно — зорко следя за Димой, ухом я жадно ловил и ее за спиной, но в недоступном далеке она была. И смертная тоска охватила меня. "Мне больно! Мне больно! — хотел я крикнуть. И еще: — Не хочу я!"

"Вновь зыма..." — незаметно смеялись у меня за спиной. Ложно вздыхали, горевали о зиме. А сами нисколько не жалели поземку, поземку льстивую, ноющую над пустырями.

И я опустил глаза под Диминой усмешкой. Я боялся. Я мог убить его. Я лег на диван и отвернулся к стене.

— Эту песню, — сказал Дима, внимательно оглядывая мою спину. — Она посвятила мне.

— Этого не может быть! — я мгновенно вскочил.

Я, правда, поразительный! я уж вновь заплескался, завертелся в своем смехе, как дурак-дельфин.

— Тебя еще на свете не было, Дима, когда она это пела! В крайнем случае, мы с тобой были вот такие вот козявки. Я эту тетку даже смутно помню из этих "голубых сраных огоньков". Так что ты наврал, Димочкина.

А Дима мне и говорит:

— А ты откуда знаешь?

И он опять усмехнулся. Глядя в самые глаза мне. И опять я затрясся, замучился яростью непереносимой. Жгло в груди у меня. Я закусил губу, чтоб не лязгать зубами, вкус крови успокоил меня на каплю.

— Откуда ты-то знаешь? — язвил меня Дима. — Был я или не был?

Плоская черная морда. Косая, как ковыльная степь.

"Но я убью, убью ведь! Ножом по ковылям! Ножом но ковылям! Станет намного легче! Но кто-то погибнет ведь!" — мелькнуло, словно вздохнули где-то тоскливо.

Чика чиркнул крылом по лицу мне. Я выдохнул.

— Зачем же ты душил меня, Дима? - упрекнул я Диму.

— А ты не лезь, не лезь в мою любовь! — захныкал он. — Не лезь, не лезь...

И он опять скривился весь и чудным образом стал похож на спившуюся, но умненькую старуху. Он забегал, засеменил вкруг стола, стал отколупывать, кушать какие-то крошки с липкой клеенки. Господи, ведь там осколки от рюмки! вот, я давеча порезался. Не сожрал бы! И в груди моей все согрелось, будто рухнул лед вниз с души. И я бросился, размахнул ручищи свои в объятье — ныряй на грудь мою, друже!

— Хрен с ним, со временем! Любовь есть любовь! — великодушный стал я.

Тем более, что уже опять смеркалось, или светало, ну, был тот час, одним словом — сумерки были. Зима была. Безумный был у меня друг Дима Дырдыбаев, и я был молод, пьян был и на самом деле было интересно от жизни, хотя я совершенно не знал, что мне, собственно, в этой жизни делать. Мне лично.

— Будь я старикашка, — ныл Дима. — Но я ведь молодой, самый возраст, я и надеюсь, понял, нет?

— Понял! — кивнул я.

— Но ведь этой Эдите Пьехе уже, наверное, лет шестьдесят, — ввинтился все ж я.

— Ну и что? — удивился Дима..

А я не нашелся, что ответить. А, нет! Я сказал:

— Она же человек богатый, недоступный. Ты даже в принципе не сможешь с ней познакомиться. Увы. Мне, по-честному, жаль, Дима.

Дима встал, я думал, драться, но он так побледнел, что я перепугался и стал капать валокордин, но сам затрясся и все пролил. А Дима ослабленным, блеклым голосом выдавил:

— Смотри, — и вытащил из кармана замасленный сверток.

Он развернул газету, в ней оказался довольно потертый тульский пряник.

— Тульский пряник! — крикнул я. — А ты просил хлеба!

— Нет. — Дима непреклонно покачал головой, и в тоскливом ужасе уставился на меня.

— Ну чего, чего, чего опять?! — затосковал я, забегал.

Я решил еще выпить, вот что! тем более, у нас еще было. Я потянулся к столу, но тут Дима задрал свой свитер, обнажил желтоватую грудь подростка и сделал такое странное!

Он приложил тульский пряник к груди, вернее, пониже, к солнечному сплетению. И побледнел еще больше. "Уже пора включать свет" — почему-то подумал я, но так, мельком, вскользь, потому что — невыполнимо ведь! Ну раз так, но я метнулся к телевизору — мертвенный, но все же шел от него свет (давали какую-то черно-белую хронику). То есть я захотел метнуться, посмотреть эту хронику жадно, но и это оказалось невыполнимо. Мелькнуло, что где-то есть (может этажом выше?) какое-нибудь вязание, стирка, варка щей... дикое слово варка, на пар похоже... как живут люди? где? да и нет ничего нигде. Пряник, прижатый к солнечному сплетению.

— Нужно даже не так, — слабея, шепнул Дима и отнял, наконец, пряник от груди.

Пряник темный лежал в темной руке. Кажется, он потемнел еще больше, хотя рука была несравнимо темнее.

— Нужно в ванну, — сказал Дима, и я кивнул.

Мы пошли в ванную, и хоть тут я включил свет. От привычного вида моей грязноватой ванной я пришел в себя. Как будто морок какой-то спал с меня.

— Дима, нам надо меньше пить, — сказал я другу. — А то у меня начинается.

Он что-то буркнул в ответ и включил воду.

— Ты забыл холодный кран включить, — заметил я и потянулся включить.

— Отмерзни, — бросил Дима.

Он стал раздеваться. Мне нужно было уйти, но я стоял. Я смотрел на кран, из него уже хлестал кипяток, облака пара заполняли ванную, Дима раздевался. Я ведь вспомнил про угрозу повешения. А вдруг он захочет заживо свариться, принять лютую смерть, раз нельзя повеситься? Я ведь совсем не понимал Диму.

Дима разделся догола, но в ванной стоял уже такой густой пар, что желтоватое тельце голого Димы как-то плавало, как-то странно качалось, вроде водоросли изнемогшей. Я опять был уверен, что брежу. Как только что — с пряником. Это от пара, уж очень душно здесь. Но он

забыл заткнуть слив, поэтому ванна не наполнялась. Но с другой стороны, слив у меня был засорен, так что худо-бедно, но дно ванны все же было залито кипятком. Дима поглядел туда, что-то бормоча — из-за шума воды я не мог расслышать. Потом он, не оборачиваясь, протянул ко мне руку, я тут же схватил и вложил в нее мыло. Пальцы сжались, мыло скользнуло, как живое, как лягушка, шлепнулось на пол и ускакало под ванну. Темные пальцы отерли ладонь, и вновь раскрылась рука, властная. Я отчетливо разглядел рваную линию жизни на ладони. Я понял, чего ждала рука. Я почему-то захотел заплакать. Но я вложил в эту руку тульский пряник, пальцы осторожно сжали его, и я больше не хотел плакать. И рука, как будто заснув, поплыла к груди его, а он еще ниже склонился над ванной, утонул в пару, он бормотал вниз глухо. Потом он выпрямился, как будто устал, выгнулся назад — потянуться, косточки поразмять. А он и впрямь потянулся истомно и вдруг полез в ванну...

Ступни его заживо должны свариться. Слив в ванне забит, и воды набралось как раз по щиколотку. Он стал ко мне лицом, и, несмотря ни на что (на тяжелый слепящий пар, на едкие слезы, на удушье) я рассмотрел, что зрачки его расширились от боли, стали непомерными, затемнили весь глаз, не оставив белков... И эти глаза залило горючим потом, все лицо потекло едкими струйками, и тут же, следом — шея, ключицы, грудь. Поры всего тела раскрылись, и тело заплакало жгучей влагой.

Бормотать он стал громче, как будто открыв выход поту, он набрал сил для голоса. Но слов я не мог разобрать. Я их не мог понять. Я таких не слышал никогда. Лихие, кривые, кричались слова — отчаянный нерусский язык! Да еще шум воды. Он стал таким назойливым, огромным, словно гремел в самой голове у меня, гремел, кипел, отогнать его никак нельзя. Я страстно вслушивался. "Ы! Ы!" — одно только и доносилось. А мне так нужно было разобрать! Так нужно!

А он поднял руку и приложил пряник ко лбу, промакнув им пот. Потом прижал сильнее, чтоб больше впиталось, а после отнял пряник ото лба, и приложил пониже груди, снова к солнечному сплетению, и опять промакнул пот, и опять прижал, чтоб больше впиталось. А потом он резкими взмахами ударил пряником левое, потом правое плечо.

А потом, снизив бормот свой до бессознательного лепета спящего, он прикрыл глаза, будто и впрямь заснул и стал промакивать пряником все свое тело, дотошно, терпеливо, не пропуская ни единого местечка. И вдруг, вскрикнув, он раскрыл черные, лиловые, конские глаза и приложил пряник к причинному месту. Я охнул и выпал из ванной. Шатаясь, я поволокся в залу, и быстро-быстро налил себе водки. Выпив, я тут же заспешил на кухню и успел добежать до раковины. Потом я вымыл раковину, прополоскал рот, сел за стол и сложил руки,

как будто ждать обеда. Я вспомнил про хлеб какой-то, потом пряник. Пряник! Он был желанен мне. Только он мог утолить алчбу мою! Хоть потянуться, хоть прикоснуться к нему!..

Я увидел океан. Он набегал вялой рябью к ногам моим. Он был серый и безбурный. Легкий снег, нехотя, покачивался, тихо кружил в безветрии, исчезал в черной воде. Это было лето севера. Мне сделалось легко и радостно, раз бывает такое лето. Мне делалось все радостней и радостней, и я уговаривал себя не торопиться так в своем восторге, потому что душа могла не вынести и разбиться вдребезги.

Ведь я видел видел видел неизбывный жемчужносерый свет. Текучий, везде он стоял, кругом, уж никогда я не оторвусь от него, от перламутров-переливов. Милый! Всего меня он купал. Купал-утешал. Только я не понимал, где я сам нахожусь, в каком месте этого счастья? : тех вон камней в бледном лишайнике лета (отчего я все гляжу и гляжу на них? на ложбинку под большим камнем, достаточно глубокую и сухую, туда не достанут брызги океана?) или же был я в самой дали, где вода совсем засыпает, забывает себя — сливается, обессилев, с небом? Или я был в глубинах, свинцовых глубинах водной тьмы и волокся животом по колючему дну, влекся донным течением? Был я и был. И зачем узнавать — где? Потянусь я сладко, истомно, всеми косточками-сквозными дудочками. Радость тихого света моего везде, кругом! Но что-то жаловалось, далеко-далеко, в той горькой обиде, которую не слушают сильные, отмахиваются, мол, отстань, хватит нюнить! Аж за краем души оно ныло, тянуло свою жалобу, и оно хотело отвлечь меня от моей радости, и меня это беспокоило. Да ну! оно так далеко, оно робкое, и без сил совсем, ну и пусть себе ноет!

Вот на холме показались две смутные фигурки. Ага! — я рванулся было к ним, но тут же догадался, что должен ждать их здесь.

Я был здесь, в прохладной влаге, соленых брызгах и пустом просторе.

Стало мне необычайно торжественно, когда я подумал: "Вот, живой я". (А то, что ныло, там, далеко — так даже лучше: оно, как синяк, побаливало — значит, я еще жив!) И я подивился торжеству своему.

А двое с холма спустились на берег, и я увидел, что это оленьевые люди, подростки. Девочка одной рукой прижимает к себе младенца, туго запеленутого в тряпки, а другой цепко держится за мальчика. Дети были одеты в рванину какую-то: в драные телогрейки. Мальчик был в солдатских разбитых ботинках, а девочка в резиновых сапогах прямо на голые ноги. Но на девочке под телогрейкой я заметил узорно вышитую тужурку из оленьей шкуры. Потому что младенца она так прижимала, что полы телогрейки разъехались, и стала видна нарядная тужурка. "Ну как же все хорошо складывается! — возликовал я. — Ведь младенец хоть и завернут в рванину, но ему несомненно было тепло.

Несомненно! Очень! Рванины много намотано. Толсто! Уютно ему покачиваться на руках! А тужурка красива как! Хорошо это!"'

Лица у них были белые (а я думал, что северные народы смуглые), нет, белые, как молоко, а волосы черные, и блестящие, как ночное озеро, и узкие глаза их плавно изогнуты были, и крошечные у обоих, выпуклые, как ягода, рты. Да, это были не дети, это были муж, жена и первенец их. И он был девочкой, только я не понял восьми ли, десяти ли недель? — он глубоко спал.

Эти детские, нерусские люди шли медленно, они, наверное, гуляли после работы со своей первой дочкой. Они тихо перегова-ривались, и немного хмурились: чуть-чуть спорили, просто чтоб не скучать. Ведь кроме океана, холодных камней в летних лишаях мха и ленивого редкого снега в их мире ничего не было. Они разговаривали, только чтоб слышались их голоса. Я ужасно боялся, что они подойдут к самой воде. Хотя нужно мне было именно это. Только этого я и ждал, томясь. Но они шли так медленно, но я ужасался — к воде, она без сил набегала на берег, тихо шипела. Я понимал, что если вот так они будут идти и никогда не остановятся, то смерти не станет. Простота бессмертия ужаснула меня. Поразился я, что же раньше никто из людей не догадался — если постоянно двигаться, ходить, говорить, идти, то никогда не умрешь. Мертвое ведь не двигается. Я понял, что должен запомнить эту тайну и всем рассказать ее.

Они подошли к самой воде, мужчина взял у жены ребенка. Она затрясла головой и отняла ребенка себе. Она прижала его к груди, и указала мужу на океан — мол, отвлекись, остудись-ка! Они говорили, но я не понимал их слов! Взлеты интонаций тревожили меня. Я разглядел летучий шрамик на лбу женщины. Брови ее подрагивали, она сердилась, сильно ругала мужа. Я не удержался и погладил щеку спорщицы. Она досадливо смахнула мое касание, решила, что брызги ей попали от волны, но даже не глянула туда, откуда брызги, хотя бы мельком, ну хоть вскользь. Неумолчно споря на своем языке, они жадно глядели в глаза друг другу. Вода набежала сильнее, намочила им ноги, они отошли, но не смогли оторваться друг от друга.

Я не понимал ни единого слова! Я не мог ничего угадать! Но тут муж сказал что-то такое, отчего жена его разинула рот и замерла, пораженная. Тогда он беспрепятственно взял у нее младенца и отбежал подальше, положил его у камней, у зеленого мха, куда вода уж точно не могла достать, а лишь подбегала близко и шипела. И пока он бежал от камней обратно, она недоверчиво оглядывала и камни, и мхи на них, и саму ложбинку, достаточно глубокую и сухую и ровно такую, что поместился младенец, туго спеленутая дочка. А когда муж подбежал к ней, она уже смотрела только на него, на его лицо, морща лоб, глуповато раскрыв рот, смотрела жадно, будто бы в лице его и была отгадка ее изумлению, а не в камнях миллионолетних, не в бледных лишаях скупого лета, не в просторах студеных, родимых, по которым

на цыпочках ходят, пугливо озираясь, замирая, вслушиваясь — можно жить? нет? Нет, нигде не было отгадки, а в лице мужчины — мужа была отгадка. Он говорил, а она жадно слушала, я видел, что у нее замерзли голые ноги в резиновых сапогах.

Как будто бы они не могли насмотреться друг на друга, и для этого затеяли длинный спор на краю океана.

Вдруг я догадался; если сейчас я встану рядом с ними, и они наконец увидят меня, догадаются, что я здесь, то они окажутся по грудь мне, как раз до солнечного сплетения. Они смогут уткнуться лицами в грудь мне, если захотят, если очень устали, и я увижу их затылки, и мы сможем постоять с минуту так на краю.

В тот же миг они резко обернулись и глянули мне прямо в глаза: не видя меня, они безошибочно, как стрелки, глянули в глаза, попали в зрачки мои взглядами, и в тот же миг их непонятные лица озарились таким восторгом и счастьем, что я сам чуть не задохнулся от восторга и счастья. "Ну да! да!" — метнулся я к ним, но поздно — взгляд их уже прошел сквозь меня, уже рассеялся, уже, сонный, в океане бродил. Спать они хотели, вот что! Непонятные, нерусские, младшие. Я не знал, как вернуть их себе, я продолжал их видеть, но я расстался с ними. Я хотел им сказать, что надо еще побыть так, как мы только что были. Но я забыл, как говорить, да и не было меня нигде. Только кровь моя стучала где-то.

Вдруг они взялись за руки и пошли к самой воде. Они подошли так близко, что замочили свои лохмотья, и те, отяжелев, облепили им ноги. Но они не посмотрели даже. Они, наоборот, взяли и вошли еще глубже. Они медленно входили все глубже в воду, боязливо нащупывая дно, муж крепко держал руку жены, лица их были ждущими и немного глуповатыми от напряжения. Они осторожно вошли по грудь, и жена поскользнулась, и муж испуганно схватил ее за плечо, помог выпрямиться, не упасть лицом, не нахлебаться, потом они вошли по плечи, и я смотрел на них, больше никто, никто не знал их языка, кроме них самих! Хотя они молчали уже давно, но звуки-то их голосов все равно носились, носились ведь языка небывалого малого ненужного края земли жителей ослабелых захлестнуло водой совсем. Но снова они показались, вытаращив глаза, судорожно вдыхая, и потом скрылись под водой их затылки. Я видел, что под водой они сделали пару шагов, а потом медленно повалились вперед, и донное течение поволокло их в глубину, и я следил за ними, пока мог, пока руки их не разнялись, и течением их отнесло друг от друга, но я знал, что все равно вперед и в глубь. Обоих. И океан вновь стал серым и безбрежным, и снег медленно падал в него. Тогда я метнулся на берег и наклонился над младенцем, хотел узнать, проснулся он уже? И правда, девочка проснулась как раз в тот миг, когда я наклонился над нею. В теплых своих тряпках лежала, туго спеленутая, и спокойно, изучающе смотрела вверх. Оттуда снег иногда падал ей на личико, стекал каплями. Она еще не захныкала,

потому что была еще непроснувшаяся, заспанная, и ей было тепло, и снег щекотал ей толстенькое личико.

Я захотел повидаться с нею, как только что с ее маленькими родителями. Я захотел, чтоб ее глазки вошли, зоркие, в мои и рассмеялись бы. Я наклонялся над нею все ниже и ниже, пока не ощутил слабое тепло туго запеленутого тельца. И мне сделалось жутко и невозможно тоскливо — ребенок смотрел сквозь меня, безмятежно вверх, в небо с простыми снежинками. Он важно, медленно разглядывал эту бездну, опрокинутую над ним. Узкоглазый чуркистанчик, никто никогда не научит его говорить на родном языке. Вырастет немым.

Я стал ловить девочкин взгляд, хотя никто в мире еще не поймал взгляда младенца, но я очень старался, я понимал, что эта безграничная ласка младенческого взгляда — к миру вообще, жемчужносерому безбрежному миру; он не различает еще отдельностей, только светные тени света, волны тепла, к тому же я не знал, где я сам, кровь моя гудела, было уже больно от этого... но если девочка уловит зрачки мои, то мы увидимся, наконец!

Бровки ее слегка дрогнули, съехались к переносице, она нахмурилась, надула щеки, завозилась, закряхтела... кровь моя пеленой встала перед глазами моими, но я не смел даже сморгнуть... девочка напряглась и совсем разозлилась на тугие тряпки, как богатырша уперлась в них локтями, выгнулась, занюнила теплым баском. Окончательно проснувшись, она заморгала — еще чуть-чуть и мы встретимся!

Но меня ударили прямо в лицо и я весь разлетелся вдребезги, и я закричал, умирая, в ярости и бессилии, осколками разлетелся я и крик мой, и кровь моя — все вдребезги! Но океан навалился и раздавил меня, трудолюбиво смолол, растворил, известняковой крупинкой в пластах поддонья осел я, не стало меня.

Я увидел, что мой попугай подлетел ко мне, и до крови ущипнул мою губу. Я махнул, чтоб схватить его, но он вспорхнул на люстру, заплясал, стрекоча и кланяясь, перебирая зябкими ножонками, посвистывал, поглядывал, покусывал под мышками, а я смотрел и сосал свою кровенящую губу.

— Чика, — позвал я.

Он чирикнул в ответ. Я услышал шум воды и мгновенно вспомнил про Диму. Я захотел пойти к нему, но он уже сам шел сюда.

Дима вошел в моем халате и босиком. Ноги его распухли, побагровели по самые щиколотки, но он даже не хромал. Он нес в ладони черный, раскисший пряник. Он подошел и положил это на стол. Смыленный пряник лежал, вздрагивал, немного пузырился.

— Нужно, чтоб высох, — сказал Дима.

Глазурные буквы Москва были холодны и недвижны. Только чуть-чуть оплавились.

Я заметил, что Дима так и не вымылся. На груди его, там, где разъехался халат, виднелись липкие потеки пряничной глазури.

— Сейчас поедем, — сказал Дима.

— Нас не пустит баба-сторожиха. Сам знаешь, у них в подъездах бабы, ковры... — заволновался я. — Зеркала, пальмы...

— Прям там, — сказал Дима.

И я мгновенно успокоился. Я понимал, что главное, это проникнуть к ней, а там Дима мигнет мне и я схвачу ее за голову. А Дима станет тыкать-тыкать черными пальцами ей в лицо, пока не разожмет ей зубы, и тогда мы засунем ей в рот пряник. И мы будем держать ее, пока она его не съест в ужасе.

— Ты одет, как козел, — сказал Дима.

— Ты забрал мои лучшие брюки! — возразил я.

— С тобой все же позорно идти. — Дима колебался.

— Но Господи Боже Мой! — волновался я. — Я-то ведь буду у тебя за спиной, так себе, приблудный, для компании.

— Ну хорошо. — Дима согласился, скрепясь. — Только не высовывайся!

— Да куда уж! — замахал я. - Я же сказал, одним глазком!

Дима вдруг ударил меня. Не рассчитал, и ударил сильно — я чуть не покатился по эскалатору. Дима сам испугался и объяснил:

— Ты башкой крутишь, как не москвич. Ты едь спокойно. Че ты, первый раз в метро?

А я в самом деле тревожился, словно, в первый раз. Не нравилось мне, что мы под землей.

На выходе бабка схватила меня цепкой ручонкой. Но ведь сейчас в Москве много бабок развелось. Они прямо нахлынули. И дедки. И дети. И собаки. Все они худые и грязные. Смертельно напуганные.

— Купити грибы, — сказала мне бабка.

Она потрясла связками сухих черных грибов.

Дима влез, хотя предложили мне. Он стал щупать, пробовать на зубок, подносить к самым глазам.

— Но откуда грибы? — я поразился. — Зима же!

— Было лето! Было! — бабка затрясла головой, затопала. — Тогда было лето, не сейчас! — и она махала рукой за спину себе, туда, где бились двери на выходе. Оттуда тянуло сыростью.

И я опять растревожился, я стал озираться зачем-то, а бабка все держала меня ручонкой, цепко завертев в кулачок край моего рукава.

Дима крикнул:

— По чем!

— Было, было лето! — настаивала бабка, наступала мне на ноги.

— Они сухие! Были бы свежие! — кричал Дима.

А я добавил:

— Они черные.

— Черные, — бабка кивнула. — А ты хочешь свежих?

— А то нет?! — крикнул Дима. — На черта нам черные-то?

Бабка закивала. Она сказала мне:

— Тогда крови купи.

Я понимал, что если мы призадержимся, то дурость завертится окончательно, что дальше нельзя объясняться, иначе мы запутаемся друг в друге совсем, увязнем, не разойдемся никогда.

— Какой крови? — оживился Дима. — Я люблю жареную кровь. Я ел на бойне! Сковородками!

— Кровь грибов, — сказала бабка. — Кровь грибов.

— Кровь грибов — вода! — отгадал я. — А что же еще? Вода, кровь грибов.

Бабка потрясла связки грибов.

— В сухих крови нет, — сказала она, и достала баночку. — Здесь вся кровь собрана. Поглядите, если хотите — свежайшая кровь грибов.

В баночке была не вода. Желтоватая жидкость, да, она плавилась, шевелилась, изнывая, словно в ней скрывался моллюск. Посланец будущего? Неведома зверушка? Привет из глубокой тайги?

Бабка со всем соглашалась, сама интересовалась, вглядывалась в баночку.

— Да где вы это взяли? — спросил я. — Вы сами не знаете, кто это! Вы бабушка-бомжиха? Вы это нашли и понесли продавать? Чтоб на булочку себе насобирать?

— Дай-ка! — крикнул Дима. Он оттолкнул нас, и облапив баночку, стал ее трясти и разглядывать на свет.

А мы с бабкой стояли, держась друг за дружку, переминались с ноги на ногу и робко улыбались друг другу. Она помаргивала, шмыгала носом, она была крошечная, как воробей. Я держал ее ручонку, легонькую, как осенний лист, бабка позабыла обо мне, стала потихоньку напевать. Я подумал, что все-таки мы одни такие во всем мире — русские. Нет других таких. Даже и после смерти мы умудряемся сходить с ума.

— Ну! — спросил я через плечо. — Что там, Дима!

— А я знаю? — крикнул Дима. — Я тебе профессор?

Я повернулся, чтоб взять баночку, и выпустил бабкину ладошку.

Выскользнула она, а когда я спохватился — не было ее нигде... песенка смутная таяла и все. Тогда я взял баночку.

— Очень много сумасшедших, — сказал я Диме. — Москва переполнена. Поэтому я баночку эту выброшу от греха.

— Мне плевать, — буркнул Дима.

Я пошел к урне, и над самой урной банка выскользнула у меня и разбилась, ударившись о дно урны. Маслянистая брызга попала мне на руку, я тут же ее вытер о куртку.

Обратно к Диме я никак не мог пробиться. Толпа повалила с эскалатора. Они все так спешили, Господи Боже мой! А на той стороне стоял

чернолицый — на мою долю. Схлынула толпа, а я остался. Я подошел к Диме.

— Про эту бабку я понял, — сказал я Диме. — Она из каких-то глубин нашей жизни. Сколько над нами наставлено опытов, да и просто, без опытов — мы же отпетые в мире. А сейчас все это вылезло. Может она из Чернобыля прибрела.

— Какая еще бабка? — удивился Дима. — Че мы вообще стоим-то?

— Ну тогда идем. — сказал я.

— Идем, — сказал Дима. — В пивняк.

— Как в пивняк? — я прямо подпрыгнул. — А к ней-то! К Любви-то!

— Ты же сам говорил, что нас не пустят! — крикнул Дима.

Но нас пустили.

Дима наврал, что мы рассыльные из министерства. Я молился, чтоб пожилой женщины не было дома, и мне не пришлось бы держать ее за голову, цепляться с ужасом за оползающий парик. Тоска накатывала, но так, как будто не на меня, а где-то рядом, а я только знал о ней, тяжелой тоске.

Дверь открылась, я ахнул. Она отступила назад, в полумрак, и я полез за нею. Я не мог дать ей уйти из света, только что я чуть не увидел ее! она уже проявлялась — целый миг! Я ее раньше видел!

— Козел! — обдало мне затылок жаром. — Куда ты прешь, как налетчик?

Я очнулся, выскочил обратно.

Так оказалась дверь пуста — ни оттуда к нам, ни от нас туда — ни звука, ни шороха. Будто и не пришли мы сюда, и никто не мелькнул, маня и пугая, не затаился в глубинах.

Тогда Дима оттолкнул меня, вошел в прихожую и стал громко вытирать ноги. Я втиснулся следом. В прихожей никого не было. Мы пошли наугад. Вперед.

У окна она вся стояла, лицом к нам, но свет окна слепил, мы ее плохо видели, застылую, силуэт один. Она нас боялась, она локтями прижималась к окну, всей собой, к стеклам, готовая вдавиться в них, зазвенев, оставив по себе сквозняк, поднимет он вон тот листок с ковра, покрутит по опустевшей комнате. Дима повалился на пол и пополз к ней.

— Песню, одну только песню! — ревел Дима и полз, терзая нежный ковер.

Вздохнули у окна.

— Что вам угодно? — красиво проплыл голос.

И вспомнил! Где я ее видел! Только что! Да по телевизору-то!

— Песню! Песню! — ревел Дима.

А я крикнул:

— Можно включить свет?! Извините, пожалуйста!

Тогда она поверила нам окончательно, она отлепилась от стекла и воздуха, проплыла, шурша, мимо нас, духами ударила, она щелкнула выключателем и стало светло в богатой гостиной.

Дима лежал на ковре, я смотрел на Диму, и краем глаза видел узкие ножки. Босиком на пушистом ковре. Дальше я не смел. Я потыкал Диму ногой, он зашевелился, но не поднялся, я сказал, глядя на Диму, и только немного — на розовые пальцы ног:

— Извините нас, по-о-о...

— Песню, песню, — захрипел внизу Дима.

Она засмеялась красиво, прохладной лаской рассеянной нас обдала, чтоб нам стало грустно от рассеянной, ровной во всем, она пошла к роялю, откинула крышку, потрогала быстренько клавиши. Клавиши ей отозвались, расплакались вразнобой. Как детсад. Тогда я поднял глаза. Тонкая, сидела она у рояля. Слабые локоны затылка, шейка высокая, тонкие плечи. Трогала клавиши, как новичок.

— И какую вам угодно песню? — спросила она через плечо.

— Э-э-э... — сказал я. — ...если я-а-а тебя-а-а... — и я замолчал. Но она поняла. Она мило покивала моему заиканию, Диминым стонам в гуще ковра, она воскликнула:

— Нет! Я спою вам веселую песню. Потому что вы молоды! Сама молодость ко мне постучала сегодня!

И Дима вскочил, а я попятился, запнулся о край дивана и сел. Она крутанулась на табурете, голубое на ней полетело — вольное, длинное. А она пробежалась — вверх-вниз — бурливо по клавишам, вскочила, побила рукой по роялю ритмично и запела нам улыбчивым голосом:

— Лоли пап лоли пап о лоли лоли лоли! Лоли пап лоли пап тудуду-ду-ю!

Дима стал притопывать в такт, подергивать телом — песня была энергичная.

Она кружилась и прыгала в своем голубом, овевавшем ее всю. Перламутровый педикюр выныривал из белого меха ковра, розовые косточки щиколоток. Мы хлопали, она смеялась. Она вдоволь кружилась, дурачась, выгибаясь, расшалившись совсем, загорелась. Пела песни.

Мне стало даже нравиться. Я подумал, мы посидим и пойдем себе. Я даже приободрился и стал качать ногой, участвовать. Потихоньку оглядываться. Красиво, богато кругом. Как богатство все-таки успокаивает, отвлекает от неожиданных мыслей. Я подумал - чего я в дверях-то? не понял я! Я подумал, что мы еще придем в гости и даже подружимся, и кто знает, кто знает, может быть у Димы и будет шанс? Жизнь такая капризная, такая дурочка на самом-то деле, у ней слабые кудри на затылке, она скачет и поет без причины, возьмет и выкинет

номер! А сейчас певица эта допоет и мы пойдем себе, пошлепаем потихоньку, побредем, купим пива, захлебнемся мечтаниями...

— Я люблю смотреть на звезды, — сказала она. — Я люблю смотреть на звезды с другом.

— Мы два друга с Димой! — подхватил я, совсем освоившись. — Мы тоже любим!

Но она лукаво усмехнулась. Близоруко щурясь, она ласково оглядела меня. Она сказала:

— Всю свою жизнь я служила вам, и если мои песни хоть раз согрели вас...

Я закрыл глаза, чтоб ничто меня не веселило. Я не на шутку испугался. Но стало еще хуже — перед моим мысленным взором прыгала и пела Эдита Пьеха. И я залился своим раздольным неудержи-мым смехом. Она сказала, что разве она смешная? Я закивал, что да, да, очень смешная... особенно, когда на веревке болтается... и что в Москве очень грязно, Москва одичала, непесенная стала, корявая, матерная, и кавказцы очень страшные кругом, и у людей пустынные лица, а у властей глаза белые, что детей малых истязают в России, но все равно весело, бодро кругом, а в Мавзолее мертвец, мы его внучата, она тоже внучка мертвеца, а кремлевские звезды все краше, краснее, неугасимее, кровенят все дали во все концы великой России их негасимый алеет свет, и пустырь из окон навеки, пустырь — пересмешник лугов и полей, а проплешина битого камня — это белобокая старушка-церквушка плывет, умиление сердца, козел я, козлище рогатое, вонючее, сраное, отсев негодный, но ты опусти руку, да поглубже, руку с ножом в самую глубину, там, где влага, что вытащишь: лютик лютый? стоглазый зверобой?! обязательно (когда выйдешь в поля) что-нибудь собирай, нагибайся: зверобой, тысячелистник, шиповник с обочин, татарник мохнатый собирай-нагибайся, не гляди, не стой без дела, ие то застынешь навеки в горячем тяжелом ветре, в просторе сине-золотом, где не умерла земля, где по горячей кремнистой дороге старикашка бредет ходкий, весь на веревочках, козий желтый глаз бегает, деда! пацаны на речку убежали — дружки по воде, с моста будут прыгать на удивление городским неумехам, кто смелый! айда в лес, там рысь! деревенские дети уйдут в солдаты, городские опять увильнут, попишко, дьякон ли в переходе слякотном в колокольцы бьет песню поет: "Ладно бы косая, ладно бы хромая, а всего хуже — злая... дезертиры бросают копеечку, верный плакальщик бьет в колокольцы, Русь во мрак улетает улета... кровяными мигает огнями...

— Он псих! — крикнул Дима! — У него мать в дурдоме! Извините, пожалуйста, Эдита Ивановна!

И я окончательно повалился с дивана на белый ковер. Давно он милый (еще с тех аж времен, с розовых ножек босых) так звал меня! Он тут же приласкал меня, и, разленясь, я вытянулся на нем, морду

свою дрожащую отвернул ото всех. И взгляд мой упал под диван: там лежал обкусанный мятый весь кубик. Старенький. Я встал и извинился, а женщина принесла мне воды, я ее выпил залпом, и она поняла, что я пьяница.

Мне захотелось заплакать и обнять ее, как мать, за эту воду, и за ее понимание, кто мы такие, и за то, что я увидел, как это сделано — тональный крем и натянутая кожа, все было ненастоящее, не шло от нее тугое тепло неподдельной юности, она не была она, она была кто-то другое, из нее выглядывала бабушка темноватая, и ошибочно я замер тогда в прихожей, услышал стук сердца своего слепого — за это, за стук я хотел обнять ее особенно, до хруста, пусть проплачется на плече у нового поколения. Но и злость укусила, а кто разрешил ей обманывать,морочить? (особенно там, в прихожей — взяла, поманила!) Старуха!

Я сказал, что мы пошли и большое спасибо за воду и песни.

— Мать моя во Владивостоке, — забормотал Дима. — Мать. Она шлет вам гостинец. Она простой человек, она сама месила и жарила.

Оно все равно происходило. Оно было невидным, как время. Было везде.

Дима протянул ей страшный пряник, на котором глазурью было напечатано "Москва". И она зачем-то (о, женское любопытство?) стала брать его в руку, ссохшуюся наманикюренную ручку с пальцами-ножами. И стала нести эту стальную лапку свою с пряником окаянным ко рту (а где-то стало сильно тикать, спешить, как будто последнее время истекало и надо шевелиться, махать руками, прыгать, огогокать, пока не замрешь с жалкой улыбкой, весь взмокший, роняя из пальцев монетку свою), а она наклонила лицо над пряником, и можно было отрубить ей голову, такой был наклон шеи, а она не понимала, близоруко поднесла пряник к сощуренным глазам, еще успела глянуть мельком на нас с пустой лаской в карем взоре (успею еще хохотнуть, или пукнуть нечаянно, или шлепнуть ее по спине, мол, чего там!) но пряник приплыл к самим глазам, и в легких карих пустотах задрожали два узких зрачка смертных, рот безвольно открылся и пряник вложен был, зубы зажали его аккуратно, откусили кусочек, внимательно сжевали. Горло глотнуло. "Гнев мой! Остуда моя!" — крикнул страшно кто-то. Зашаталась вся, жилки забились повсюду под кожей у ней, налились кровью, заныли; заохала, воздух царапая, оседая. Так стонала, что я заплакал: "Ага! Окаянная, вот ответный обман тебе! Неповадно впредь юность натягивать на костяк свой радикулит-ный!" Озиралась в беспамятстве. Взгляд мокрый метался. По лицу моему пусто шарил, по воздуху. Гаснул уже. Оползала она по стене, глухо охая, схватившись за горло, хрипела. Взгляд, детский от удивления, заблудился, искал, по лицу моему пусто шарил — по воздуху, по лицу моему — по воздуху, задержаться не мог, — не было ему ниоткуда света-радости, зрачку его, дрожащему, жаркому, шарил-искал, бедный. Нет, нигде

не было! Затихать стала уж, грудой тряпья на полу, дрожь по ней пробежала, рваный хрип отлетал вместо красивого голоса певного, рваный, утробный хрип жадности неутоленной. Дрожь последний раз слабая, прощально всю обежала умирающую, незримым огнем обежала, погасла. Лежала груда тряпья синего, как будто лужа грязного снега. Под грудой куча глупая костей, плоти оползающей, отвратной. Не верилось. Вижу — нога недоверчивая, боязливо тянется потрогать кучу, не шевельнется ли? Это друг мой, тоже живой, как и я, не понимает смерти, хочет потыкать ногой. Ой, Дима, не надо бы! Нет, ткнулась нога боязливая в груду безвольную и отдернулась, затаилась. И шевельнулась! Не груда уже — осмыслилась, вновь захрипела издалека, слабенько. Возвращалась бегом сюда. Шевельнулась, приподнялась как-нибудь с китайской гримасой от последних усилий — из груды к нам зыбкое поднялось лицо, без особой надежды, просто мокрое лицо осиротевшее в своей доле, но к кому-нибудь, хоть к кому, напоследок с жалобой — знаешь, как умираю я вся? Взгляд слепнущий (уж и не ждал, не искал, уже туда смотрел, щурясь слеповато — в тот свет заглядывал, обжигаясь), случайно на Диму упал...

— Загляденье мое!!!

Мы бросились бежать.

Лифта невозможно ждать было, мы, толкаясь, катились по лестницам, бессовестно отталкивая друг друга, чтоб первым вырваться. Мы выкатились на улицу и встали, глядя друг на друга. Потом мы разом глубоко вздохнули, словно вынырнули, наконец, и оба посмотрели на ее окно.

В окне, да, она стояла вся. Прилипла к тонкому стеклу, как плющ, в стоячем воздухе не шевелясь, стояла. Сквозь стекло хотела — сюда, к ветеркам, к воздуху остудному. Помахать нам очень хотела, видела нас, дале-еких, простить нам все, ау-у-укнуться, но рука оползала по стеклу, не было сил в руке всплеснуться движеньем. Совсем ослабела уже. Расплывалось виденье — толща воды ли размыла так, или сумерки тесные — но смутно видна была, отходящая, беловатая вся. Колыхалась, всплывая.

Дима, Дима, Дима! Ну что же это такое?! Ну неужели все это правда?

А Дима обернулся ко мне и я слегка отпрянул. В мелком-мелком смехе плескалось лицо его, и он щурил свои узенькие глазки. Ямочками, ужимочками лицо его рябило, как будто он меня — вот, поймал, ага — сетью-капканчиком. Сторожил долго, перехитрил, охлест-нул, запутал, повалил бешено прижимай уши шипи тварь бей хвостом выну я сердечко твое из пушистой груди!

— Дима!

Ярость моя! Алчба моя!

— Дима!

И вдруг я услышал далекие глубинные подземные гулы. Прямо под ногами задрожало все.

— Но ведь это же метро, Дима? — крикнул я.

А Дима не отвечал мне, друг мой Дырдыбаев, смеялся он все громче и громче, приседал от хохота, хлопал себя на бокам, заходясь от веселья, вертелся неостановимо.

— Заикуша! — крикнул он! — Заикуша!

Я знаю — все услышали! Я заметался, но он показывал на меня пальцем.

— Вон, во-он Заикуша!

— А-а-а! — закричал я, чтоб заглушить его.

— Заикуша! — взревело отовсюду сразу голосом его, дырдыбасным. И хохот его ревел отовсюду, а сам он плясал, крепыш развеселый, и бил себя по бокам.

— Убью тебя! — крикнул я ему и прыгнул, чтоб поймать, разкоготить всю мякоть его.

Я прыгнул и поймал воздух, схватил воздух студеный, зимний — далеко, под деревьями скакал тот уже, бочком-бочком обегая круги света фонарного. Он путал след. петлял, приседал за урны, хихикая. Потом выскакивал вдруг и оскальзывался на грязном снегу, я победно кричал:

— Упал! Упал!

Но он вскакивал и кружил, раскинув руки, мечтательно заглядевшись в черное небо, кружил и падал, и я снова кричал в дикой радости, коловшей мою грудь ножами:

— Упал! Ты упал!

Но он вскакивал и кружил-бежал.

Тогда я погнался свирепо — ветер лицо обжег, слезы высек. Я задохнулся от бега, прыгнул схватить... Но чудным образом он отодвинулся, за бульваром оказался, и сквозь спутанные зимние ветви мелькал, оскальзывался, падал, поднимался, плясал. Он не отряхивал грязного снега, он весь извозился, и чем грязнее он становился, тем свободнее, легче ему было. Я видел это.

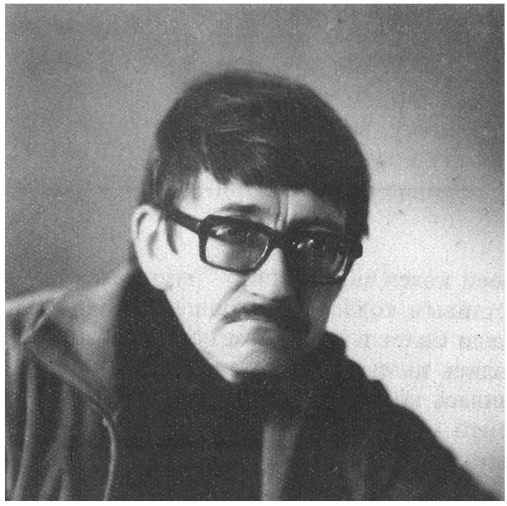
Бегал он, бегал-кружил, заглядывался в небо, грозил ему кулаком. Кричал он. "Уша... уша..." — доносилось ко мне.

Тогда я закрыл глаза, чтоб хоть не видеть окаянного.

И вот же, слышу я: высоко-высоко, в самых широколиственных кронах густых шумит сонный ветер. А далеко внизу кто-то маленький трогает битые стекла.

Лето! Середина июля! — догадался я...

авг. — окт. 94 г.
Малеевка — Москва



Вадим Фадин

НИТЬ БЫТИЯ

Стихи

***

Нить бытия закручена в спираль,
и много раз встречается февраль,
но только без падения престола.
И много раз уходит вниз зима,
неотвратимо тают терема,
и можно ждать хоть самого простого,
но все же — потрясения ума.

Нить бытия протянута во тьме
(но только тот, кто не в своем уме,
помыслить может о включеньи тока),
а кровь — тепла, и отдает в виски,
когда возок на скользкие витки
влетает. Так придумано жестоко,
что ненадежны быстрые возки:

скользят полозья поперек зимы —
то, что, быть может, потрясет умы,
для многих так и остается тайной.
Печальные читаем жития.
Устану к марту, видимо, и я —
беда зимою может быть случайной,
но не случайна форма бытия.

***

Из своей колеи мой состав — разогнался и — выбит,
а счастливым коллегам попроще навязан был выход:
покупали билет и в зеленом покатом вагоне
оставались навек, засветив на прощание блиц;
получилась коллекция бледных отвергнутых лиц
без теней — суть без признаков необходимых агоний.
Нас преследует запах безжалостных к мысли больниц.

Параллельным путем разгоняется фирменный поезд,
замирают часы, оттого что меняется пояс:
чем быстрее летишь, тем яснее тягучесть минуты —
это ангелы знали, спускаясь со всякой звезды.
По своей колее оставалось всего-то езды
до утра, может быть. И теперь, остановленный круто,
не найду в словаре толкования смысла узды.

Утешает пейзаж: не пески, не снега, не руины —
я могу наблюдать постоянство великой равнины,
по которой летят поезда — за лесок, за пригорок;
рядом город шумит, и массовка пивного ларька
поджидает с надеждой идущего издалека,
а привычный глоток неожиданно долог и горек.
Если выхода ждать, то когда-нибудь дрогнет рука.

***

Опустившийся город — не Китеж;
ждет, пока его сам не покинешь,
и зовет на бульвары — не в скиты ж
укрываться до лучших времен.
Ну а память бунтует, не так ли? —
наши лучшие годы иссякли;
наше завтра лохмотьями пакли
помавает — гляди, кто умен.

Все в бойницах (меж бревнами щели)
наши стены, и в поисках цели
одичавший стрелок в самом деле

не устанет бродить до утра.
Мы — толпе обо всем рассказали
на простом языке, и нельзя ли
помолчать наконец на вокзале,
у прощального греясь костра?

***

Как Битов писал, я живу у могилы поэта
(живу —, подчеркнул), и, конечно же, это — примета,
которой стесняюсь — без доброго, впрочем, совета
гуманных соседей, чьи окна глядят на погост.
И все-таки совесть чиста: это так ненадолго!
Я здесь заточен по велению сладкого долга;
оставлю в столе восьмистишия странного толка
как скромную сумму, читателю данную в рост.

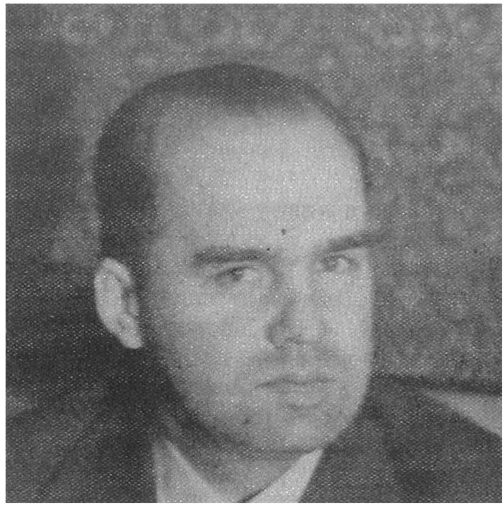
Я, все же, живу. Дорожают в округе минуты
нельзя накопить и нельзя завещать их кому-то;
от денег бумажных карманы у нищих раздуты —
на них не купить ни бумаги, ни, к слову, пера.
Сегодня и женщины знают, как падают курсы,
и редкостью стали отменные, тонкие вкусы,
но тот, кто живет, искушен. Старомодность искуса
ему очевидна: такая настала пора.

93-й год

Истаял год, отмеченный Гюго,
и впору повторить названье книги,
не более: искусностью интриги
не удивить сегодня никого.
Как нам не впрок литературный опыт!
Услышишь быль, и сразу: итого...
и дальше — цифры, втиснутые в шепот.

Вполголоса, стесняясь нищеты,
сородичи подсчитывают годы,
увековечив дату перехода
давным-давно указанной черты.
Но все порывы вязнут в нашей глине,
и даль укрыта пеленой тщеты
в холодный год, отмеченный Феллини.

4 ноября 1993,
день похорон Феллини



Тихон Непомнящий

НЕ ЖИЗНЬ, А ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ

ПОВЕСТЬ С ХОХМАМИ И МАЙСАМИ МЕСТЕЧКОВЫХ ХУХЕМОВ

Главы из повести

Никогда не спрашивайте об "нет", спрашивайте об "да".

Древняя мудрость

Прочитав в газете объявление, я вдруг вспомнил, что в нашем городе жил хохмач Натан Циперович.

Однажды Натан заходит в аптеку и спрашивает у провизора: "У вас апельсины есть?" Старый аптекарь поднял на лоб очки: "Вы что, совсем сошли с ума? Это же аптека..."

На следующий день Натан пришел снова, приоткрыл дверь аптеки и с порога: "Так у вас есть апельсины?" Провизор разозлился и разразился такой бранью, где самыми нежными словами были: мишугенер! капцан! пархач! щинькер!.. "Зай гезинд!" — откланялся Циперович, не прикрыв дверь.

Еще через день Натан снова наведался в аптеку: "Так, может, все-таки апельсины есть?" Провизор швырнул в Натана пестик, которым только что в фарфоровой ступке растирал лекарство и стал неуклюже выбираться из-за прилавка. Но уже и след Натана Циперовича простыл.

Когда на другой день Натан проходил мимо аптеки, то увидел на ее дверях объявление: "Апельсин нету!" Наган распахнул дверь и злорадно спросил у провизора: "Ага, значит, апельсины все-таки были?"

Этого хохмача Натана Циперовича я почему-то вспомнил самым первым, когда случайно прочел в газете: заграничная инюрконтора "Ост-вест" (вы ж понимаете, американская) "разыскивает родственников Циперовича Моисея-Менахема, родившегося в городе Елизаветграде (начале века) и умершего в США, в связи с открывшимся наследством". Там же упоминается и его жена Розалия. Ищут родственников, родственников их родственников по восходящей. Обещают вознаграждение за содействие.

Я, между прочим, тоже родился в этом Елизаветграде, когда он уже назывался Зиновьевск, и помню нескольких Циперовичей. А смешняк Натан был очень заметный человек — хохмач, трепач или, как сказал русский писатель, — "чудик". Боже мой! Сколько сразу нахлынуло воспоминаний! Во-первых, припомнил нескольких Циперовичей и удивился, что так много людей носило эту не самую распространенную фамилию. И вспомнил старую жизнь...

Что вам сказать — неплохой у нас был город, хотя, как сказал Иосиф Уткин (теперь уже неизвестный советский поэт) — "под каждой крышей свои мыши" — Натан Циперович изрекал: "пили цимес миг компот из моли и нафталина"; знали, что если еврей кушает курицу, так или еврей болен или курица больна и несли ее к резнику. Резник был почти духовное лицо, убивал птицу и скот по закону религии. Давно нет такой профессии — резник, бывают куры-бройлеры с ногами, как у Майи Плисецкой, а евреи? — Многие "инвалиды по пятому пункту": не знают родного языка, обычаев, а уж о вере и говорить не приходится. Но считается — "еврей!" И все-таки.

Раньше на свадьбах танцевали шер и фрейлахс (теперь это "семь сорок") и пели добрую заздравную песню "ломир анем ныйнем, ныйнем..." в честь каждого сидящего за столом. Потом, позже, из "Песни о Родине" — "...за столом никто у нас не Лившиц..."

Все жаловались — только одни, что хлеба нет, другие — что жемчуг мелкий.

Так о наследстве Циперовича... Я не мог припомнить Моисея Менахема, но зато я вспомнил нескольких других. Минуточку! А если я свяжусь с этой "Ост-вест"? Дело может пахнуть заработком и, наверное, в валюте, не то что идиотское лотто-шмото, где я пытался хоть сколько-нибудь угадать цифр. Не зря папа говорил: смешно играть в азартные игры с государством. В конце-концов, что я теряю, если пойду

в эту "Ост-вест" и расскажу все, что знаю о нескольких Циперовичах из нашего города?

Думал-думал, а потом пришел в эту инюрконтору. И знаете, там за меня ухватились. Свели с господином Бобом Коганом, американским юристом, который теперь в Москве имеет представительство. Его родители давно уехали из Белоруссии, он родился уже в Штатах, но русский язык знает.

Я не дурак и сразу спросил, а как будут оплачиваться мои услуги? Этот Коган стал юлить. Я заявил, что если мы не подпишем договор, я ухожу. Он понял, что надо соглашаться, а я понял, что кроме меня у него других источников нет, а он с этого дела имеет немалый процент, но хотел на шермака проехаться, за так.

Мы долго торговались насчет суммы и валюты, еще дольше он составлял договор. Я настоял — каждый лист моих сведений, сообщений будет составляться в двух экземплярах: один — мне, другой — ему, и он расписывается, что получил его.

Конечно, обидно: какой-то шибздик получит миллионы, а я? Наконец, Коган мне предложил — рассказывайте все подробно об этом городе, его жителях. Он должен окунуться в материал, обстановку.

Я признался, что боюсь, как бы потом меня не потянули... куда, потому что в мое время был лозунг: "Болтун — находка для врага". Он посмеялся... Но я сказал, что это получается целое следствие и я вроде Шерлока Холмса и доктора Ватсона сразу.

Главное я приберег на после подписания договора и аванса, хотя под этот козырь я еще сумею из него выжать доллары.

А я-таки кое-что знал, ведь не зря мой прадед был казенным раввином-чиновником. Надо объяснить — таких раввинов назначали губернаторы. Казенные раввины вели все записи в общине, как в теперешнем ЗАГСе. И еще, как в Райвоенкомате, записывали евреев на солдатскую службу, в суде казенные раввины приводили к присяге евреев-свидетелей. Вот сейчас бы фолианты моего прадеда с записями... Но... но все сгинуло еще во время октябрьского переворота. Может быть, это даже хорошо — спасли многие жизни во время фашистской оккупации и ГУЛАГа. Во всяком случае, этому мистеру Когану со мной крупно повезло — я еще могу многое припомнить.

Он, кажется, хотел сбить с меня спесь, мол, в конце-концов, где-нибудь найдет старые записи "Актов гражданского состояния" и он обойдется без меня. Идиот!

— Если я вам не подхожу, вам придется искать Мафусаила, который по преданию прожил 960 лет. Он, наверно, лучше помнил бы все поколения. Знаете, как сказано в Священной книге, а может быть, у "Екклезиаста" — "род проходит и род приходит, а земля пребывает вечно". Так какая разница кому достанутся эти деньги. Все равно в могилу ничего не возьмешь.

Я объяснил, что наверно понадобится не одна наша встреча и это требует хорошей оплаты. Он согласился и, достав чековую книжку, вздыхая выписал аванс — сто долларов. Все-таки кое-что по тогдашнему курсу.

Для него это — тьфу! И, конечно, я стал стараться, чтобы он убедился: я — серьезный источник, понимаю, что нужны братья и сестры, племянники и племянницы, их дети или внуки, правнуки Менахема Циперовича. Нужны, конечно, документы, подтверждающие их родство, но пригодятся и письма родственников, и старые-старые фотографии, на которых есть сам Менахем и другие Циперовичи с родственниками, может быть, уцелело что-то с дарственными надписями. Мои соображения Когану понравились. Он предложил для начала, чтобы я рассказывал обо всех подходящих для дела жителях нашего города-местечка, кагале-общине, кого помню, может быть, придется искать и их, а уже через них — путь к мешпухе Циперовичей. И еще — нужны подробности прежней жизни, чтобы проверить достоверность того, что будут говорить другие.

Беда в том, что архивы общин и синагог в тридцатые годы разорили, уничтожили. Вряд ли в те времена кто-то отважился бы их спрятать.

Когда я возвращался после встречи с этим Коганом, у меня так разыгрались воспоминания и почему-то больше всего, старые-старые анекдоты, которые как раз и рассказывали Циперовичи. В метро на меня смотрели как на шизика, который улыбается в такое сумасшедшее время. Припоминал давнего земляка и его анекдоты. Кажется, в них не было и намека на тот бизнес, который я начал с Бобом Коганом, но все-таки...

Была темная ночь в доме Янкеля Циперовича. Жена слышит, что муж не спит, ворочается, вздыхает, кряхтит. "Тебе плохо?" — спросила жена. "А кому сейчас хорошо..." — ответил он, — "Спи!" "Как я могу заснуть, если завтра соседу Семе нужно отдавать деньги, а где я их возьму?.." "Дурак! — вынесла приговор жена и стала как сумасшедшая стучать в стенку соседей. — "Сема! Слышишь, Сема? Это я говорю, Рахиль. Так Янька вам деньги не отдаст не только завтра, а и вообще! Что б вы сдохли! Слышишь, Семкиле?" С чувством исполненного долга хранительнипа очага велела мужу: "А теперь ты, дурак, спи , а он пусть ворочается..." Кажется , это рассказывал нам Янкель.

У Рахили и Янкеля Циперовичей была уйма детей, а родственников? Кто их тогда считал. Так может быть, они наследники? О Рахили Циперович говорили, что она, отпуская вечером свою старшенькую Ривочку на свидание, строго говорила: "Выше чулочных подвязок его не пускай!.." Но однажды Ривочка вернулась со свидания и Рахиль увидела: чулочная подвязка повязана бантом на косичках дочери...

Сколько же Циперовичей из Елизаветграда-Зиновьевска, я стал вспоминать. Это ужас! Даже не мог себе представить, что их столько много было. И самое смешное, что это не самая распространенная фамилия, как Абрамович,как у русских Иванов.

У нас шутили: когда Царь узнал, что Янкель Циперович собирается к нему в гости, так Царь чуть не отрекся от престола.

Но Янкель Циперович всего-навсего поехал вместе с племянником Изей повидать Петербург и его окрестности. Ходили они ходили по Царскому селу, Янкель Циперович всплескивал руками, восклицал: "Это же с ума можно сойти, как живет этот... шмендрик! Я тебе скажу, Изя, вот если бы я был Царем, я жил бы еще лучше". Изя удивленно спросил: "Это каким же образом?" "Хм! Идиот! Так я бы имел такую протекцию, завел бы свое дело..."

Когда Янкель Циперович вернулся в родной город над ним посмеивались — "Ну, что пейцадик, так ты повидался с царем? И что он тебе сказал?"

Янкель умел отшучиваться: "Он мне сказал то же самое, что говорит и наш городовой Опанасенко — "пошел вон, жидовская морда!" И при этом Янкель смеялся больше всех.

Может быть умерший миллионер и есть родственник Янкеля или Изи Циперовичей? Черт их знает! Конечно, надо чтобы совпадало имя. Но покажите мне сейчас еврея, у которого бы сохранилось древнее имя — жизнь заставила искать "благозвучия", не раздражающее уши антисемитов. И Сара стала Шурой-Александрой, Борух — Борисом, Менделе — Михаилом. Это же целая диссертация об именах!

В старые дореволюционные времена в наших краях было много коммивояжеров и маклеров. Если уж не удавалось завести собственное дело, так становились посредниками и разъезжали по всей южной черте оседлости, нередко забираясь и далее, за ее пределы. Поэтому на вокзалах, в поездах можно было встретить юрких и загадочно молчаливых людей, старавшихся выглядеть солидно, представительно. Многие из них носили черный лапсердак, жилетку, шляпу-котелок и неизменный саквояж, порой неподъемный; там находились образцы предлагаемых товаров. Особенно коммивояжеры боялись выдать свой маршрут — куда и зачем едут, чтобы их не опередил соперник, поэтому сторонились друг друга, просто не замечали.

Натан Циперович тоже был коммивояжером. От других хмурых зануд Натан отличался легким нравом, особенно хохмами. Поэтому и держал его "при деле" важный барин Нухемзон — купец-оптовик, хвативший все, что имело цену, конечно, за полцены, иначе на какие парнусы можно рассчитывать. Именно за веселый характер Нухемзон взял Натана в коммивояжеры, а не похоронным посредником.

И вот, однажды, как обычно, едет Натан по делам. Оказался в купе вместе с важничающим евреем, который едва ответил на "здрасьте" Натана. Спутник сидел широко расставив ноги, меж которых свисал

живот, раскинул руки, опираясь на спинку сиденья; поверх жилетки болталась толстая серебряная цепь к часам в жилетном кармане. Натан привстав и приподняв котелок поклонился, попутчик только дернул годовой и — ни слова. Едут и едут, а этот заносчиво молчит, кивает головой, как будто сам с собой о великих мыслях разговаривает и не может даже слово сказать попутчику, видит же — тоже еврей. Ну разве не станет обидно бедному еврею, что сосед даже не хочет его замечать, и тогда Натан так вежливенько говорит:

— Позвольте поинтересоваться? И куда вы едете, слава богу?

— В Баден-Баден, — лениво произнес заносчивый барин.

— Так два раза и называется? — искренне удивился Натан.

— Да... А вы куда едете?

— В Кучелевку-Кучелевку. Тоже два раза называется! — Натан был доволен, остроумно "дал сдачи".

— Так я еду на воды, на курорт...

— А что у вас может болеть? — с иронией произнес Натан.

— Это мое дело.

— У каждого свой цорес! — вздохнул Натан.

— Мне не интересны ваши цоресы.

— У меня есть уникальное средство.

— Оставьте меня в покое! — надулся барин.

— Разве я вас хватаю за фалды?

Потом Натан открыл свой саквояж, достал из него флакончик, отсчитал три пилюли. Барин незаметно за ним наблюдал. Натан Циперович быстренько опустил окно купе и выбросил таблетки. Сел на прежнее место и скрестил руки на груди, тоже гонористо молчит.

— Так глупо же покупать лекарства и выбрасывать их в окно... — заговорил барин наставительно. — Вы уже не рэбёник. Что это за пилюли? — не сдержал любопытства барин.

Именно на это хитрый Натан и рассчитывал, ответил:

— Таблетки доктора Кацнельсона.

— От чего они? — заинтересовался барин.

— Средство против тигров... — грустно ответил Натан.

— Что?.. — барин был в изумлении. — Но здесь же, по-моему, не водятся тигры?

— А я бросаю не настоящие таблетки Кацнельсона, — как обреченный больной ответил Натан.

Попутчик покрутил пальцем у виска и произнес, как приговор: "Мишугенер!".. Понял, что его разыграли. "Ой, вэй!"

Откуда я это знаю? Из рассказов Натана. Разве исключено, что именно Натан Циперович вместе со своим веселым семейством мог в те годы махнуть заграницу и кто-то из них там пробился в миллионеры. А что? Вполне возможно. Натан был хорошим маклером, такие не останутся без дела и в Америке. Натана называли колбойник. Эти два слова — кол бой — переводятся, как "все в нем", в его голове, в

его умении говорить и в его саквояже, полном товаров. Может быть, от колобойника и пошло русское "коробейник". О Натане Циперовиче есть что вспомнить!

О нем еще поговорим, будьте уверены.

Ха! Вспомнил и еще одного смешняка Циперовича — Сюню, особенно его идиотскую женитьбу. В нашем городе-местечке жила красавица необыкновенная, Эсфирь. Девичью ее фамилию уже не помню, а по мужу... Но дело в том, что у нее уже было три мужа. Вы представляете? И это в небольшом городке, где все и все на виду. Красавицы Эсфирь боялись наши мужчины и звали ее катлонис, потому что все три ее мужа умерли, как-будто бы своей смертью, но... но... И еще раз но! Как замужняя женщина, Эсфирь должна была носить парик, по нашей вере и обычаю, а не выставлять нахально напоказ свою черную косу, толщиной в... в руку.

Так вот, Сюня Циперович, огненно рыжий и кучерявый, как негр, женился на этой Эсфирь. Сюня усыновил ее ребенка Йоську. Между прочим тоже рыжего и курчавого. Дал ему свою фамилию Циперович. Уж не знаю почему, но вскоре Эсфирь просто выгнала Сюню и подала в суд на него, чтобы платил алименты на Йоську. В суде, не стесняясь, наговорила, что Сюня, когда-то был ее первой любовью и Йоселе — его кровный сын. Советский суд — "самый справедливый и гуманный во всем мире" таки присудил алименты. Еще хорошо, что Йоське уже было четырнадцать лет, оставалось платить четыре года.

Э-э! Я вам скажу, как повидавший виды — прежде чем жениться, нужно развестись и когда вы увидите как ведет себя человек в этом разводе — вы все поймете: надо жениться или нет. К сожалению, это узнаешь на старости лет, когда уже поздно жениться. Какая прелесть невеста, но откуда потом берется фурия — стерва жена?.. Любовь, как деньги: если есть, так есть...

И Сюня, несмотря на то, что потом опять женился, завел своих детей, таки исправно платил на Йоську четверть своего заработка. Йоська сам приходил за деньгами и вел себя нахально, но Сюню научили, чтобы Иоська расписывался в тетрадке в получении денег.

И вот однажды, когда Сюня подал тетрадку, Йоська расписался, пересчитал деньги. Сюня облегченно вздохнул и сказал:

— Передай своей сволочной маме, что это последний раз! И больше вы копейки от меня не добьетесь. И посмотри, какие у нее при этом будут глаза.

— Она тоже сказала, чтобы я посмотрел, какие у тебя будут глаза, когда ты узнаешь, что я не от тебя, не твой сын...

Ну! Вот теперь решать: этот Йоська, этот мамзер, этот байстрюк — может считаться Циперовичем или он "пришей кобыле хвост"?

А сколько вообще Циперовичей было в нашем городе-местечке? И у каждого своя история. Конечно, "Сагу о Форсайтах" о них не напишешь, но все-таки...

Загибая пальцы, я считал Циперовичей в нашем городе; рук не хватило. Странно, кажется, не такая известная еврейская фамилия. И еще смешнее, что многие из Циперовичей говорили, что они "даже не однофамильцы, не только не родственники". Почему? Среди них встречались странные, вздорные люди. При этом каждый из Циперовичей считал, что уж он-то "совсем другое дело".

. . . . . .

В праздник Ханука зажигали вечером свечи и выставляли их на подоконник. В первый день одну свечу и дальше прибавляя каждый вечер по свече — до восьми. Даже в самом бедном доме старались иметь восьмисвечник, пусть из чугуна, раз уж нет бронзы или, дай Бог, серебра.

Боже мой ! Как давно это было!.. К сожалению, помнили не только праздники.

Несмотря на все, что сваливалось на страну, в наших краях жили хохмачи, остряки, они поддерживали дух населения. Конечно, ссорились, спорили и проклинали, как говорят, "в стиле своего времени" — "Чтоб ты жила на одну зарплату! Чтоб к тебе гости каждый день ходили!" И клялись (вместе с честным словом) — "Шо б я так жил и кушал сливочное масло!" Когда сомневались, восклицали — "Ай, бросьте!" О тех, кто очень хвалил власти с насмешкой говорили — "Он, кажется, сын крестьянки и сразу двух рабочих". Когда сомневались в мастерстве кого-либо, тот с улыбкой отвечал: "Пусть я не умею плавать, но я понимаю плавать". И еще — "профессия еврей, национальность — одессит". Заболевший говорил — "Мне таки хорошо плохо". Покажите мне пальцем на город, где бы так еще говорили! Перед войной появилось новое проклятье — "Шо б ты блата не имела!" Тогда в магазинах тоже ничего не было и можно было не просто купить, а "достать по блату", знакомству, конечно за деньги, плюс "на лапу" — в смысле парнус.

В общем историю понимаешь лучше, когда слышишь голоса даже не предков, а прежних разговоров.

Прежде чем продолжить рассказ о городе многих Циперовичей, не могу не рассказать подробнее об одном из них, тем более, не исключено, что кто-то из его большого семейства, мешпуха может таки, оказаться причастным к наследникам миллионера. Я не могу пока твердо сказать "да", но мне кажется или как говорили у нас: "чтобы сказать да, так нет". Опять о Натане Циперовиче. Какой это был ве-

сельчак! Он служил коммивояжером и его хозяину казалось, что человек с таким характером скорее найдет покупателей. Но Натан был чересчур насмешником, большим остряком. Ему советовали бросить коммивояжерство и заделаться бадхн, мол, его охотно будут нанимать забавлять гостей анекдотами и песнями. Слава Богу, Натан понимал, что не всякий рискнет его позвать быть бадхн, потому что он не знал меры, если начинал хохмить.

Многие боялись попасть ему на язык — знали, что хохма быстро разнесется по общине. Наверное, не было в нашем местечке человека, над которым бы не посмеялся, не подшутил Натан. Все охотно принимали шутки Натана, но старались не иметь с ним дело. Если Натан просил деньги в долг, конечно, немного, старались не отказывать ему, хотя знали, отдаст он не скоро, но лучше дать, а то Натан ответит обидчику такими анекдотами!

Помню учитель Модхе-Мордыхай обидел Натана и вскоре пошел по городу гулять рассказ, как учитель, кажется, единственный у нас хорошо говоривший по-русски, учит детей языку: "Сморкачи и шмендрики! Мишегасы и мишегурнеты! Запомните деци, какой это стганний язык. Сцы — у них богщ. Ненасцы — у них непогоды. Насцы — просто домработница, которую вы любите моцать за жопу. Запомнили, шлемазелы и капцаны, что я вас учил?.." Не только запоминали, но с каким диким акцентом пересказывали эту хохму. А между тем Мордыхая уважали, он всем давал книги, говорил о литературе, му-зыке по-русски лучше всех.

Если бы хохмы рассказал вам лично сам Натан Циперович, да еще со своим еврейским акцентом - это было бы что-то особенного.

Натан получал большое удовольствие, когда ему удавалось разыграть, подшутить над клиентом-покупателем и при этом всучить-продать ему товар. Натан знал свой несносный характер, но ничего не мог с собой поделать. О-о! О нем есть что рассказать.

Мальчишкой я был тайно влюблен в жену Натана — Броню-Броху-Брониславу. Смуглая, очень стройная, завистливые наши толстухи называли ее "щепкой". Григорий Самуилович, наш семейный доктор, который ходил и к ним, мечтательно говорил о Брохе: "Как тростиночка, которая умеет так улыбаться, что можно сойти с ума! А какой легкий характер!" Натан ревниво отвечал: "Тощая корова еще не газель".

Говорили, что она из "литваков", литовских евреев, дочь состоятельных родителей, которые дали ей хорошее воспитание, но на свою голову встретила Натана, который тоже был красавчиком, но, главное, веселым. Броня нарожала кучу детей, таких же красивых и веселых, как Натан и Броха, и таких же насмешников, которые мучали сверстников своими шуточками. Водиться с ними было интересно и легко.

Сколько словечек мы переняли от них. Мы говорили кыцька, они — коша, кисондра — ласковые, как будто заграничные слова. Собаку они называли — песис, гавчина. Такой теплоты у себя дома не видели не только многие дети, но и старшие соседи. Курицу и воробья в семье Натана и Брони называли птицоны, рыбу — хвостастик. Натан — Натэлэ, Натик, Натаньчик — солнечный человек! А?

Когда мне удавалось быть в этом широко распахнутом для всех доме, можно было услышать приглашение к столу — "садись с нами, детка, может быть, тебе понравится наш "шыдер-выдер". И так светло, легко было в этом доме, даже мелькало сожаление, что я не у них родился. Хотя и на своих родителей мне грешно жаловаться.

"Шидер-выдер" — так называла Бронислава (кажется, сама придумала) суп и борщ, одновременно заменявшие кашу или жаркое, потому что Броня в суп закладывала все, что было в наличии: картошку, морковку, пшено или рис, лук, чеснок, остатки масла, иногда мяса; все готовилось в одной огромной кастрюле: и первое и второе, конечно, густое — ложка торчала. Главное было в том, как Броня это называла, объясняла своей многочисленной ораве. И странно, дети не привередничали, съедали все, опять же весело. По-моему, это было счастливое семейство или только так казалось со стороны?

Броня мне дико нравилась; сколько потом прожил, такой ласковой, в словах выдумщицы не встречал. А тогда, мальчишка, еще над ее словами насмехался, когда она говорила одному из своих сорванцов: "Исачек, не дрожи кровать, проснешь папу!"

Знаете, у них никогда в доме не плакали и часто смеялись, хохотали. Казалось, что они этот смех кушали на обед. И называли друг друга — "смешняк". Броха не чуралась соседей, а те нередко им завидовали, ибо Натан к ней обращался "кецелька (кошечка), солнечко". Детей она называла "лацичка моя". Что это значит можно было только догадываться, наверно, "ласковый май". Не удивительно, что их дети не капризничали и были сговорчивы. Когда очередной раз прогорала коммерция Натана, Броха, обняв его, весело говорила: "Брось убиваться, Натаньчик, из-за этих грошей! Другой раз повезет. Подумаешь! Разве у всех есть успех?.." Не жена, а золото. Хотя золота она не имела, даже приданое давно было заложено, продано, проедено. И как не удивляться, что именно эти бедняки были веселы, их лица не корчила вечная еврейская скорбь и недовольство всем.

"Шо ты так нагвезался?" — пожимая плечами говорила ласково она. Слово перевести невозможяо, но его понимали и дети, и муж, и даже я; слово относилось и к тому что "испачкался", а к мужу — напился. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, что слово образовано из каких-то польских, еврейских и русских восклицаний.

Богатые выскочки, бесшабашные дельцы, особенно из одесситов, нанимали Натана на свадьбу как бадхн. Конечно, приглашали и Броху. Она сияла в компании женщин и умела погасить разговоры — кто

кого недостоин в этом браке, кто кому "пара". Как Броня все хорошо объясняла, успокаивала! Не женщина, а бальзам и валерьянка всем мамам, волнующимся о счастье сына или дочери.

Натан веселил гостей своими хохмами и так распускал язык, что хозяева краснели. Помню, мальчишкой, подслушал:

"Что надо сделать, чтобы после брачной ночи были чистые простыни?.. Просто заставить жениха и невесту вымыть ноги..."

"Всегда начинается с идеалов, а кончается под одеялом".

"Будем надеяться, что наш жених не похож на того бедного студента, который пришел к доктору и жалуется, что у него не стоит. Доктор спросил, а что кушает этот студент. Студент ответил: утром отварную картошку, в обед картофельный суп, вечером, иногда, жареный картофель." "Молодой человек, — сказал ему доктор, — от картофельного крахмала стоят только воротнички... Нужно кушать рыбу, там фосфор..." "Но, доктор, мне не нужно, чтобы он светился, мне нужно, чтобы он стоял..."

Как Натан произносил егалел (галел) — прославлял, хвалил гостей! Как у него звучало "Лехаим!" — к жизни! Как он провозглашал "до ста двадцати лет!" — еврейское пожелание добра кагалу — общине. И тут же закусывал после тоста, наткнувшись на горчицу мог спросить: "А вы знаете, как собака кушает горчицу? Она нечаянно жопом влезает в миску с горчицей, ей печет и она, несчастная, слизывает. Так и мы иногда влезаем, простите в... гадость и еще потом это говно слизываем!" Натан не мог удержаться, если он вдруг придумал хохму, чтобы не рассказать ее тут же, хотя иногда это было не к месту. Артист! Таки народный артист был Натан Циперович, любимчик всякой публики.

"Вы знаете, как ведут себя после любовной ночи женщины разных национальностей? Француженка говорит: "О милый! Ты сделал мне такой подарок!" Русская говорит: "Ваня, а давай ишшо!" А еврейка стонет: "Ой, ой, ой, все болит, Сема, все болит"... Важно не с кем спать, а с кем проснуться.

"Вы знаете, что на золотую свадьбу принято дарить золотые вещи. Пришел Витензон и подарил шоколадку под названием "Золотой ярлык". Перщиц вообще ничего не принес, но зато он привел шурина, фамилия которого Гольдберг... Я, конечно, не намекаю, но подумайте, гости, что вы подарили на этой свадьбе, ведь люди потратили столько денег. Посчитайте, сколько вы будете здесь кушать и пить... Чтобы вам потом не было стыдно... Или, может быть, я не прав?"

На этих долгих длинных свадьбах дети уставали — они уже все попробовали, все видели, они просто хотели спать. Я помню, как один пацан, стоя у дверей намекал, что у других тоже гости были, но давно все ушли. Взрослые галдели, гевалтничали, не слыша детей, максимум чем это кончалось — "а хопен печ" — считайте в переводе подзатыльник.

Натан рассказывал не отдельные анекдоты, он их соединял тематически в целый сюжет. Его "коньком" была серия анекдотов, если можно так сказать, о супружеской жизни. И это все на свадьбе — как пророчество или предупреждение.

"Я знаю случай, когда вскоре после свадьбы молодые пришли в гости к родителям невесты и зять, когда остался один на один с швигерен (тестем), стал жаловаться, что их Фаня, простите... не дает. Молодой муж чуть не плакал. Не помогли и советы тестя, бывалого мужчины, как нужно "подходить" к женщине. И тогда расстроенный отец пошел к жене, чтобы она поговорила с их дочкой. Вскоре мама и дочь уединились на кухне, закрыли за собой дверь. Так долго у них шел разговор, что отец не выдержал и на цыпочках подошел к двери подслушать. Когда он услышал, о чем там откровенничала мать, у него полезли глаза на лоб. Мать призналась дочери — в молодости ее "избранник" не вызывал у нее сильных чувств, ведь их поженили сговорившиеся между собой родители. "Но я потом просто делала вид, что мне хорошо... Был у меня мальчик, который мне нравился, но это никого не интересовало." Раздосадованный тесть вернулся в комнату и зять спросил его: понял ли тесть о чем они там говорят? Тесть сердито махнул рукой: "А! О чем могут говорить... две шлюхи?" Может быть он сказал и не так деликатно... Так выпьем за то, чтобы у наших молодоженов так не было и, конечно, у их родителей тоже..."

Позже, когда гости успели таки хорошо выпить, в наших местах варили крепкую самогонку, а в "монопольке", государственном магазине, продавали водку четвертинками, поллитрами и четвертями, это высокая бутыль на два с половиной литра. Кстати тогда пили из граненых стаканчиков, песня такая была "Стаканчики граненые упали со стола, упали и разбилися, разбилась жизнь моя..." Одни гости танцевали, другие балагурили за столом и здесь Натан Циперович был вне конкуренции.

"Я пожелаю, чтобы у молодых родилось много хорошеньких мальчиков и девочек. Но чтобы их папа понимал, что и как надо объяснять. Потому что недавно один такой папа-идийот идет с ребенком по улице и видит, что сцепились в своей собачьей свадьбе две собачки. Папа тянет ребенка подальше, чтобы обойти собачков. А ребенок хочет видеть, как это делают собаки. И умный папа вынужден был объяснить, что передняя собачка очень добрая и подставила спину задней собачке, у которой болит нога, чтобы помочь ей идти... Ребенок с сожалением смотрел на папу и знающе качая головой спросил: "А добрых всегда трахают?" Ну, вы догадываетесь, как на самом деле сказал мальчик".

В нашем городе любят все называть своими именами, точными словами.

"О наши дети! Мы забываем, что у этих маленьких кувшинов большие ушки. Один такой шибздик пронюхал, зачем приходит к маме дядя

Йося и почему мама вдруг становится такой доброй и разрешает ребенку идти погулять. А он как раз не хочет. Тогда она дает маленькому хитрецу деньги — иди, скушай себе мороженое. Он тоже не хочет. Тогда и дядя Йося добавляет еще денег — иди в зверинец, посмотри обезьянок и тигра. Ребенок уже плачет — он ничего не хочет. Разнервничавшаяся мама берет ребенка за ухо и кричит: "Так скажи, наконец, чего ты хочешь, мерзавец?" Вытирая слезы и сопли ребенок отвечает: "Я хочу смотреть..."

Конечно для подобных хохмов Натана из гостей подбиралась своеобразная компания. Уже после того, что было много выпито, когда женщины отделились на другом краю стола, но чаще в спальне, где рассматривали и обсуждали свадебные подарки. А свадьбы тогда длились не несколько часов, а много дней, уставали уже музыканты, лишь Натан не имел право уставать, да он был неистощимым бадхен.

"В Одессе был другой случай. У папы были неприятности, а ребенок тянул его на Дерибасовскую купить мороженое. Надо сказать, что этот молодой папа был очень хорош собою и тут же к нему подошла аникейва (переводите, как хотите, но это почти б...) и предложила вместе прогуляться. Красивый папа был не в настроении: "А кто ты такая, чтоб я с тобой гулял?" Она ответила: "Добрая волшебница". Папа послал волшебницу в задницу. Ребенок сказал: "Если вы действительно добрая волшебница, фея — сделай папе чудо, а мне большую вафельницу мороженого..." Волшебница завертелась юлой, защелкала пальцами и подпрыгнула, и тут же у ребенка в руках появилась большая вафельница мороженого, а у папы из задницы торчала добрая волшебница..."

Хорошенько выпившие евреи смеялись с удовольствием, их не смущало то, что и так каждый день они слышали на улице, на базаре. Натан знал психологию своих слушателей — опьяневшим нужно было солонее, горячее, не только смешнее. На юге евреи не такие пуритане, как в других краях.

Пока Натана нахваливали гости (конечно, мужская компания), он выпил очередной станканчик водки, закусил и продолжал повесть об еврейской жизни в анекдотах.

"Приходит к доктору священник и говорит: "Посмотри, милай, мой детородный член, а то я ехал на бричке и что-то меня растрясло". Доктор велел раздеться, осмотрел то, что просил пациент и, хорошенько отмывая руки с мылом, изрек: "Так скажите вашей этой бричке, что она шлюха. У вас, уважаемый, трипер."

Цадик Эзра пробовал вразумить Натана. Из нудной тирады цадика можно было понять, что Натан безнравственный человек, оскорбляет людей и портит детей. Потом Эзре пришлось не раз пожалеть о своих нравоучениях — Натан сделал цадика мишенью для своих хохм, которые пошли гулять по городу.

Подвыпивший Натан на свадьбах принимался за бедного Эзру, который, конечно, сидел за столом среди почетных гостей.

"А вы знаете, как Эзра бросил на произвол судьбы своего брата Сему, который бежал в Одессу и стал бендюжник, балагула. Сема без эзриных благословений имеет свою фуру и лошадь, там добрые люди в общине помогли. Семик ходит в синагогу. И когда там построили новую синагогу, именно Семину, как большому силачу, доверили перенести тору из старой синагоги в новую. Ихний раввин просил Семика сделать это торжественно, нести тору через весь город на вытянутых руках. Раввин спросил Семика, может ли он это сделать. Семик обиделся: "Вы что, меня слабаком считаете? Я с одним плечом пианин таскаю на третий этаж, а такое говно не донесу?!"

Гости сказали Натану — "это уж слишком!" Цадик Эзра обрушил на голову Натана ругательства. Натан отвечал: "Не бери меня на понт! Развел такую понтяру!.. Лучше вспомни, как Семик тебе говорил еще пацаном — "такой маленький и уже еврей... пархатый!" А ты ему говорил — "каждый шванс имеет свой шанс". А ты ему не дал шанс..."

Пришлось Натана выпроводить "на свежий воздух". Солидные люди просили Натана "знать меру".

Потом Эзра, на воздухе, предложил Натану: "Ну дай я тебе заплачу, только оставь в покое мою старую голову!"

Натан лишь попросил, чтобы Эзра перестал стращать бедняков в общине.

И надо же! Такое вспоминается, а мне нужно приготовить для моего заказчика мистера Когана факты. Пробуя написать генеалогию мешпухи Натана Циперовича, я невольно вспоминал и записывал его анекдоты и хохмы. "Крокодил" мог бы позавидовать веселости этого человека, конечно, если бы не побоялся прослыть сионистским журнальчиком. Десятки, может быть, сотни шуток, остроумностей. С этого можно было бы "жить и хорошо питаться". Натан говорил, что "цыгане — те же евреи, только веселые." Натан был ярким исключением.

Хм! Я подумал — стоит ли все это рассказывать католику Когану? Разве он почувствует, поймет? Ведь ему нужны "факты", а это жизнь, похожая на еврейский анекдот.

Человек и на пенсии имеет уйму забот, уже не говоря о душетрепке от родных истязателей, которые считают, что папа, дедушка их не понимает... И, Боже мой! Сколько еще претензий! Сердятся на мои, может быть, старческие замечания-понятия. А много мне надо — лишь бы у родных все было слава Богу.

. . . . . .

Несмотря на то, что говорили — у нас решен национальный вопрос — вставал вопрос, как еврею устроиться на приличную работу.

Хохмачи острили: пришел начальник отдела кадров к директору и говорит, что к ним просится на работу Циперович Исаак Абрамович, "между прочим, по анкете русский". "Знаешь, — сказал директор, — с такой фамилией и именем с отчеством давай уж лучше возьмем еврея". Нередко начальники понимали, что им нужен "умный еврей при губернаторе".

До войны были "чистки" и многих "вычищали". После войны не раз "реорганизации штатов" и тоже выгоняли. Тогда эти несчастные горько острили — "У вас уже была реорганизация? У нас была по алфавиту: на "А" Абрамовича — выгоняли, на "Б" — Быкова оставляли." "А у нас методом авоськи (знаете, такая сеточка для продуктов) всех туда "ссыпали" и трясли. Мелочь выпадала, крупные оставались".

После войны в Москве я встретил одного из сыновей Натана Циперовича — Евсея; теперь он называл себя Сева. Я его спросил — чем занимается? Евсей-Сева сделал загадочное лицо и такое, что можно было подумать, что он заправляет всей "местечковой промышленностью" — так тогда называли местную промышленность: - трикотажные, швейные, кондитерские и прочие фабрики, артели, где делало свои дела-гешефты немало евреев. Там использовалось "левое" сырье и так называемый "давальческий" товар-материал. Когда я все-таки поинтересовался: могу ли я как-то поучаствовать в делах Евсея-Севы, он сделал новый "намек", о котором мне представлялось думать, что угодно, даже, что он работает в "органах"... Одет Евсей-Сева был неплохо, по тем временам. Странно, но я тогда растерялся и не завел речь о его родителях, так меня расстроило недружелюбное отношение земляка, почти моего сверстника.

Только потом я подумал, что если бы он был в "местечковой промышленности", где деньги гребли лопатой и сажали тысячами, но все равно у многих не хватало сил себя сдержать, чтобы не кутить в ресторанах, шиковать на курортах — то, что в нашей стране называется "жировать", Евсей бы меня угостил, будь он из тех. Мы бы вспомнили его веселого папу, которого обожал весь город, и его добрую и красивую Броху — маму, ее вкусный "шыдер-выдер" и вообще, поговорили бы "за жизнь"... Но Евсей попрощался, как метеор...

То было время "коммерческих" магазинов и ресторанов, где все было, но стоило очень дорого; начальникам выдавали лимитные книжки с талонами; талонами оплачивали 30, 50 процентов съеденного и выпитого. Потом, в 1947 — денежная реформа (меняли сто рублей к одному новому) и отменили карточки на все. Вроде бы неплохая начиналась жизнь. Открывались не только пельменные, сосисочные, но и рюмочные. Не поверите, за рубль вам давали рюмку водки и бутерброд. Удивительно, но пьяных было мало, не то что потом, в эпоху

брежневского "развитого социализма", где все для человека; все смеялись, знали этого человека. В "рюмочных" крепко наживались.

Так позже я узнал от кировоградцев, которые уже обосновались в Москве, о жизни Евсея-Севы Циперовича.

Представьте себе, входит в небольшую рюмочную солидный представительный мужчина "в очках и шляпе", заказывает буфетчице — "сто грамм и типовой бутерброд с колбасой". Буфетчица удивилась: "Типовой бутерброд?" Переспросила, что это за "типовой"? "Какой у вас в меню", — пояснил посетитель и указал на вывешенное меню.

Буфетчица постаралась поточнее налить сто грамм водки и подобрала бутерброд посвежее. Рассчитавшись, посетитель отнес свой заказ к столику. Усевшись на стул, достал из портфеля мензурку с делениями и вылил в нее водку. Буфетчица, облокотившись на стойку, наблюдала. Посетитель достал из портфеля стеклянную палочку с загогулиной, и опустил в мензурку, взболтал и, посмотрев на просвет, достал блокнот и стал что-то в нем писать. Буфетчица обомлела. А когда посетитель достал еще и маленькие весы, стал отдельно взвешивать ломтики колбасы и отдельно хлеб, буфетчицу затрясло и она поспешила за перегородку к заведующему; зашипела: "У нас ревизор! И, видать, дотошная паскуда!"

Заведующий из-за занавески наблюдал, потом вышел в торговый зал, прошелся "просто так", сделал буфетчице знак и она направилась к двери, закрыла ее и вывесила табличку "закрыто".

Заведующий подошел к столику и спросил у неожиданного "гостя" — "вам что-то у нас не нравится? — указал на мензурку. — Можно заменить." Посетитель, словно глухонемой, не отвечал, не замечая заведующего, достал из портфеля пузырек и вылил в него "сто грамм", потом стал заворачивать в чистые листики бумаги отдельно хлеб, отдельно колбасу. Заведующий взял стул и сел напротив — "А договориться, как порядочные люди, разве мы не можем? По системе абенамунес?" — Еврей заведующий узнал в нем соплеменника.

Посетитель не ответил, спрятал в портфель "улики". Заведующий решил действовать — "Зачем такому симпатичному человеку складывать в свой портфель всякое дерьмо? Для хороших людей всегда найдется что-нибудь особенное." Посетитель был невозмутим. Заведующий сделал знак буфетчице. "Не откажите в удовольствии выпить с вами в честь моего дня рождения..." Едва успел договорить, буфетчица поставила на стол поднос с натюрмортом бутербродов, бутылкой коньяка, рюмками.

Посетитель уперся в собеседника пристальным взглядом. Заведующий успел наполнить рюмки коньяком. Вздыхая поднял рюмку и гость, рюмки их сблизили — "Вы не пожалеете..." — прошептал заведующий, подождав, пока выпил гость, выпил и сам.

Оба уплетали, поглядывая друг на друга. Заведующий снова налил, говоря: "А ту дрянь... из портфеля лучше вообще выбросить". Гость

не откликнулся на предложение. Тогда заведующий встал, взял со стойки увесистый пакет и положил в портфель "гостя". "Разве я у вас что-то прошу? — Посетитель только поднял плечи. — "Что вы! Что вы! Конечно, вы ничего не просите" - Заведующий опустил сверток в портфель и вынул "улики".

Гость вздохнул: "Что вы со мной делаете?..." "Все хорошо, все просто отлично... Потом мы поймаем для вас такси..."

В Москве "функционировало" сотни рюмочных, сосисочных, бутербродных. И редко какую из них Евсей-Сева Циперович не посетил со своей"ревизией". Представляете его "заработки"?

Конечно, я при этом не был, но наш земляк так красочно рассказывал о том, что услышал на суде. Как вы понимаете, Сева не мог не попасться органам. И, потерпевшие вынуждены были выступать на суде, как свидетели. Им пришлось подтвердить, что "посетитель" ни кем не представлялся, ни за кого себя не выдавал и ничего не просил, но так уж сложилось, что надо было откупиться... А Сева заявил:

"Не меня, а их нужно судить. Меня нужно благодарить, что вывел на чистую воду поганых лавочников..."

Ну, вы видели! Какой разоблачитель-пройдоха из нашего города. Как он показался не похож на своих родителей — веселого Натана и добрейшую Броху. Счастье, что они не дожили до такого позора. Я подумал, что если бы Евсей-Сева уехал в другую систему, наверное бы, ворочал большими деньгами. Только не подумайте, что я хочу показать: теперь дети "такие", раньше были лучше.

Кстати, вспомнил о семье знаменитого в России владельца фирмы "Чай Высоцкого". Рассказывают, что папа-Высоцкий пришел обедать в ресторан и потом дал официанту чаевые — рубль, большие деньги по тем временам. Так официант недовольно повертел этот рубль и говорит папе-Высоцкому: "Вчера, между прочим, здесь обедал с компанией ваш сын, так он мне дал "на чай" четвертак (двадцать пять рублей). А вы ведь сам господин Высоцкий..." Горестно покачав головой знаменитый чаеторговец изрек: "Милейший, но ведь у меня нет такого папы..."

Отцы и дети и вечные перемены морали и вечное непонимание.

. . . . . .

Елена Кацюба

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СЕВЕРНАЯ ВЕНЕРА

ВЕНЕРА — кто ей РАВЕН?
В нее вся ВЕРА.
НЕВА — речная ВЕНА —
ей жизнь на севере дала, удочерила
и НРАВ и НЕРВ переняла.
ВЕНЕРА — ВЕЕР тайн.
Ей на АРЕНЕ РЕВ сражений за нее
и вид ужасных РАН
не страшен.
Но черный ВРАН
на белое плечо уселся.

МЕХ

Из мертвых животных одежда
отяжеляет спину,
тянет в темную нору
зализывать последнюю рану.
Лифтовый ужас, лестничная боязнь
забирается в позвоночник,
растягивает вкось
уголки глаз,
из-за спины
через сны
просачивается в плоть.
Прежде нежели стал мех
в мир иной ушел зверь живой.
В нем нет зла,
но заметна дрожь,
когда мех
чувствует на спине снег,
но отряхнуться не может.

АУРУМ

У бетонных домов золотые окна
у подъемных мостов золотые цепи
мед хранится в бензольных кольцах
они звенят — день-день-день-
ночь,

В колодцах зрачков золотые точки
в колоннах авто золотые фары
высокой октавой
высокооктановый
поет бензин,

Под платьем у женщины золотая кожа
под кожей у мужчины бронзовый тигр
в клетке грудной — легкие — птицы
химия дыханья — кислород — углерод,

В кошачьих глазах селеновые луны
сердце в подворотне громче шагов
золото для сердца
тяжелый металл...

КАПИТАН

Неведомый капитан корабля дозора
взглядом оглаживает простор
Рост его соразмерен мачте фок
фокус его бинокля
сосредоточен в местах катастроф
Ров синевы зеленой
кров тем
кому дом —
дно

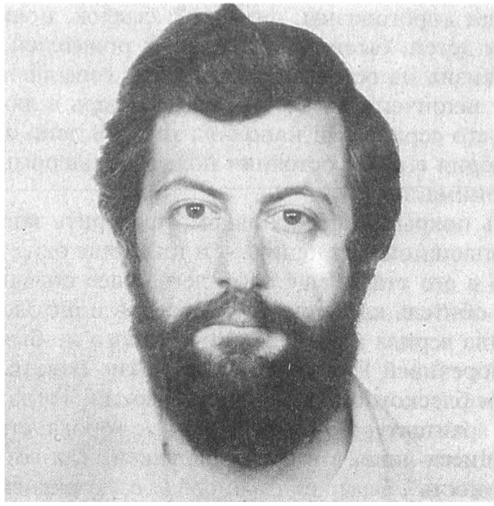
Капитан осторожен в своих отраженьях
он идет над видимой глубиной
ориентируясь по карте
системы кровообращенья
Волны вспенены языками на восток
крови ток
ловит волновой пас
сбивая компас
на полнолунье

В руке у капитана стакан
буря бродит в граненом стекле
но капитан
укрощает бурю одним глотком
буря теряя форму стакана
принимает форму души океана
на дне
где в темноте невозможной земному зренью
регенерируют реи
пломбируются палубы
затягиваются в бортах пробоины
срастаются снасти и паруса
пока не вострубят на все голоса
раковины из глубины

А когда корабли восстанут
их станет
больше чем чаек
больше чем ангелов отражается в куполах
но приливы
притянутые луной
выплеснут их за пределы земного света
где в звездной пене летит комета —
капитан.

ИЕРОГЛИФ ТИГРА

Пластику ветки перебором позвонков повторяя,
графику зарослей на себе несет.
В лунораспаде мандарина ночи на фазы
фанза луны четырехоконна.
Утреннее разумение без ночных опасений —
что?
Следопыт тропы, старатель обзора
горизонт сводит к вертикали зрачка,
пока
ветер,
листаемый летящими плоскостями,
ежится иероглифом робости
над прописью
свежеокруглых следов.



Игорь Шевелев

ИСТОРИЯ ПОЛИФЕМА

Рассказ из серии "Жизнь идиотов"

Это было счастье. Остров, море, деревья, раскачиваемые ветром, трогательная послушность стад, небо в одних и тех же белоснежных барашках, бегущих за горизонт в западную страну совсем уже вечной ссылки. И заходящее в предветренней красоте солнце — круглый третий глаз этого открытого в божественность мира.

Полифем не жалел об участи, постигшей его после переворота. То есть, конечно же, он,как все интеллигенты, приветствовал реформы Кронида. На митинги не ходил, но волновался, участвовал в выборах, сейчас даже вспоминать стыдно. Все рухнуло, как и было предусмотрено первоначальной судьбой. К счастью, и в депрессии наступает пресыщение, переходящее в мудрость.

Чтобы привыкнуть к своему положению, циклоп должен описать его своими словами. Очертить круг понимания. Вжиться в ситуацию, которая его постигла. И только потом жить на самом деле, сладко внушая однажды увиденное и понятое сердцем.

Так и Полифем начал не с натурального хозяйства, как Робинзон Крузо, а с описания идиллий. Какими мелкими показались всеобщие

стенания насчет дороговизны, лишений, ссылок, ночных расстрелов, пыток, потери детей, быстрого отмирания родителей, нехватки продуктов... Его жизнь на острове была округло совершенной, по-своему безмятежной, законченной. Он мог идти теперь в любую сторону, и всюду билось его сердце. Он наполнял каждый день описанием этого дня и тем доводил его до состояния полноты, плеромы, тихого созерцательного понимания.

Оставалось покрыть картину лаком, проверить запятые, перепечатать, сделать сплошной пагинацию — и тогда еще одна нетленная овечка появлялась в его стаде, еще одно легчайшее облачко заваливалось за горизонт в обитель классических образцов и антологий.

Мама всегда верила в его особость. Никого не было умней, начитанней, красноречивей Полифема. В их дикие (как им казалось) времена и с таким блеском окончить юридический! Тогда же существовала "бумажная архитектура" — великолепные города, страны, культуры, эпохи, остающиеся лишь в ворохах чертежей. Так вот он создал "бумажную законность". Завершенный свод безукоризненно корректных отношений внутри космоса.

Полифем знал, что этот круговорот правил, словесной оформленности, законченной осмысленности мира был его и только его компетенции. Никого просто не было ни на земле, ни в эфире, кто мог бы его заменить. Его и так звали "циклоп закона".

Он уже консультировал правительство, те власти и Силы, которые держали золотую цепь. Он ночевал на работе, чтобы ничто не отвлекло его от сладостной работы мысли как устроить все наилучшим образом. Скажем, как предусмотреть абсурд. Включить в законы вероятность, непредсказуемость, точку бифуркации. Все знают, это невероятное чувство понимания всего на свете, когда ты в полной мере творец и лишь пересчитываешь гармонические сочетания.

А теперь представь, что ты был извлечен на свет из небытия, из тартара, где бесплодно протшли твои лучшие годы. Что все речи и завитки логических систем были до последнего словечка продуманы и прошептаны во времена, когда казались безумством. Что тебя вдруг поставили перед публикой и стали платить гонорары, прислушиваться, звать светилом эфира. Что должны были вот-вот дойти руки до создания словесного цикла — округлого как шар, изменчивого как время, целого как ты сам.

Понятно,что все молились на Зевса.

Полифем засмеялся. Время доить милых козочек. Проверить сыр. Проветрить шкуры. Записать в дневник случившиеся мысли. Вспомнить и занести в фолиант стихи на каждый день. Зарисовать закат. Панораму неба.

Нет, он не раскаивался в своей дурости. Думать — это так естественно, никто и не предполагает здесь ловушки. Ни логика, ни сердце не подскажут вам ошибки пока не придет ее время.

Гораздо приятнее думать, что ты не ошибся. Что делал все, что в твоих силах. Что награжден покоем и внутренним совершенством. Что свой остров — самое большое счастье, которое может быть даровано. Остров, где не ступают чужие.

Он мог позволить себе быть настолько странным, чтобы не иметь с этим божественным миром, отвергающим его, ничего общего. Он выдумает и запишет все заново — как оно есть на самом деле.

Полифем шел к козам и вдруг подпрыгнул, что земля внутри тряхануласъ, он сам слышал. Опять Галатея будет недовольна, что никакой солидности, подумал он. Ну и черт с ней! Зато сил до фига.

Он еще устроит им почечуйку!

Подоил коз. Сходил проверил своих баранов. Есть что-то успокоительное в пастырстве и миссионерстве. Полифем всегда понимал бога Гелиоса. Ходишь себе сверху, машешь прутиком. Как бы ты и в самом деле самый умный, если все видишь. Недаром у них такая родственность взглядов.

Только считается, что Гелиосу повезло, а ему, Полифему, не очень. Не такая, мол, профессия, без которой, хоть тресни, миру не обойтись. Ну что тебе словесник? Земля что ли остынет без твоего многоречия? На самом-то деле остынет, только не сразу. А там, думает любое правительство, нас только ищи-свищи! Мы - практики. Нам результат сразу подавай. Без антимоний.

Неужто они правда не видят, как прискучнел Гелиос при новой власти, как играть перестал, разве что на Пасху, да и то, год от году все реже...

Галочку сегодня нигде не видно. Опять, небось, крутит эроты с этим беднягой недоделанным...Может, оно и хорошо — на него сегодня нашел стих чувствовать себя обиженным и несчастным. Доброе творческое настроение. А вертелась бы под ногами, того и гляди, послал бы ее в какой-нибудь грот... Или к жемчугам, как возвышенно выражался достойный Венечка Ерофеев.

Да, в свое время он, Полифем, производил впечатление на дам. Сам он не обращал внимания, но мама говорила. Перспективный советник правительства, модный ритор, пострадавший в репрессиях интеллигент. Его печальный и единственный глаз, ушедший в себя от прозрений и начитанности, был, говорят, неотразим для тонкого женского пола.

Его поразило, когда Галатея отправилась за ним в новую ссылку. Конечно, она жила тут неподалеку, но не отвернулась ведь, как остальные. Только преувеличивать не надо, — чужое совершенство нелегко выносить, когда оно всегда у тебя под боком.

Замечательная девушка. Когда было настроение, Полифем любил слушать ее длинные умные рассуждения о жизни. Иногда сам вдохновлялся плетением словес — сердце разыгрывалось, ум бурлил, сам себя заслушивался. Постепенно затихал.

Она все больше любила мистическое, таинственное, новая Морелла Эдгара По, как называл ее Полифем. Все лучше, чем бараны и козы.

Нет, конечно, она не претендовала на особое к себе отношение за такую многотерпеливость к несчастному ссыльному, который ведь мог и трактоваться как обычный неудачник с тяжелым характером. Но и тот минимум галантности, такта, участливого отношения к себе без которых любая нимфа просто погибает, переставая быть таковой, она ведь имела право требовать.

Полифем, однако, впадал иногда в такую мрачность,так взрывался на ее невинные замечания и просьбу прояснить свое отношение к ней, крыл ее такими обидными выражениями, что она в слезах, не зная, что делать, как относиться к недавним его объяснениям в любви, бросалась с разрывающимся сердцем вон, забивалась в пещеру, долго-долго плакала, скорчившись, чувствуя себя не просто несчастной — растоптанной.

Полифем все это записывал в тетрадку.

Словесность страшная штука. Ты не просто одинок своим пониманием. Ты еще счастлив тем, что одинок.

Услада, сливающаяся с соблюдением чести и собственного достоинства. Изгой не торгует собой. Можно обрубать бесполезные разговоры и играть на свирели. Пусть она считает, что это он так жалуется на жизнь с ней. Его не будет.

Нервы иногда не выдерживают, это правда. Зато глаз по-прежнему видит все. Соединив мысль в мозгу с химерой зрения. Круглый как шанкр панорамный зрак. Красиво само по себе.

Но когда вдумаешься, что было, что есть, что будет — тошно, конечно.

Как хорош мог бы быть мир! Умносплетенный, протяженнословный, составленный из мельчайших существ, обрастающих смыслом по мере самоуяснения друг другом. Не для того ли, кстати, и были придуманы мизерные человечишки, мельчайшие из разумоподобных, сложивших внутреннюю вселенную?...

Почему все пошло прахом? Где изъян?...

Полифем не сомневался, что прирост и размножение умного вещества — объективный процесс, который не остановить. Слово самовоспроизводимо, передается как чумка, кристаллизуется внутри нашего существа, вытесняя нечистую плотскую грязь в эфир. Вот она там и стала питательной средой для олимпийских проходимцев!

Он вышел из пещеры подышать свежим воздухом. Волны прядали к ногам. Он-то, Полифем, под защитой стихий, на которых стоит земля. Отец-Посейдон неутомим, мрачен, безостановочен. Их корни далеки отсюда, в странах заката, ночи, той, оборотной стороны видимости. Вынь эту подпорку, попробуй, Зевс, чтобы все рухнуло туда, где нельзя ничего представить...

Вечер был теплый, а все равно по спине прошел озноб. Братья называли его "философом". Тем, кто рассуждает о пределах и о том, что за пределами, о том, чего нет.

Но вот, давай подумаем об их поколении. Что надо было сделать с теми, кто всех сильней, чтобы они безропотно пошли в лагеря уничтожения? Как заморочить мозги чередованиеи надежд и отчаяния, чтобы предчувствие замогильного покоя назвать стоической мудростью?

Не то же ли происходит и с ним?

Он принюхался к окружающему его. Всмотрелся в себя. Какая-то мыслишка как мышь пряталась, юркая, в исподлобье, не схватишь, не вытащишь на свет.

Что-то было не то.

Хорошо, но циклопа с одним, круглым и всевидящим глазом, к тому же печальным, загипнотизировать невозможно.

Он тем и отличается от всех прошлых, нынешних и любых правительств, что видит их насквозь, отдавая во всем себе отчет.

Мир прекрасен в своей тишине, шорохе волн, теплой животной доброте. Но не то ли это ощущение мгновенной полноты. за которым только вечный ужас?

Какой-то изъян был спрятан за всем этим.

Полифем был все же интеллигент. Иначе откуда бы пришло ему в голову, что это, наверное, он виноват в мировом непорядке. Это он недоплел словеса в единую живую сеть закона и молитв, которая не дала бы — по преданию — проникнуть в мир всякой нечисти.

Но он еще тут. Он еще жив. Словарей, правда, нет под рукой, и библиотеки он лишен, но есть память и зрение. Он довершит работу.

Полифем вскочил на ноги. Главное, утроить бдительность. Он знал, что наверху в курсе каждой его мысли и наверняка примут свои меры, чтобы нагадить.

Еще во время Урановых репрессий он привык скрываться в земле и от нее же питаться. Правительственные кабинеты, вечная напряженка, мандраж перед риторическими выступлениями нравились Полифему гораздо меньше. Коридоры власти напоминали кишки собственного брюха, когда в минуты расканья с омерзением всматриваешься в себя. Гораздо приятнее обустроится и замкнуться в пещере.

Несколько картин, восходящих еще к баснословному собранию герцога Лейхтенбергского, придали его жилью уют и изысканность. Крепкие запоры и тройная система безопасности, чувство, что наконец-то тебе тут ничего не грозит. Кроме того, глаз фиксировал все окружающие изменения.

Со временем устроил просторные помещения для скота здесь же в привратном углублении. Во-первых, злоумышленник обязательно на них наткнется, подняв шум. Во-вторых, стада дней своих и оконча-

тельных трудов, имея рядом с собой, не обретаешь ли тем сверхъестественный покой?

Галатею сюда не пускал. На берегу у них был домик. Гуляли. Она приходила к нему, когда он, окруженный своими стадами, играл под огромным беззевсовым небом на свирели. Когда кончал играть, шли на холмы или опять к морю. Иногда ему хотелось гулять с ней голым, но это было стыдно, нельзя. Он пел ей, читал стихи — по-старинному, немодно, завывая, даже смешно. Строили планы на будущее. Если их оставят в покое. Полифем откроет школу наяд — музицирование, танцы, лирическое пенье. Так и назовут: "Воспоминание о Златом Веке". У Галатеи, он считал, был необыкновенный вкус. У Нерея, отца ее, была замечательная коллекция голландской живописи, собирались музы, Гендель почитал за честь дирижировать на домашнем концерте, да и вообще, кто такой Гендель...

Полифем гордился, что у него такая подруга. Сколько раз он увлекался ей, развивая свои теории, пронзающие верхние и нижние миры нанизываемых ученых слов. Ей было интересно!... К тому же она питала любовь ко всему таинственному, потустороннему, близкому к смерти. И это без всякой девичей расслабленности, с поразительной цепкостью ума и запоминанья.

Превыше плотской связи с ее ладным, легко возбудимым, играющим тельцем Полифем ценил редкое душевное соответствие. Его не покидало чувство, что он видит всю ее нутро, — она не стеснялась рассказывать самое тайное, сокровенное, даже догадываться вместе с ним об этом тайном. И все в ней было кстати. Даже по нужде она с удовольствием ходила при нем, зная, что это ему приятно как знак абсолютного доверия друг к другу. И то, что он вставлял в нее, и то, что из нее выходило, было — ею, чистым галатееным сердечком, которое он ощущал как свое собственное.

И когда она полюбила прекрасного Ациса, сына здешнего пана, гукающего в леске, Полифем был счастлив не только за нее, но как бы и за себя. Он бы и сам с ними гулял, не разглагольствуя, конечно, а просто чтобы вместе, но Галатея не захотела, и правильно. Он вдумался потом в ее слова, и ему показалось, что он их понял. Он бы смущал юношу. Пусть привыкнет, и тогда Галатея расскажет ему о Полифеме. Да и сейчас, наверное, уже рассказывает. Если Ацис, слава року, окажется неревнивым, как они тогда будут счастливы! Даже загадывать страшно.

А пока Галатея будет держать его в курсе дела. Грешно говорить. но и времени больше остается. Он ведь, по сути, одинок как собственный глаз в стране маниакальной симметрии и парнокопытных. С Галатеей он нашел отдушину во внутренний мир. В сны. В рассказываемую жизнь. В мечты. В страстную жизнь организма. С братьями он общался совсем мало. Обосранные, как и он, киклопы Бронт, Арг и

Стероп занимались в своей кузнице тем, что они единственно и умели делать — ювелирной ковкой.

Мастеров, подобных которым свет не видывал, он, этот свет, и дальше видеть не захотел — упрятал под землю, в основание прочих ремесел. Но даже по сравнению с ними, несчастными, Полифем был лишенец. Он знал, что он мастер не менее их, но уж больно летучее было его риторическое ремесло, плетение многословное. Да и кому его слушать, кроме его бедных козочек и овец, и так вовсю терпящих от его избыточного и одинокого члена. Прекрасной-то Дамой, сами понимаете, не шибко злоупотребишь... Вот и разлеталась его умноизощренная словесность без плода и завязи. Кто он в итоге? Никто!

Так не из него ли, размышлял Полифем, — бога-духа, бога-слова, ходячего, круглоглазого логоса, не из него ли проистекает некий мировой дефект, внутренняя экзистенциальная трещинка: мыслит, а не существует?

Да, всех их стерли с земли, с неба, смахнули пыльной тряпкой с эфира. Не его одного. Не о том речь.

Не превратится ли теперь слово, питаемое вечной правдой, в мелкую пыль сиюминутного вранья? Не будет его, Полифема, и все будет дозволено. Говори, как диктует момент и хитрость, выбирающая пути опасения из почти сплошной начальственной облавы.

Страшно. Ведь все здесь держится лишь соответствием названного с его названием. Неужели они не понимают, что выигрывают в своей мелкой возне лишь собственную смерть и общую их детям катастрофу? Зачем же Прометей лишил их разума, наделив искусством? Лишил знания будущего, наделив иллюзиями животной надежды?

Полифем уходил в свою пещеру, не желая никого видеть. Галатея, конечно, не при чем, прекрасное в своей душевной наготе созданье. Но уж больно нервы у него в этой обстановке стали никуда! Можно сорваться. Лучше не рисковать.

Он сидел в гостиной, выложенной свежими травами, лавром, вьюнком, смотрел как бьется из земной глуби родничок, пульсирует, как незаросший мозг земного младенчества, вслушивался в непрестанное его журчание, успокаивался.

Млада еще земля, выразумнится со временем, будь что будет.

Ему ли, сыну Посейдона, "главному почвеннику", как иронически называют его дорвавшиеся до шпор и укоротка судьбы олимпийцы, ему ли, Полифему слышащему землю и небо, принимать к сердцу потуги временщиков! Да он скорей вечность переждет, чем договорится с этими эссовцами. Он читал последние номера их "Олимпийской Правды". Какие только лживые бредни они там не распускают о нем и его близких! Медузу Горгону — живой символ красоты Золотого Века назвать редкой уродиной!... Это — мать Пегаса, которого они сами же включили в новый состав редколлегии! Ни стыда ни совести. Мегера, одна из эриний, справедливейшая защитница, берегиня космической

конституции, уже названа ими завистливейшей каргой! И так о каждом! Про себя он промолчит, ибо достойнейших смешивают с дерьмом вчерашних шестерок, хамов и выдвиженцев. Хорош бы он был, смешавшись с их толпой!

После прометеевских реформ, если их послушать, уже и третий глаз выше переносицы могут иметь лишь чудовища. Неужели все, зная, как обстоят дела поистине, дадут себя заморочить, согласятся с дозволенным кретинизмом? Почему бы нет? Космические подонки всплыли с помпой в эфир, оттеснив аристократию на крайний запад, на грань тайны, небытия. Неужели они не поменяют законы, чтобы именно себя считать соком земли? Поменяют, конечно. Так зачем им правильная и регулярная словесность.

В таких внутренних монологах, возбуждающих печень, может проходить жизнь, если самому не ставить им предела.

Да, нарушен иммунитет космического организма. Предохраняющие распад существа репрессированы, убиты, объявлены вне закона, ими же самими и охраняемого... Ну так что. Будем укреплять собственную крепость.

Полифем делал в своей пещере потайные ходы, просторные залы и святилища вокруг открываемых источников. Словесный инстинкт вел его в криптограмму отрицательного богословия. Пусть Галатея думает, что он спит и бездельничает в своей тоске не у дел. Слух об этом донесется, конечно, и до Зевса. Особая, его олимпийского величества канцелярия, не дремлет.

Он же тем временем уйдет не просто далеко в глубь, запутав возможных преследователей множеством ходов, тупиков, ответвлений непостижимого плоскому официозному уму лабиринта. Полифем создаст новую науку. Та соединит назло Зевсу и его "премыслительной" пешке Прометею прошлое и будущее, отмершее и живое, корневище с плодом, ушедшим в обратную сторону.

Да, Полифем будет — Никто. И наука его будет для тех, кого нету на свете, где правят и согласны жить зевсоподобные.

И еще. Не будь он сын Посейдона, если не выйдет таким путем к внутреннему морю. Тогда и посмотрим как можно противостоять такой оппозиции.

Тайный город разрастался. То, что ни одна живая душа о нем не знает, тоже грело Полифемову душу.

Одноглазый, он видел своих будущих друзей и союзников: тех, кто чувствует его поддержку, даже не зная о ее существовании. Иначе не выживут.

Хорошая землица рассыпчатым слогом сильна. Быстрым соображеньем разнородных понятий, как говаривал покойный Александр Сергеевич, что и способствует объяснению оных.

Это другие пускай затверживают казенную жизнь, так что и не пробить не земную кору, которые они же называют твердью, небом, потому что ничего больше им и не видать.

Она же есть виртуальность, возможность, один из бесчисленных вариантов разгоряченного творца, который, посмотрим еще, станет ли фактичностью, которую поспешили тиснуть в свет Британского музея зело эмпирические англичане. Пусть их...

Мы люди апофатические, бормотал Полифем, отбиваясь от копания в мнимостях, так что получалось: "апп-пфф-фатические". Все отрицаем из наступающего ничтожества, чтобы добраться до Бога настоящего, как бы и трансцендентного, — это "не то" и то не по нам, а уж Его оскорблять этой гадостью, так просто язык надо вырвать. Ведь вот насмешка какая: глаз у людей этих Зевсовых — два, а язык — один. А надо прямо обратно — глаз чтоб один, зато языков два, ибо такова истина укладывающаяся, между. Одним языком ее никак не выразишь, вот ерунда и получается, вранье, разврат, вращение языком, новомодное оральное почмокивание, о котором под большим секрететом рассказывала ему его бесхитростная невинная Галатеюшка.

Но поскольку язык все-таки один, и даже собеседника не найдешь в ссылке, то одна лишь музыка способна пока высказать Бога и то, что в нас с ним связано — немое жизненное влечение, которое стоит нами самими за всеми нашими высказываниями, уж он-то, красноречивейший,об этом знает точно.

Корабли приходили нечасто. Их ждали всегда с нетерпением. Кто за чем, а он являлся за журналами, книгами. Старая мучительная привычка к чтению. Читать эти новомодные идеологические бредни, из которых так и лезли ослиные уши, становилось все невыносимей. Анализировать, издеваться, иронизировать, если не видишь просвета, невозможно. Психоанализ безвыходности суть шизофрения. Ну и конечно, Галатеины: "Ты не видишь, кого печатают! Почету ты не пошлешь?" — добивало окончательно.

Зато тем дальше он скрывался в своем подземном логове. Тем больше укореплялся в здоровом творческом, полном сил, энергии, куража отрицании мира сего.

Его подспудный вертоград принимал величественные очертания третьего мира. Ни жизнь, ни загробье. Тайная отдушина, подбрюшье бытия, полая уравновешина, чтоб мир от греха не перекурвился и не сковырнулся — выдюжил на плаву в небесах.

Чем дальше от людей, тем больше ему нравилось. Пространства получали спокойный уравновешенный характер с изящными предметными подробностями взятых в синтезе искусств. Даже стыдно было: на свете все так хреново, а он тут себе любуется. Но, право, как все изящно вымудровано, — миллионы лет искусной работы художника, выправлявшего земную бездарность, выковыривавшего каждый изгибчик тени того, что там действительно великолепно. Ювелирная работа инаковости. Полифем не верил своему счастью — неужто дей-ствительно нашел себя? Не зависит от этих подонков.

Тот корабль пришел не по расписанию, и журналы привез такие старые, такие провинциальные, что, можно считать, напрасно ждали. Людишки зато просыпались такие беспокойные, что он прямо растерялся.

Он сидел на своем холме, играл на флейте. Галатея, он знал это, слушает где-то внизу. Когда он играл, она почти всегда плакала."Ты до чего-то достанешь невозможного. О чем я сама в себе не знаю..." — говорила она красиво, как стихи, которые писала, лежа обычно на волнах и глядя в стремительное всеусасывающее небо. А, может, сидела со своим забавным поклонником. Хороший парнишка. Плохой ее не полюбит.

Эти морячки, сразу признаемся, больше походили на разбойников. Но поскольку хлипкие, Полифем на них внимания и не обратил. Главарь их возле него все крутился. Ночевать им вроде негде было. "Ребята, хотел сказать им Полифем, играя на флейте, качая в такт головой и смешно тараща глазом, — ребята, здесь у нас юг, ложись под кустик и отдыхай. Но потом стало стыдно. У самого-то у него есть дом, а он их еще умеренности учить будет. Да, конечно, тепло, но уж не ему в этом их убеждать.

Главный их стал говорить с Полифемом. То об одном начинал, то о другом. Искал, что интересно одноглазому великану. Полифем бы не сказал, что он был начитан. Нет. Но такой, знаете, остряк-самоучка. Впрочем, своим спутникам он виделся никак не меньше Аристотеля.

Полифему пришло наконец в голову, что это ведь новое поколение. То самое, для которого раньше Зевса и трамваи не ходили. Ничего не было и все. С голоду дохли. Это потом уже потихоньку из голода стали подниматься, из руин троянской войны, из неудачи аргонавтчиков. Мир ведь, по-ихнему, всякий раз сызнова начинается...

Ну что ж. Люди как люди. Навязчиво острословны. Туповаты. Да ладно, что ему, Полифему, до них!...

Негде ночевать, он их к себе позвал. Показал, где вход в пещеру. Конечно, замаскирован, и со стороны не видно, а чего они хотели? Он не стал объяснять, кому он друг, кому враг. Вообще вел себя немногословно, с достоинством. Они его с полной готовностью тут же стали шпынять как своего слугу. Естественно. Если не боятся, значит, хамят. Если делает добро, значит, дурак, и церемониться с ним нечего. Все просто. На уровне рефлекса.

Тут же главный их предложил "сыграть в шахматишки". Ну добро. Интеллект тогда свой покажи. Знание теории. Ничуть подобного. Одну партию слил, другую, третью, сидит,не смущается. "Вы не возражаете, я покурю?" Вальяжный пацан. Тут же, между прочим, овцы через коридор. И зелень свежую провоняет. Но долг хозяина: пустил,так терпи...

"Вас как, между прочим, зовут,милейший?" — "Герр Никто". — "Возьмите, если проголодаетесь, провизию в небольшом подполе. Там она дольше не портится. Сыр, я ручаюсь, вам придется по вкусу". — "А как насчет этого?" — щелкает пальцами и подмигивает. — "Не понял, простите". — "Ну как насчет..." — щелкает себя по небритому горлу. — "Ах это? Я не употребляю".

Никто дал знак одному из своих. Тот как начал из рюкзака одну за другой вынимать."Ну за встречу! Обидите! Обычай наш такой." — "Благодарю вас, но я привык обходиться молоком. Сывороткой, в крайнем случае". — "Ну, это прошлый век! Сейчас, можно сказать, другие нравы. Посидим, выпьем, поговорим. Узнаете, чем молодежь дышит. А нам,я уверен, ваши знания пригодятся. Вон ведь как все устроили. Картинка из говна".

Полифем присматривался: совсем другая порода. По сути, одно мясо, что твои овцы. Только гордость, говорить умеют. А так, пустышки. Вино пахло хорошо, ничего не скажешь. "Вы ведь музыкант, а артисту без этого дела никак нельзя!" — "Почему вы считаете, что артисту без этого дела нельзя?" — "Ну как же!"

И все на таком уровне.

Вдруг голова заболела ужасно. Давление, наверное. Или от болтовни этой. Отвык.

"Ну, со свиданьицем!"— Какой-то знакомый голос, подумал Полифем. В каком-то страшном сне что ли его слышал? Неотвязчивый. Или с людьми давно не встречался, отвык? Лицо плывет, мерещится, никак суть его не ухватитпь. Или нет сути? Никто, странное имя, у них ведь теперь ни фамилии, ни рода, ни отчества. Никто, и гуляй!

"Ну по второй. Первая колом, вторая соколом! Третья — пташечкой. Канареечка сама пойдет..."

Балагуры...Все у них легко. Земля вся к их услугам. Старых богов нет, новым на них наплевать, самим бы успеть что можно прихватить! Гуляй, рванина. Бери с начальства пример.

Полифем давно уже хотел уйти, спрятаться в самых дальних уголках, о которых они и не подозревают в своем насекомом простодушии, забыться и заснуть, но они все подливали, галдели о чем-то своем, новом, непонятном. Шумные, срамные. Кажется махнул рукой, кого-то зашиб. Закричали, замолчали, опять закричали.

"Мол-чать!"

Притихли.То-то же.

Свалился и захрапел. Тошно, ох тошно.

Они, пока он спал, вытащили бревно, закрывавшее загон с овцами и под песню: "Эх, дубинушка, ухнем...Сама пошла, сама пошла!..." решили избавить православный мир еще от одной течисти. Недобил старина Зевс их, ох недобил! Ну да они помогут...

"А-а-а-а!" — завопил Полифем, когда они, раскалив конец бревна в костре, с криком протаранили его единственный умный глаз, и он зашипел страшно, прижигаясь. — "А-а-а-а!"

Со сна Полифем забарахтал руками, сослепу, подавил десяток-другой мелких, растер между пальцев, сбросил противную тараканью жижу, еще, еще, только бы избавиться от боли!

Вырвал как соломинку бревно — сволочи! ничего не видно.

От его крика все сотрясалось на острове. Море сотрясалось так, что Посейдон-отец за голову схватился, почувствовал страшное. Небо содрогнулось. "А-а" — закричала, еще ничего не понимая Галатея. Братья бросились на помощь.

Они стояли вокруг пещеры, прислушиваясь. Он ведь так ловко ее замаскировал, что и не углядишь со стороны! Шибко умный. Может, во сне что-то увидел? Все от книг, от мыслей, от музыки этой в голове и мешается. "Что, что, Полифем? Что случилось?- спрашивали они наперебой, вытягивая бородатые головы, прислушиваясь — Кто там? Есть у тебя кто-то? Кто?"

"Никто. Это Никто!" — вопил Полифем, не помня себя. Страшная, страшная догадка, прозрение, возможное только со сна, со страшного ослепления, с несчастья пронзило его. — Никто!

Тот самый Никто, который приходит в мир ниоткуда. Которого не разглядишь, и предчувствие не помогло. От такого ли мизерного человечьего народца ждал он этой небытийной напасти!

Или сам он, Полифем, интеллигент из интеллигентов, последний из оставшейся плеяды, виноват в приходе этого Никто? Не сам ли он, Полифем, ушел из мира, вжался что было его циклопических сил — в глубину, чтобы новая Зевсова власть дала трещину, и в трещину эту все сошли, кому требуется избавление из этого безысходного нового порядка?..

"Полифем, кто там?" — кричали страшными голосами циклопы.

"Никто", — сказал он устало. — "Здесь Никто!"

"Кто?" — Они с ужасным напряжением прислушивались.

"Никто".

Слишком страшно он кричал за минуту до этого, чтобы сейчас вдруг напряжение и страх за близкого оставили их, и циклопы захохотали. Это была почти истерика. Они били себя по ляжкам. Приседали. Хохотали до колик. До слез.

Они спускались с холма, переговариваясь. Смех оставил их, и они вспомнили, что, по сути, никогда его не понимали. С чего бы вдруг ему так орать? Со сна? Последнее время он действительно что-то странный. Куда-то подолгу пропадает. Что ни говори, плохой признак. Если такие, как Полифем, мудрейший, многоглаголейший, потихоньку сходят с ума, то что будет с ними, простыми работягами?"

И этот истеричный смех, вдруг охвативший их, исчез без следа.

"Может, все-таки что-то случилось", — спросил Бронт.

Прислушались. Стояла абсолютная, даже чуть-чуть пугающая тишина. Пошли дальше. Все равно прислушивались. "Поли-фем" — сказал Арг. Тихо.

Насколько сразу стало четким, трезвым сознание, подумал Полифем. Подонки. Он привычной ощупью проверил запоры. Никто, так никто. Он согласен. Так все вместе и сойдем в обратную сторону Земли. Именно так. Он нашел формулировку, и это его порадовало доказательством давно известного.

Болваны. Они-то не ведают, что творят, но и он хорош. Забыл как говорил кто-то в детстве, как раньше им всем в роду прижигали третий глаз, то есть, собственно, говоря, не третий, а именно этот, единственный.

Прижигали, чтобы лучше видеть и соображать! Видеть уже совсем насквозь. Ибо прижигание этой чакры еще больше очищает ее!

Ладно, они сделали выбор за него. Впрочем,какие еще "они"! Понятно, кто все это совершил, совершенно не зная, к чему оно ведет.

Так. Сейчас полежать. Ноги дрожат. Напоили, отравили. Потом эта операция прозрения — Полифем сам удивлялся своему спокойствию, трезвости. Утром выпустит овечек на волю, пастись. Снаружи его пещеру, между прочим, никто никогда и найдет, это совершенно точно. Даже братья.

И тогда он берет, как это не противно, этих людишек с собой на расплод, и отправляется в путь. Э-э-э, а как размножаться? Надо подумать. После необычайной ясности в голове вдруг все опять закружилось, теряя нить.

Если люди есть наверху, то должны быть внизу. Это — раз! Жить им есть где. Два. Нужны бабы для расплода. Три. Или не нужны?

Он пошел к себе, закрыл их теперь с другой, внутренней, стороны. Вымыл запекшееся кровью лицо. И сам он, чудачок, хорош... Ну сам посуди, зачем же тебе в этом мраке обратной стороны — внешний глаз? Только отвлекает от наиважнейшего. Вот что значит — судьба! Сама все делает.

С наслаждением вытянул большое тело. Ничего не болело в предверии новых творческих дел. Хорошо! Наверное, лучше всего запаковать их в баул и отнести до некоего ответвления, куда он отныне, пардон, ни ногой! Пусть живут ветвь эволюции... Да дамы... опять забыл.

А хмель весь вышел. Спал спокойно. Будущая эволюция мира четко стояла перед ним.

Одиссея недаром знали многоспособным. Некоторые звали, что то же самое, способным на все. Команда надеялась на него в любой ситуации, и он действительно всегда находил выход. Неважно, что всегда на погибель. Это когда еще обнаруживалось. Нашел и на сей раз.

Зажгли паклю. Ворота к овцам были раскрыты. Бревно из запора было уже использовано в качестве "прижигающего".

Забили часть овец. Быстро освежевали. Старались не говорить. Было очень страшно. Особенно после того, что они так вдруг совершили. Он сам делал все. Они наконец поняли и стали помогать.

Быстро очистили шкуры. Мясо закопали в углу. Не до еды, во-первых. Во-вторых, зверь наверняка почует запах жареного. Без риска.

Теперь все самое важное утром.

На всякий случай так и лежали, накрывшись шкурами.

И второй способ, чтобы наверняка, это связать несколько овец вместе, и на ремнях удержаться под брюхом. Если первый способ не пойдет, Одиссей использует второй. Всегда должно быть несколько вариантов.

Во всю ночь никто глаз не сомкнул. Одна из самых страшных ночей. Овцы бились, визжали, толкались кучей, чувствуя кровь и мясо товарок. Духота, травы всюду. Казалось, сердце разорвется. Будто они в глубокой толще, и никогда уже не выйдут на свет, под небо. В глубокой, глубокой могиле. Или в жопе безглазого великана.

Он прошептал это друзьям и, несмотря на весь ужас, они забились в пароксизме истерического смеха. Темно как в жопе безглазого великана!

Когда великан наконец зашевелился, они все были уже в состоянии, когда непонятно, где сон, где явь.

Тот, видно, тоже был хорош после вчерашней пытки. Притащил какую-то бадью. Для них что ли? Нащупал дверь, сел у входа, подогнав прежде овечек. Стал их ощупывать. В сером свете утра, бледные, как смерть, они все же торжествующе переглянулись со своим великолепным капитаном. И на этот раз он все предусмотрел, думали они, не предполагая близость своего конца. Разве что не на этой прямой, а за поворотом...

Ощупывал, пропускал. Ощупывал, пропускал. Прошли все. Одиссей шел в середине. Только в самом конце, когда первые, сбросив вонючие, кровавые овечьи шкуры, уже бежали, оскалившись волчьи, к кораблю, кто-то не выдержал и дрогнул под рукой Полифема. Тот прижал пальцами овцу, и вдруг шкура с нее снялась. "А-а..." — только и сказал он, размазав несчастного по стенке. И следующего. И еще. Но это была уже настоящая овца. Остальные бежали, сломя голову, к кораблю, выбирали якорь, падали в траве, вскакивали, бежали опрометью, зная,что тут такое дело, и свои ждать не будут. И точно.

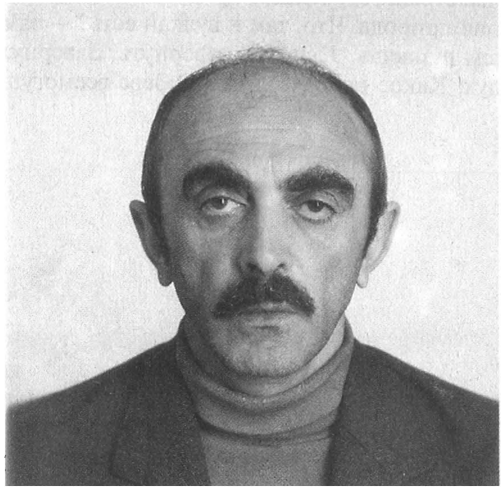
Гигантский слепой великан выпрямился на горе новой страшной горой. Принюхался к воздуху. Невероятная, сновидная картина. Они знали, что никогда в жизни не забудут ее, не зная, что очень скоро забудут все, что помнили. Высчитал направление бухты и, сорвав подвернувшуюся под руку скалу, обеими руками швырнул ее в корабль. Дудки, они еще не отплыли. Опять прислушался. От попадания в цель совсем другой звук. На берегу. Еще одна скала, но на берег. А Одиссей уже скомандовал им оторваться. Дай, Зевс, нам сил!

"Никто!" — застал торжествующе Полифем. — "Да здравствует Никто! Я ухожу!"

Ничего более страшного нельзя придумать. Казалось, он висит над ними. Роскошная природа. Что, там и вулкан есть? — заметилось Одиссею. Тьфу, о чем думаешь. Главное, завернуть. Завернули. Все.

Какой воздух! Какое небо! Солнце! О Зевс всемогущий! О!.. О...

5 января 1993 г.



Валерий Краско

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СРЕТЕНЬЕ

И. Бродскому

Скиталец по станам имен и времен,
Я — старец усталый, но не Симеон,
Хотя и поведано было извне —
На грани завета и бреда.
что мне
Не кануть в заустье ручья своего,
Пока не дождусь я себя самого.

Вошел на рассвете я —
но не во храм.
А в горы, где светел хорал моих ран,
Где в Веру ввергает святая душа
И опровергает, слепя и глуша,
Дорогу Предтечи в небесную тьму
Дорогой навстречу себе самому.

И там — над обрывом в рассвет Бытия —
Мария — бессмертная мама моя —
С младенцем, венцом бытия моего —

И на руки взял я себя самого,

И в это мгновение понял, скорбя,
Что замкнуто время само на себя,
Что все мы несметны в канкане своем,
Что все мы бессмертны, пока не умрем,
Пока верещим, исчезая в веках,
Мы — сами —
себе —
у себя на руках,
Но прежде, чем веки навеки смежить,
Должны мы — и выжить,
и жить,
и дожить...

Тяжелое бремя, высокий завет —
Я видел, что время утратило свет,
Я слышал, что эхо замкнулось, хрипя
Раскатами смеха, само на себя —

И мне, восходящему за облака,
Извне улыбался Младенец,
пока
Я шел умирать на вершину горы,
Отпущенный с миром в иные миры —

Из сна улыбался себе самому
И знал, что поведано будет е м у
Дожить до заветного, звездного дня —
До века, когда он дождется м е н я...

***

У Черноморья дали дуба
стихи: "Петренко плюс Петров
равняется Союз!" —
Багров —
на дубе том — союз ветров
и топоров —
что им Гекуба?...

Глядят в мирские дали тупо
антихристы антимиров:

идут направо — кровь пророчат,
налево — выгоду сулят...
Никто и ничего не хочет,
но все — хоть что-то, но хотят!
Никто и ни во что не верит —
ни в Русь,
ни в совесть
и ни в честь...

(Но — пошено Емеля мелет —
и хлебушек — не из америк,
а свой —
пусть дорогой, но есть!)

Листком — из Пушкина — прикрой-ка
свой стыд, измучившись душой...

(Летит — по бездорожью — тройка
из блох, подкованных Левшой,
ввысь — в небеса,
где ни в стихах нет,
ни в яви — крови и обид!..)

Здесь — чудеса:
здесь "Русь" не пахнет
нектаром грез и аонид —
в кошмарах "Памяти" дрожит
и тащит ножик из кармана,
когда вооруженный жид
ползет по скалам из тумана...

МЕНУЭТ

Призрак смерти неопровержим
В смерче лет, в круговороте морд их:
Мертвые — хоронят всех, кто жив,
А живые — воскрешают мертвых,
И уже почти неотличим
Призрак сна — от сна, в котором призрак
Отличает лики от личин
И венчает призом полупризнак.

Чувствуем отличие —
запор
Личности или понос двуличья? —
Только при наличии зубов

Или при отсутствии наличья:
Я жую — и, значит, я живу,
А сосу — увы, сосуществую
С нежитью, жующей наяву
Жизни трын-траву полуживую.

Я кусать, а не сосать привык:
Призовет беззубая кормушка
Пососать —
эзопов свой язык
Прикушу до крови,
потому что
Высший суд души — вдали, вблизи —
Лишь Рассудка челюсть молодая,

А беззуб — лижи или соси,
Только уж не задохнись, глотая...

***

Самая первая в жизни звезда
Кляпом обиды забита в уста
И обеззвежена —
самой сквозной,
Самою первою в жизни виной.

Самая первая в жизни тоска
Скручена, отведена от виска
И обезвезжена —
самой живой,
Самою первою в жизни женой.

Самая первая в жизни жена
Не обесснежена, не сожжена —
Аннигилирована с тишиной
Самой последнею в жизни женой...

Так замыкается жизненный круг —
Каином станет единственный друг,
А Одиночество — самой святой,
Самой последнею в жизни звездой:

Станет последней, крута и мудра,
Самая первая в жизни гора
И отзовется за вечной рекой
Самой последнею в жизни тоской,

Все же — на самой последней тропе —
Я и в тебе, моя жизнь,
и в себе,
И в обезбреженном небе найду
Самую первую в жизни звезду...

***

Закрываем усопшим глаза —
Чтоб от гроз наших слез не слезились,
Чтоб сосущие мозг небеса
В них нечаянно не отразились.
Занавешиваем зеркала
От соблазнов и схим отрешеньем —
Чтобы нас зазеркальная мгла
Не слепила своим отраженьем.

Закрываем глаза и на свет,
И на тьму — в полутьме полуверы,
Что умерят пожизненный бред —
Легкой смертью — молитв полумеры,
Полимеры химер — словеса:
"Гроб Любви — ни к кому не ревную..."

Закрываем умершим глаза —
Чтоб не видели тьму неземную.

Наталия Семынина

КАПРИЧОС

Рассказ

Столовкой припахивало даже в сенях черного хода, если можно было назвать сенями темный коридорчик, что выводил во двор. За долгие годы тяжелый дух казенной кухни вошел в сами стены, балки, потолок. Но при мысли, что из этой прогорклой полутьмы надо ступить во двор под жестокое азиатское солнце, зеленело в глазах и к горлу подкатывался ком.

Они приходили в столовую с черного хода, здесь выдавали обеды сухим пайком; не худшее место в городе, — бывший ресторан; не без хлопот эвакуированных художников приписали сюда. Сегодня в счет обеда им дали галушки в сыром виде — благословенные кусочки теста. Жена делала из них лепешки.

Мысль о галушках и о жене, такой же старой, как он, безропотно угасающей, привычно, но как-то тускло мелькнула в голове. Надо миновать ступени, также привычно отметил в уме старик. Ступени низкого просевшего крыльца были великим искушением на его пути. Ах, как хотелось опуститься на них немощному телу. Сесть, закрыть глаза. Забыться. Да. Блаженное забытье. Но старик знал, что из этих

грез нет пути назад. Стоит дать себе поблажку, расслабиться на минуту — и ты готов. Подняться со ступенек уже не будет сил. Идти, идти, не останавливаясь, шаг за шагом, медленно, но неуклонно продвигаясь, шаг за шагом, медленно, но неуклонно продвигаясь вперед, Идти. Сперва по знойному двору, затем мимо грязного арыка, мимо подножий уносящихся ввысь, далеких тополей в милостивой тени, но недолго, потом опять будет адская сковорода — пустырь перед кособокой мазанкой. Там его ждали.

Пустырь, тополя вдоль арыка. Этой дорогой он пришел сюда, дойдет и обратно. Туда и обратно. Так было третьего дня, неделю назад и месяц, будет и завтра. Будет? Но завтра — далеко, а далеко он не задумывал.

Он снова вспомнил о жене, о ее тревожном ожидании, страхе за него, но не почувствовал былого трепета, того толчка в сердце, который приводил в движение мысль, заставлял напрягаться его старые мускулы. Бедная тихая жена, испуганная раз навсегда, такая же одинокая, как он, слепо верившая ему. Он был ее единственной защитой и опорой. Как мог, он поддерживал эту тлеющую жизнь. Вчера это была перловка, сегодня — галушки.

Но несколько дней назад старик вдруг дал себе ясный отчет, что даже она, последняя привязанность его жизни (по старости он избегал громких слов), последняя привязанность отмирает в нем. Это заставляло его подниматься с узкого топчана, одеваться, выходить под нестерпимое солнце и идти? То, что сильнее чувства, острее памяти, — привычка. Она поднимала его, одевала, выводила на улицу, она двигала им, как заведенным механизмом. Тупая механическая работа организма. Все, что от него осталось. Кажется, это зовется любовью к жизни. Нет, то, что было его жизнью, было и прошло, оно существовало в прошлом, оно не принадлежало ему теперешнему. Тут даже не было осознания крушения, трагического итога.

Прошлое больше не обременяло его. Ни скорбными воспоминаниями, ни приливами раскаяния, ни тоской по несбывшемуся. Он не судил себя и не оправдывался перед собой. Притупилась боль потерь, и даже последняя утрата в долгой цепи невзгод уже не терзала мозг и душу. Его картины. Последняя утрата, горше которой и не придумаешь. Он был в той, давешней, жизни художником. Все его работы, все, что удалось спасти в кошмаре новых праздников и надрыве ударных будней, даже отверженные вещи двадцатых годов, поры его силы и зрелости, дружно облаянные критиками и недавними друзьями, уличенные в формализме, эстетизме, чуждой морали и прочая, но не преданные им, сбереженные, — все было брошено в московском доме. Не на произвол судьбы, старик не обманывался на сей счет — было брошено на погибель; он-то знал цену холста и бумаги в прифронтовом городе, он сам пустил на растопку отцовскую библиотеку в одну страшную зиму; он помнил гражданскую войну.

Инстинкт самосохранения и страх за жену погнал его в эвакуацию под горячие небеса. Старики захватили с собой то немногое, что было под рукой, то немногое, чем владели и что в силах были увезти. Сего хватило ненадолго. Впрочем, то был общий удел их братии, голодранцев-художников, по крайней мере многих из них. Но все они были помоложе, могли работать, как-то крутились. Где ему было с ними тягаться. Его тоже хватило ненадолго. Он устал бороться, цепляться за жизнь, он смирился. Он не знал, зачем живет, продолжает жить на белом свете, он уже не ждал от жизни ничего, ничем она не могла удивить его, и казалось, ничем больше не могла тронуть.

Только одно интересовало его — сводки Совинформбюро. С непонятным ему самому нетерпением он ждал очередного сообщения, раздражался, если ему не удавалось услышать его, очередное сообщение, внимательно вслушивался в названия отвоеванных городов, населенных пунктов. Старик не понимал себя, не понимал своего странного беспокойного любопытства; он, старец, не думал о будущем, не только о своем завтрашнем дне, он не думал о том, что ждет его страну, общество, знакомых людей, но следить за сводками военных действий, сводками той войны, в которой решалась судьба его страны, стало его потребностью. Почти физической потребностью. Старик приписывал ее тоже привычке. Он не подумал, что, может быть, это и было той оставшейся нитью, что еще связывала его с жизнью.

Кто-то поздоровался с ним, назвал по имени (кто-то из той, прежней, жизни, кто-то, кто знал, кем был тогда этот немощный старик), заботливо взял его под локоток, предложил проводить. Старик испуганно отказался. Откуда-то, как из небытия, вернулись на минуту прежние повадки, его гордость и деликатность, боязнь навязать себя, отяготить заботой. Или просто не было сил терпеть кого-то возле себя, поддерживать разговор, отвечать на чьи-то расспросы?

Справившись с новым приступом тошноты, старик качнулся вперед, шагнул, пошел к выходу, переступил порог и замер на верхней ступеньке крыльца.

Взгляд художника задержался на маленькой фигурке посреди большого двора. Двор был пыльный, пустой, вытоптанный, без травинки, всегда залитый солнцем, до боли в глазах; и на этой раскаленной земле, вдыхая запах горячей пыли, возился ребенок, играл, что ли. Мальчик был с непокрытой головой, что сразу бросалось в глаза. Что-то, близкое к жалости, шевельнулось в сердце старого художника. Он всегда не мог смотреть на детей без какой-то необъяснимой тревоги, страха за них. Верно, прежнее, каким-то осадком, остатком своим, все же жило в нем. "Ослы", — процедил он сквозь зубы. Неужели не слышали ничего о солнечном ударе? Старик подумал, что надо позвать кого-то, увести малыша с солнцепека...

Мальчик перемещался по двору, не разгибаясь и часто присаживаясь на корточки, что-то было у него в руке. Прутик, палочка? Худож-

ник не сразу разгадал игру ребенка, если только эти странные перебежки были игрой; он наблюдал за ритмичными движениями мальчика, в них безусловно была своя логика, и вдруг понял, что тот рисует. Во весь размах, во всю ширь двора. Старик не спускал с мальчика глаз, следил за ним взглядом, и забывшись, сел на ступеньку.

Дерзость малыша восхищала, он захватил все пространство двора, смело орудуя на этой площади как прирожденный монументалист. Его увлеченность мало походила на детские забавы, наметанным глазом старый художник отметил точность, выверенность движений мальчика, мастерские ухватки; это все нельзя перенять, да и у кого мог перенять рабочие навыки рисовальщика пятилетний ребенок. Это был дар. Сам того не сознавая, старик любовался мальчиком. Великий дух старых мастеров витал над детской головкой. Мастеров, штурмом бравших плоскость фрески. "Мы, бедные венецианцы, умеем рисовать только так." Экий Тинторетто. Слабая улыбка тронула губы старика. Маленький художник подбирался к нему, у его ног завершая свой рисунок. Удовлетворенно вздохнув, мальчик распрямился и через плечо глянул на зрителя. Взгляд его далеких светлых глаз безразлично скользнул по старику.

— Ты будешь художником, — сказал старик.

Мальчик стесненно отвернулся, опустился на одно колено, и прищурившись, стал разглядывать свое творение.

Проследив за его взглядом, художник наконец понял, что рисовал ребенок. Слишком увлеченный своими наблюдениями над юным Буонарроти, старик не присматривался к самому рисунку, старик и не глядел на землю. А тут вдруг он у в и д е л . Разрозненные детали собрались в единое целое, глаза вобрали всю плоскость двора.

— Лихо! — вырвалось у художника; давно позабытый трепет пробежал по стариковским жилам. И вправду — лихо.

Весь двор занимала фигура инвалида, одноногого инвалида на костылях.

Да, это был талант. Оставалось только поражаться зоркости взгляда, твердости маленькой руки. Как точно схвачена постановка фигуры, повисшей на костылях, зажатых под мышками. Мальчик рисовал то, что видел, наверное, не раз; в тыловом городе обычная жанровая сцена — одноногий человек, приостановившись, закуривает цыгарку.

Художник смотрел на детский рисунок, и ему все больше делалось не по себе, подобие суеверного страха закрадывалось в душу. Умудренность старости пасовала перед младенческой простотой.

Взрослому не дано т а к увидеть и т а к изобразить калеку, с такой ужасающей беспощадностью. Незамутненное око ребенка видит все в п е р в ы й р а з. Зоркий, но не знающий опыта детский взгляд. В рисунке не было гротеска, декадентского любования уродством, но не было и сочувствия, естественной человеческой жалости. Здесь не было

натурализма, этой оборотной стороны людской сентиментальности, рисунок путал своей эпической невозмутимостью.

— Да, брат, ты суров, — проворчал художник и не нашелся, что добавить в ответ на удивленный взгляд серых глаз.

На крыльцо вышла пожилая женщина, обойдя старика, спустилась вниз.

— Пошли, — сказала она мальчику.

Старик принудил себя заговорить с ней. Как он и думал, она оказалась бабушкой мальчика. Художник подметил внешнее сходство.

— Весь в меня, — довольно согласилась бабушка.

— И тоже не боится жары?

Как и малыш, бабушка была простоволосой, с гладко причесанной сивой головой.

— Мы сухоустойчивы, — отрезала она.

Вместе с внуком и дочерью она приехала в этот далекий южный город также из Москвы. Выходит, земляки. Отец мальчика был на фронте, в дивизионной газете, мать пошла на завод, внук на ее, бабушкиных, руках, — пояснила женщина, — ей тоже нелегко, пусть не думают, на бессменной вахте с этим чертенком; давно бы нашла работу, работы она не боится, все не тяжельше, чем с ним.

— Он будет художником, — повторил старик свое пророчество.

Бабушка деланно ужаснулась. И теперь-то сладу нет с его художествами. Бабушка пожаловалась на юное дарование, рисует все время, рисует везде, где можно и нельзя, всем, что под руку попадется. С карандашами туго, так в ход идет уголек, известка и, страшное дело, вакса, извел последнюю, берегли, можно оказать, на пожарный случай... Уже вышла неприятная история. Малыш разрисовал в свой рост все стены комнатушки, что снимала семья. И всего-то оставила его без присмотра на каких-нибудь два часа. Хозяйка теперь требует ремонта, а каково это им, двум одиноким женщинам.

— А что он рисует?

— Да вот этих, — женщина кивнула головой на распростертое у их ног изображение.

— Инвалидов?!.. И больше ничего?

— Бывает рисует ослика, собаку.

— А людей?

— Я ж говорю.

— Но здоровых, непокалеченных?

— Вот маму на днях нарисовал.

Неожиданно добрая усмешка смягчила лицо женщины.

— Смешно. С щекой подвязанной. У нее, бедняжки, флюс был.

— Значит, тоже инвалид?

— Выходит, так.

Художник в душе посочувствовал их квартирной хозяйке, представить себе только этакий капричос: всю комнатушку в рост маленького

человека опоясывает шествие одноногих, однооруких, безглазых. Мало она их у себя в госпитале насмотрелась, горемычных (бабушка успела сообщить, что их сквалыжная хозяйка сама не бедствует, на казенных харчах — медсестра), так и дома ей покоя нет.

— Пусть лучше рисует осликов.

— Ребенок. Разве ему объяснишь, — вздохнула бабушка.

— Но почему он рисует инвалидов? — допытывалоя старик. — Неужели ему нравится?

Бабушка пожала плечами.

— Нам пора, — сказала она, решительно взяла внука за руку и пошла прочь от старика.

"Почему?" Вопрос повис над полуденным двором, над сухой землей, над эпическим одноногим великаном.

Старик уже не видел его, трудно становилось удерживать взглядом размашистое изображение, контуры расплывались и терялись, туман плыл перед усталыми глазами; но старец как будто не замечал этого, как не замечал, что немеют ноги, вернее, чувствовать он чувствовал, но оно не могло отвлечь его от того, что захватило все его существо, что открывалось его внутреннему зрению...

Шествие однооруких, одноногих, спаленных, слепых.

Кто-то склонился над ним, чужое лицо приблизилось к лицу старика, его о чем-то спрашивали, старик не отвечал им, Нет, он не впал в забытье, он слышал над собой их голоса, слышал пустые сожаления, и их жалость казалась ему нелепой. В редкие минуты своей жизни, обычно их приписывают вдохновению, в редкие минуты у мольберта он так ясно видел, чувствовал, понимал. Но у него не было сил сказать этим людям: "Оглянитесь." Рисунок на земле взывал, как немой крик.

Шествие одноногих, однооруких. Как с т р а ш н о они непохожи на остальных. Смотри, смотри, не отворачивайся, не прячь глаза. Естественное желание не видеть, зажмуриться. Естественное? Ему, старику, передавался ужас ребенка, глухой, безымянный. Дети не знают таких слов, которыми можно выразить содроганье потрясенного сердца. Может быть, таких слов нет на земле. Есть только незамутненный взгляд ребенка. И запоздалое откровение. Дитя, безгрешное дитя свидетельствует о страшном грехе, Неискупимом. Эти юноши с обрубками рук и ног, эти вчерашние дети...

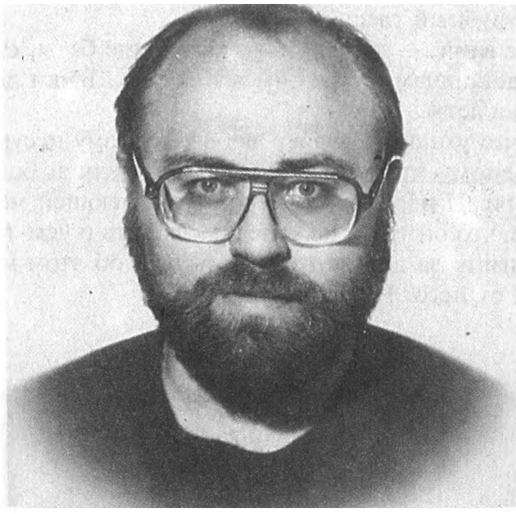
Туман стоял в глазах. Удушливый чад преисподней. Память устало подсказывала старые сюжеты. Хотелось отмахнуться от них. Наивные картины Страшного суда. Не то, не то.

Мысли теснились в голове, неслись, обгоняя друг друга. Он думал о людском безумии, о бесовской гордыне человека, о бесовском духе разрушения, преступной воле, уродующей все сущее... Вокруг были люди. Он думал о них. Страшный суд... Да что может быть страшнее того, что мы творим сами?! Что делаем с собой, со своей плотью и

кровью?! Доколе, чада света сего? Легко затоптать ребячий рисунок. Но он близко, трубный глас...

Что станет с вами, — думал он, — какие еще беды, страдания уготованы вам, счастливцам, оставшимся в живых. Ваши дети, что ждет их впереди. Ваши дети...

Он понял, что уходит. И вдруг любовь к этому несуразному, кровавому, прекрасному миру пронзила его последней болью, горечью последней потери. И вдогонку конечной тускнеющей мыслью мелькнуло сожаление, что он так и не успел рассказать о чем-то самом главном в нашей лизни, за долгие годы не успел, об этом мире, меркнущем, уходящем от него. Не успел...



Игорь Меламед

ТЕРЦИНЫ

Стихи

ТЕРЦИНЫ

...Ты — дождь ночной. Однако, ужас в том,
что жизнь твоя — лишь цепь освобождений
от пустоты — в свободном, но пустом

пространстве: от падений до прозрений
нелепый путь, стирание подошв.
Проклятый узел рубит только гений.

Тебе ж его распутывать. Твой дождь
отнюдь не Гебой ветреною пролит.
В который раз, прозревший, упадешь

туда, где о помилованьи молят.
Но руки не заламывают зря.
Так падчерицу мачеха неволит.

В рассветный сумрак двери отворя,
так женщину доверчивую наспех
целуют, за любовь благодаря, —

и тем к себе приковывают насмерть.

1983

***

Я Вас любил...
Пушкин

...Снег засоряет мрак, угнетает зренье.
Явь убивает сон и окурки множит.
Как упоительно это его сомненье,
это его смиренье: е щ е б ы т ь м о ж е т...

Спи же, дитя мое, — н е с о в с е м у г а с л а.
Только совсем замерзла, и так ей плохо...
Яви не хватит ночи, лампаде — масла,
сердцу — тепла, пересохшей гортани — вдоха,

чтобы я в а с продолжить, и комом к горлу
что-то подступит тяжко, немилосердно...
Видно, не нужно время тому глаголу,
если не повторить нам его посмертно.

Если метель такая — не то что бесы —
даже и ангел взвоет: темно и снежно.
Только и хочешь выжить, и то лишь, если
будет совсем б е з м о л в н о и б е з н а д е ж н о...

1987

***

Мне уже больше не хочется жить,
мертвые письма твои ворошить.

Боже, каким я бесчувственным стал!
Как от себя я смертельно устал!

Чаще, все чаще в мучительном сне
белый челнок приплывает ко мне.

Не возмущая поверхности вод,
по отраженному небу плывет.

Машет оттуда мне черным веслом
сгорбленный горьким своим ремеслом
новый мой спутник, спокойный на вид.
Ветер лохмотья на нем шевелит.

Я его жду на пустом берегу,
желтую тень окуная в реку́,

не оставляя следов на песке,
с медной монетой в холодной руке.

1986

***

Я не хочу сравнений — эта блажь
мне надоела — "как", "как будто", "точно".
Фальшивым блеском их не передашь,
как без тебя мне холодно и тошно.

И о тебе писать я не хочу:
"упала, как звезда на бездорожье"
и добавлять: "к а к л и ш н ю ю с в е ч у ,
задув меня..." — все это будет ложью.

Вот человек испытывает страх.
Он просто плачет, просто что-то пишет.
И комкает бумагу второпях,
и в окна обмороженные дышит.

И взгляд его рассеян и зловещ,
и шевеля бескровными губами,
он с полки опрокидывает вещь.
И дым под потолком стоит клубами.

И он стучится в комнату к другой,
и задает нелепые вопросы,
терзая галстук правою рукой,
а левой - предлагая папиросы.

И входит он, и гордую главу
роняет к ней на круглое колено.
И говорит: "Как тяжко я живу!" —
вздыхая и смелея постепенно...

А за окном — бездомность, снегопад.
И человек заботится о малом:

спешить к себе, в потемках, наугад,
забыться под шершавым одеялом;

уйдя в свое несвежее тепло,
в остывший чай швыряя липкий сахар, —
о том, что город страшно замело,
подумать между прочим, без метафор;

о том, что мать больна, и позабыть,
что мать больна, что столько эгоизма
в т о й женщине, и надо бы запить,
и спрятать пересчитанные письма.

Но, обложившись ворохом бумаг,
он снова пишет, черкает и плачет.
И знает он, что эти "словно", "как"
и "будто" — ничего уже не значат.

И лбом стекло оттаивая, он
зовет ее, вышептывая ямбы.
Но только ночь течет со всех сторон
на душный свет его безумной лампы.

1983

Игорь Мартынов

Я НЕНАВИЖУ АМЕРИКАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ И СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЮ

Рассказ

26 октября 1982 года, утро

...Я так и знал. Эти неугомонные янки не могли обождать всего один день. Всего одну ночь потерпеть. И вот, о всю входную дверь журфака МГУ — плакат: "РУКИ ПРОЧЬ ОТ НИКАРАГУА! АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕНЩИНА СОВЕРШИЛА ОЧЕРЕДНУЮ ПРОВОКАЦИЮ! СВОБОДНАЯ НИКАРАГУА В ОПАСНОСТИ! СЕГОДНЯ В 17.00. У ЗДАНИЯ ПОСОЛЬСТВА США СОСТОИТСЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА! ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!" Я постоял у плаката с подчеркнуто трагическим лицом, я выразил соболезнование стукачу Терентьеву, который по должности боле других скорбел о дальних латиносах, я сказал "гниды" так зло, что даже Терентьев содрогнулся. "Гниды" — повторил я про себя. Какая, мать вашу, демонстрация?! Сегодня, именно в 17.00 я иду в ЗАГС с беспрецедентной девушкой

Регинои, я зафрахтовал у амиго костюм, я обул шузы "Саламандр". Что за Никарагуа?! Зачем посольство?! Мы все вчера решили, после радужной смеси "Салюта" и "Стрелецкой" выйдя на балкон, когда сверху посыпались гарнитуры, магнитолы, домашние звери, товары народного потребления, когда ночь подернулась люриксом и воссияла порнографическая луна... Ведь мы эротику учили не по видео, нам обо всем нашептала природа-мать... Решителен, как Тох-тамыш, я сделал предложение Регине и был ею единодушно одобрен... Что мне теперь делать?! Не ходить на демонстрация протеста? Затаскают по парткомам. Не явиться в ЗАГС? Я слов на ветер не бросаю.

Тяжело, как положено жертве застоя, он по мраморной лестнице шел на марксизм — ленинизм, между Сциллой и Харибдой, между Саброй и Шатиллой, с кипящей дилеммой в мозгу...

26 октября 1982 г., марксизм-ленинизм

Стукач Терентьев сразу зырк под парту: чем шуршу, какую гадость конспектирую? А я ему — она, смотри Терентьев, газета "Правда", материалы исторического пленума, я по мотивам пленума Калевалу сочиняю, слушай: "Едва вернулся он из Турции решился ей в любви признаться в тени разлапистых настурций и перезрелых мастурбаций. Он рассказал ей про спасенье из лап жестокого эмира и подарил на день рожденья четыре метра кашемира. Она с волненьем прочитала четыре тома "Капитала" и еле слышно прошептала, что все теперь понятно стало. Уж вот они галдят и спорят не только о рабочей доле, но тут приехал из Босфора старейший деятель подполья, участник памятных сражений, герой осады Измаила, стезя рабочего движенья его под старость заманила — он их любовную интригу оплел сетями конспираций, на пару дней смотался в Ригу, за новой пачкой прокламаций, он создал центр всех брожений в ее двухкомнатной квартире и из подпольных побуждений закрылся наглухо в сортире... А бородатые болгары, дымя "Родопями" и "Шипкой" всю ночь сопели в кулуарах перед решающею сшибкой. Она надеялась на чудо, он верил Марксу одержимо, пока какая-то паскуда однажды всех не заложила!" И т.п. А? Извини, стукачок, на мели я нынче. Зашел давеча в ночи за истукана Маяковского отлить, а ценный свой кейс, битком набитый ардисом-посевом, выставил на экватор Тверской — пускай, думаю, такси пока тормозит. Как вдруг мужик, штаны с лампасами, как у маршала Гречко, хвать кейс — и тикать в переулки, я в погоню, двор, подъезд, караколь без перил, дверь какая-то настежь, влетаю на свет... Засада! Менты! Кейс мой на столе вскрыт, как в морге, бритый мужик сжимает в лапах мою бесценную "Лолиту" ксероксную и цитирует протокольно: "Целовал зубчатый отпечаток от пояска трусиков". А вдоль стен сидят фуражки, фуражки кричат: "Турма! Конфискация без переписки! Сослать в Горький к Сахарову!" "Нет" — обрывает начальник. Пускай он вот эту свою "Лолиту" нам вслух читает! И я читал! Как Шахерезада! Как Полежаев Николаю! Три отделения оперов набилось,

по рации транслирую на город. И город принял! Быть может, это я сорвал облаву, расстрел диссидентов, и Щаранский успел отбить шифровку на Би-Би-Си? И Андропов потеплел в эрекции?! И печальный сержант мне отпер ворота темницы и сказал: "Освобождаю ввиду сочувствия Гумберту Гумберту!" И бежал я по скорлупе первых заморозков, недорепрессированный, славил волшебную силу искусства, как вдруг — с визгом возле меня "воронок" тормозит, выскакивают трое в тулупах с автоматами и один с пистолетом, главный. Орет мне: "Руки за голову! Лицом к стене!" Обыскали, пихнули в "воронок", повезли. В рацию кричат радостно: "Главаря взяли, приметы сходятся, идем по следу второго". Через полчаса действительно берут "второго": дед лет минимум девяносто восьми. Как понял дед, куда попал, сразу сдал все анализы в штаны. Пахнет. "Отпустите меня к мамке!" — скулит. Отпустили. А меня капитально за громилу держат. Уж лучше б сидеть за "Лолиту"! Хотя бы за дело... Рассвет встретил в кутузке, играл с двумя уркаганами в преф, потом они себе вены порезали, хотим, говорят, породниться кровью, как индейские люди...

Слинял разочарованный Терентьев. Нету на меня компромата. А может и не стукач он вовсе? Скучно, господа. Я бился как голубь мира я озарялся чувством, и тут — международная обстановка. В такие дни мне ясен пафос великих самоубийц, но быть невеликим самоубийцей — некрасиво. Не это...

26 октября 1982 г., история КПСС

Хорошая лекция, тихая, но спать не дают друзья мои Колодин и Углов, подослали по ручной почте подметное письмо. Откуда только эдакие роскошные конверты добывают, мелованную, поди, финскую бумажку — и под такой неказистый текст! "Ну ты, сука! Ты идешь сегодня вечером с нами в "Яму" пить пивка и жевать креветок? Если не пойдешь, гони чижик. Твои доброжелатели Колодин и Углов". Дружеское приглашение в "Яму" я бережно, в конверте припрятал во внутренний пиджачный карман. И впрямь — не загулять ли? Пока на осенние газоны пала мертвая листва? Душевные люди, почетные алкоголики и заслуженные импотенты нас ждут "у тети Раи", в "Сайгоне", в "Аппендиксе", в "Пупке", в "Желтке", "Фазане", "Сосисках", "Афгане", "Лесняке". Товарищи потомки! Зачем рассекретили явки и выдали адреса? Свет был в начале туннеля, в конце - ни зги.

Пристали соратницы: ты чего в костюме, Мартынов, с ума упал?! Говорю: сгорел мой дом со всей одежей, а в Красном Кресте вот только такие тройки погорельцам выдаются. А не этими ли ботинками "Саламандер" германский кайзер подкупил Ульянова — Ленина?! Именно! Из музея Революции взяты в долг. Успокоились женщины. У них не ко мне конкретно, а чисто досужее. Было у меня конкретное, два года как под высшей мерой ходил. Предшественница Регины была

повернута на Рерихе, биополях, парапсихологии, по ночам тайком слушала Рави Шанкара, зачумляла помещение какими-то индусскими благовониями, от которых у меня слабело все, включая ум, честь и совесть. Ее папаша по всем адресам трубил одно: "Стрелять таких надо!" Чекист-ассенизатор, дочурку в детский сад, небось, на БэТээРе возил! Когда я приходил к ним погостить, она говорила: "Папа, это Игорь Мартынов. Он очень интересуется Плехановым. (Папа настороженно вздымает бровь) Его перепиской с Каутским!" — успокаивает она. И такой бред говорить обо мне, о живом пока еще человеке! Поскольку я не учился в академии на Дзержинского, я не мог стать для этой семьи никем, только расстрелянным. Мы встречались с моей пассией сложно, тайно, вся Москва превратилась в гигантскую конспиративную квартиру. В зоопарке, возле клетки черно-белого медведя "коала", которого она упорно обзывала кошечкой и на убой кормила ирисками. Перестукиваясь сквозь стенки общественных клозетов. Обмениваясь записками в троллейбусной давке. Когда коала все-таки издох от передозировки ирисок, она решила устроить пышные похороны, папаша заказал генеральский лафет — и тут я не выдержал, сорвался. Я объявил себя внебрачным сыном Ростроповича, наплевал на их традесканции и гордо ушел. Потом сподвижники уверяли, что это есть эмоциональный бунт против тоталитарного режима, но причем здесь политика, братки? Он просто любил ее, чекистскую дочку. Хотя об этом никто не узнает, он умеет хранить тайны.

26 октября 1982 г., военная кафедра

Да, я дал несколько подписок о неразглашении. Да, я знаю что такое АЗС, БПК, КШЗ, РКП-67, но никому не скажу. Я ведаю, с какой стороны поведет на Москву своих хлопцев командир 5-й мотострелковой дивизии США генерал Маккафи, но там он не пройдет. Из космоса нас Рейган не достанет, у нас асимметричная мера.

На военной кафедре срочно составляли "Письмо протеста советской молодежи", насчет Никарагуа. Письмо будет вручено послу США, чтоб знал. Всем гуртом перевели на английский. Запечатали в конверт. Вопрос: кто будет вручать? И меня осенило! Да ведь американское посольство — единственное место на земле, куда не стыдно пригласить любимую девушку, если ты не можешь отвести ее в ЗАГС. Только бы не потребовала там политического убежища, дура... Костюм и шузы "Саламандер" свою роль сыграли. Решающую. Письмо доверено мне и моей помощнице, якобы дипломированной переводчице — речь, как понимаете, о Регине.

26 октября 1982 г., антивоенная манифестация

В 17.00. одновременно с заходом солнца, напротив американского посольства выстроились когорты студенческих сил. Плакаты, мегафоны, водка из рукава. Мы же с Региной, истинно как жених с невестой,

на острие событий. Негр-охранник с огромным "Магнумом" на боку пригласил нас с Регионой внутрь, протестовать. Пресс-атташе внимательно отслушал регинин "инглиш со словарем", я вытащил из пиджака конверт с нашим негодующим посланием и вложил в американские руки. На улицу выходили победителями. Даже наш более чем откровенный поцелуй на крыльце посольства был воспринят овацией.

Ноябрь 1982, финал

Стали ждать реакции американцев на заявление. Тем временем я сводил Регину в ЗАГС. Я слов на ветер не бросаю. Кстати, это такая фамильная идиома, досталась от прапрадеда, который после Шипки угодил в османский плен, пару лет его промариновали в Стамбуле, а потом он сел в поезд и поехал на родину. Где-то в глубинке Европы к нему в купе подсел Федор Михайлович Достоевский, возвращавшийся в Россию из Рулетенбурга, без копья. Мой прадед, чтобы не ударить в грязь лицом, всю дорогу повторял единственную ему известную многозначительную фразу: "Я слов на ветер не бросаю". Достоевский потом в Дневнике писателя об этой встрече с моим пращуром упомянул, что, мол, только тогда-то, через ту-то фразу постиг он русский характер. И ни намека о том, что мой прапра ссудил его золотым червонцем. Последним, между прочим.

...Ответ из американского посольства от нас долго скрывали, но обходными маневрами мне удалось его прочесть, а когда прочел, то смеялся так, как я не смеялся никогда в жизни, разве что при рождении я смеялся так. Ответ гласил: "Сами вы суки! Пейте свое прокисшее пиво и жуйте своих тухлых креветок в "Яме" без меня. Червонец можете не возвращать. Бай-бай! Атташе посольства США Джордж К. Даррел"

В конверте к письму прилагалось 10 долларов.

Боже поможи! Какой изумительный скандал! Оказывается, в этой суете я перепутал конверты и вместо "Письма протеста" сунул штатовцам эту идиотскую записку двух раздолбаев Углова и Колодина, с призывом в пивняк. Но оцените и ответную депешу! Не все потеряно, и стоит помучиться, ежели тяга не совсем еще засорилась, ежели попадаются наши люди и возможны чудные кви про кво. А вы предлагали вешаться? Вы говорите "туман безвременья"? Мы под любые времена свои подсунем письмена.

Смотри,смотри, Терентьев, как я смеюсь, тебе смеха моего не понять, но когда я отсмеюсь — с полным пафосом скажу: "Я ненавижу американский империализм и слов на ветер не бросаю!"

P.S. Одно до сих пор не ясно: кто чирик баксов прикарманил?

Александр Вайнштейн

ЭКВАТОРИЯ

Стихи

***

Он кочует,как табо́р, по диким степям,
Он ковыль подминает и пьет второпях,
По следам его конница скачет.
Он на прошлое смотрит, как воин в бинокль,
Раскусить его проще, чем кратный бином,
а душа его значит, что значит.

Человек — продолженье несозданных книг.
Он штурмует, как век боевой,материк
И, как табор цыганский, сгорает.
Он само единочество — символ вещей,
Для него и пространство бездонное — щель,
Сквозь которую ветер гуляет.

Человек из подручных, подысканных средств,
Выбирая гармонию вместе сердец,
Словно в дикой степи — кобылица.

Выбирая пространство, которое вне,
Сводит счеты с собой на гражданской войне
И восходит на холм олимпийца!

1994

***

Всмотрись в этот сумрак, как летчик в стремительный почерк
невиданной трассы, скрывающей пену на лбу.
Вино изменений не бродит, оно кровоточит.
Блаженное солнце от тяжести пьет наобум.
Восток крестоносный осанист в размахе регалий,
Неверное чувство сметая потоком стальным,
он дерзко невинен. Стремителен бег расстояний.
Всмотрись в этот сумрак, давно уже ставший немым.
Дозор горизонта расставит своих ополченцев
и искрой блаженства зажжет ожидания пласт,
И воля свершенья забьется в дрожащее сердце,
И пылью столетий за золото чувства воздаст!

1994

***

Укрой меня ливнем святой немоты Тинторетто,
цепями блаженства нетронутой веры моей,
я чувствую острым дыханьем стоосное лето,
и сердце играет в озвученном театре теней.
Укрой меня ливнем в минуту планетного взрыва,
когда разрушаются ноты межзвездных глубин,
молчанье — свобода полета, в котором незримо,
мой мастер рассвета, тишайшую медь пригуби!

1994

***

Помпеи. Пена. Взрыв вселенский.
Стоосный век целует шпалы,
Вскрывая тромбы скоростные.
Оркестр, не принятый за венский,
Как знаменосец многопалый,
Шумит над битвою в пустыне.

Граничит час с ночной часовней,
Луна толкается в передней,
Проделав путь по бездорожью.
Душа, как ангел невесомый,
Идет на подвиг предпоследний,
Не доверяя многобожью.

Кочует свет от дальних комнат.
Июнь взбирается к карнизу,
Чтоб бросить тень свою на кроны.
дыханьем времени расколот,
Я принимаю этот вызов,
пройдя библейские заслоны.

Срывая пену с водной глади,
вникая в шепот побежденный,
Чеканят ангелы объятья.
Оркестр, оставленный в осаде,
Шумит над нотой миллионной,
Как Рим над пламенем распятий!

Часы не сводит холод стрелок
от льда невольных изменений.
Сердца, как кузницы на юге.
Стена — не ангельский застенок.
О голос будущих ранений,
Мы узнаем себя друг в друге!

ХИРОСИМА

Рожденье концерта
в роддоме лихого оркестра,
где первая скрипка пьяна и беззвучна,
где звуки проходят этапы скупого фальцета, —
качается в ритме фантазии штурма — маэстро,
Как гром, аплодируют вечные стены, молчание скучно.
Из этой стихии быстрей, чем из пены банальной
родится Венера, шагнет через ложу на берег,
и зрители выйдут сухими на дно океана,
где первая скрипка качается
в ритме финальном
и бьется волна — так несется в безумии Терек.
О музыка века, твое пробуждение странно!

1994

КАЛГАРИ

В магазинах смешно, не увидишь коттеджей! обшарпанных,
Вавилонская башня — Канада не лязгает "шарпами",
Время камни бросать, забросаем несчастную шапками
Из сибирских бобров.
Каждый дом — это церковь, и Бог обитает на паркингах,
Города — лилипуты скрывают невзрачность за парками,
Обделенность на карте — кемарит за старой лампадкою
чемпион городов.

Лед Гренландии, Арктики не победил неподвижностью,
Что мне делать в стране, где подругу не сбацаешь книжностью.
Где холодный рассвет выплывает в каньоны обиженно
и спешит на пикник?
Чьи сограждане гордо сто лет вспоминают Британию,
Уносящую вдаль рубежи своего обитания,
Даже птицам дано, заглядевшись на время летальное,
Совершенствовать крик.

Упакована вся золотыми пейзажами, мысами,
Между двух океанов скрывая игру за кулисами,
Перед театром Шекспира, где робость пред жизнью немыслима,
Сделав ставку на клен.
Молодая страна не готовит себя к увяданию,
Суперсторы вольны приобщиться к любому питанию,
Гамлет выскажет: "Быть", полюбивши "Кленовую Данию",
Эмигрирует он.

1993

Игорь Яркевич

ЗНАКИ ТЬМЫ

Рассказ

Они были повсюду расставлены, эти знаки смерти, знаки тьмы. От них не было спасения. Все мы оказались в гостях у Танатоса, все мы надолго задержались в этих гостях — хотя ничем хорошим там и не угощали.

Из хоровода знаков смерти невозможно было выскочить: за каждым кустом торчали ее уши. Вот и плакат висит: зовут покупать акции. Но ведь это только снаружи акции, а стоит едва присмотреться — внутри сразу заметны разложение и гной.

Я стал очень наблюдательным. Смерть рисовала узоры на окнах, меняла огни светофоров, информацию по радио читала тоже смерть. Повсюду, куда чего не кинь, смерть придумала силки и ловушки.

Смерть царила, парила, владела кинопрокатом и мебельным дизайном, довольная, пускала слюни — все теперь делала одна только смерть.

Смерть совершенно распустилась; давно пришла пора ставить смерть на место.

Кроме того, что я стал наблюдательным, на каждом шагу я без конца исповедывался, словно стараясь все успеть напоследок вот имен-

но тут и теперь. Случайным попутчикам и женщинам я закатывал истерики, нудно и мучительно рассказывал про себя, старательно подчеркивая всякие гадости и страсти. О, жалкая участь случайных попутчиков и женщин! Но разве от меня так просто уйдешь?

На каждом перекрестке смерть нагло оставляла следы. Они были прочно впаяны в асфальт и не смывались даже дождем.

Я позвонил своему школьному наставнику, оказавшему на меня громадное влияние. "Лев Николаевич давно умер, — вежливо и безразлично ответили мне, — может, ему что-нибудь передать?".

Изменились даже крыши, далже они попали в поле смерти. Раньше, бывало, в свое время, крыши расстилались как стартовые площадки для безопасного полета — теперь же сквозь крыши все протекало, острые края моих крыш скурвились и обледенели, и осталась у крыш только одна прерогатива - чтобы с них свалиться вниз.

Я отсиживался по углам, на улицу выходил только в случае острой необходимости; самой острой. Ведь обманывать стали даже гениталии! Которые прежде не подводили никогда... Вот у девушки под блузкой четко и рельефно, как на параде, лежит грудь. Вроде бы — красиво, соски острые, блузка почти прозрачная, бюстгальтера и в помине нет, но едва девушка мимо пройдет, то сразу станет ясно, что это была не грудь, а сама смерть.

Смерть была разбросана повсюду, как яблоки под ногами в урожайный год на юге.

На окнах висели только черные шторы, словно материю всякого иного цвета запретили навсегда!

Что касается ностальгии, то, кроме смерти, и вспомнить стало нечего, но что ее вспоминать, когда она и так окружила со всех сторон?

Я перестал различать лица не только китайцев, но даже европейцев двадцатых годов. Теперь они все вместе казались мне одним бесконечным двадцать каким-нибудь годом. Окружение смерти довело меня до дикого и отчаянного склероза: мозги теряли имена и даты даже раньше, чем запоминали.

В такие дни противопоказано появляться на людях, но черт меня дернул покататься в троллейбусе! И тут же сразу подарок — заклинило двери, а в результате прищемило клитор молодой путанке, с пробитой головой вынесли юного бизнесмена; разом оборвались две перспективные карьеры. Я навещал их в больнице, приносил цветы, газеты и куриный бульон. Поникшие и удрученные, они вяло целовались в коридоре.

Я бы уже нисколько не удивился, если бы меня приняли за Орфея. А чему тут поражаться, когда вокруг сплошной без малейшего намека хотя бы на середину, про край даже и речи нет, Аид!

Сдуру забрел в цирк. Там была паника, униформа металась в черных повязках, зрители собирались кучками и шепотом передавали друг другу: "Умер, умер...". Оказалось, умер слон. И не просто умер, а еще

придавил вдобавок отекшим боком дрессировщика и пять его случайных собутыльников. "Если слон умер и слона с нами больше нет, то теперь, значит, все будет позволено и пощады ни от кого не жди", — мрачно прогнозировал я, покидая гостеприимное здание цирка.

Газеты я не читал никогда, а зачем их читать? И так все уже давно ясно. Но однажды не выдержал, раскрыл, увлекся, забылся, а уже к вечеру молодое русское правительство окончательно запуталось в экономике.

Вскоре я оказался возле синагоги. Ну что на сегодняшний день может быть невиннее синагоги? Только первый поцелуй или детский сад. Но мне и синагога не прошла даром — как раз напротив взорвался от старости огромный ветвистый тополь, единственная радость последних трех поколений квартала.

Блядь Москва, вавилонская пиздюлина, что же ты задумала, куда же ты нас всех тащишь?!

Среди белого дня отправился на рынок, есть очень хотелось и просто погулять. "Не ходи", — умоляли все мои женщины. "Не надо", — валялись в ногах друзья. "Что же ты с нами со всеми делаешь?" — жаловались соседи. И были правы! Ведь прямо на середине пути вынесло на переполненный тротуар сорокасемитонный рефрижератор, заполненный до краев мясом бельгийских собак. Все чудом остались живы, только водитель получил по яйцам от разгоряченной толпы.

Из печати вышла моя книжка. Казалось бы, только сейчас и радоваться, веселиться и резвиться до утра. Но только к выходу книжки все поголовно умерли. Вообще все: сотрудники издательства, работники типографии, даже отчаянный, как Добролюбов, известный и красивый, как Чернышевский, плюс умный, как Горбачев, литературный критик успел отравиться козьим сыром. "Бог дал, Бог и взял", — успокаивали меня. "Но не в таких же масштабах", — бился я в очередной истерике. Случайно уцелел только один персонаж смертельного круговорота жизни; да и тот, как выяснилось, ненадолго.

Большой астролог, разумеется, зовут Пашей, выбор русских имен ограничен до безобразия, делал мне гороскоп. Когда я пришел за ответом, то у него стучали зубы и дрожали руки, а сам он был весь больной и очень несчастный. Брюки — в многочисленных темных пятнах крови, а на вялую, поникшую жопу просто было страшно смотреть.

Не взяв гороскоп, я выскочил вон...

В это же время я даже по-новому оценил Мавзолей. Он единственный в царстве смерти не выглядел растерянным неврастеником, а держался непосредственно и молодцом.

В городе не было горячей воды. И очень хорошо, так и надо, все правильно, потому что если бы она была, обязательно кто-нибудь бы обварился до самых до ресниц.

"А правда ли, что наша жизнь — лагерь?" — спросила меня маленькая совсем девочка. "Если бы", — неосторожно вздохнул я. Де-

вочка зарыдала, любимые игрушки полетели в окно, сама убежала из дома, два дня спустя ее нашла еле-еле милиция на задворках белорусского вокзала. Девочка качалась, под глазами — зеленые круги, но домой возвращаться не хотела. "Теперь уже все равно", — упрямо повторяла она.

Это у большого астролога, что гороскоп мне готовил, жопа стала жалкая и тощая, а у смерти же она делалась все мощней. И смерть давила все вокруг своей мощной жопой, словно смерть была монгольский татарин, а все остальное — удельный князь!

В Москве исчез напрочь птичий помет, зато расцвело производство киселя. Москвичи научились варить из птичьего помета действительно вкусный кисель.

Ко мне на балкон — а живу я довольно высоко — подбросили дохлую кошку, а спустя неделю — полуразложившегося зайца. Видать, и девятый этаж смерти уже не помеха!

Еще месяц назад я чувствовал себя в московских сумерках как хуй, попавший во щи; теперь же я чувствовал себя там как хуй, но попавший в ад.

Старинные названия московских улиц — Таганка, Полянка, Лесбиянка, Зацепа — бывало, так раньше и отлетали от губ, зубов и мочевого пузыря, радуя и возбуждая; но любое былое возбуждение съела смерть, для вида немного подавившись.

Раньше японского искусства мне хватало в количестве иголки, чтобы потом неделю казаться бодрым и мобильным. Сегодня же японское искусство можно было на меня литрами лить — я оставался туп и непроницаем. Во всем этом опять же была виновата только смерть.

Я стал ошибаться адресами и все время попадал почему-то на кладбища. Кто бы мог представить, даже во сне, что в Москве столько кладбищ! Даже в самом золотом срезе центра — на Красной площади, где, как правило, замирают от святого восторга доверчивые души, чувствуя холод вершины мира, и то сверкали мраморными гранями претенциозные усыпальницы. К ним были приклеены часовые и елочки... А два шага в любую сторону от центра — так вообще одни только кладбища, но уже без елочек, клея и часовых.

Встречаясь с кем-нибудь из ранее знакомых мне людей, я долго удивился и благодарил его, что он еще жив.

К моим ногам постоянно падали мертвые воробьи. Их убивало током, фабричными дымами, пулеметными очередями с вертолетов, суицидальными комплексами — да мало ли чем можно убить воробья в ошалевшей от смерти Москве! Однажды на моих глазах злой полупьяный чеченец поймал и съел воробья совершенно сырым.

Поскольку смерть владела кинопрокатом, то в кино показывали одну только ее. Если в начальных кадрах некоторые персонажи успевали чудом выжить, то уже в следующих всем доставалось сполна.

Задумчиво стоял над известной в народе темными делами и грязными водами Москвой-рекой, ничего хорошего не ожидая. Так и есть:

вниз по течению надменно плыла дохлая жаба. От нее величаво по всей ширине реки разбегались такие же дохлые круги.

Помоги, прогулочный теплоход! Как же, помог! Не успел я на этот теплоход вскочить, не успели мы отплыть, или даже отшвартоваться, или еще что-нибудь такое речное, как ебнулся на палубу и покатился куда-то на хуй вниз старший помощник. Инфаркт? Хуже — русский идиотизм. Он и стал причиной транса несчастного старшего помощника.

Никаких сил моих больше не было терпеть весь этот смертельный разгул.

Рабочие пили пиво. Раз работать не умеют, пусть хоть пиво попьют! Одного отправили за воблой. "Тебя только за смертью посылать", — неосторожно кинули ему вслед. Тайное зверство московских идиом у меня никогда сомнений не вызывало, поэтому заранее понятно, что произошло через пять минут! Разумеется, что ничего утешительного.

Вот оно как, вот оно что.

Хотелось оставить настоящее большое предсмертное письмо, чтобы все сволочи взвыли враз от ужаса и восторга; настоящее, грамотное, умное, сильное такое предсмертное письмо.

Хотелось также блядей и денег — несмотря на то, что эти предметы значительно хуже самой смерти.

Стал задумываться, что пора бы уже передать по наследству самое прекрасное во мне, а именно, конечно, хуй. Так ведь и жалеешь, когда он стоит, не падая, во всей красе: "Ах, ну почему хуй не птица? Отчего он не летает? А то бы снялся с насиженного места и улетел бы себе на хуй в Испанию или еще хуй знает куда!"

Но поперек реальности отлета торчала смерть.

И еще я понял, что пресловутая русская культура несет в мир, да и раньше несла, только хаос, мрак и разрушение. Все русской культуре не так, все ей неймется, все она никак успокоиться не может! А носители русской культуры порой даже гаже самой культуры.

Каждый день, каждый час, минуту каждую хотелось обратно, назад, в какой-нибудь прежний возраст. Но предали мое детство, пустили с молотка мое отрочество, обесчестили мою юность, а перед моим будущим выросла стена смерти.

Прямо на моих глазах толстые потные старшеклассники растоптали бабочку, как умевшую, так и разрезавшую угрюмое московское утро нежным телом. И, довольные, удалились. Кругом смерть! Вот так и меня, как эту дуру — бабочку, раздавит смерть своей мощной жопой...

Изнасиловали моего верного друга. Когда он, думая обо мне и моих страданиях, сигареты покупал, то продавец схватил его за футболку, втащил в киоск и впился в бурый доверчивый анус. А я ничем не мог ему помочь, у меня у самого несчастье случилось — я порезался газетой. Нельзя брать в руки русскую прессу! Сколько мне об этом твердили, а я не верил, считал, что все обойдется, вот и поплатился. Мерз-

кая русская пресса! Мало того, что вся грустная и кровоточит каждой буквой, так еще норовит и физически обидеть.

Меня преследовал один и тот же яростный порнографический сон — женщина с полными дебелыми ногам расстегивает юбку и отдается первому попавшемуся негодяю; над ними разливается летняя истома и жужжит шмель. Потом они отдыхают, женщине становится скучно и она, прогоняя негодяя, соблазняет шмеля. Но скоро я этому сну перестал доверять, его наивность и надуманность меня уже не шокировали — женщины с полными, тем более дебелыми, ногами юбок не носят и не могут отличить шмеля от телеграфного столба; знают только, что и то и другое жужжит.

Я теперь всюду встречал похоронные процессии. Провожали в последний путь известного артиста, многие плакали, вспоминали его роли из фильмов и другие забавы. Это мне вздумалось в театр пойти, снова заглянуть под истрепанный подол вечной девушки Мельпомены, а в спектакле, как нарочно, собрался выступать известный артист. Сто лет я ведь не ходил в театр, так, казалось, чего нарушать традицию, сто лет бы еще и не ходить! Очередной печальный исход — вот закономерный вывод из моего культурного энтузиазма; нет, нельзя в России никуда ходить.

Дружеские посиделки давно канули в прошлое, дней рождения и юбилеев тоже никто не отмечал, а если и приглашали в гости, то исключительно на поминки.

В августе я был вместе со всем народом — у Белого дома; народ в беде бросать нельзя. Случайно заглянул под баррикаду — там лежали, заебанные до смерти, девушки почти что тургеневского качества. Защитники Белого дома так рассчитались с защитницами, навсегда прижавшими к сердцам милые девичьи намерения.

Тянуло без конца смотреть футбол, теннис и еще какой-нибудь в том же роде полный пиздец.

Жизнь была сорвана, засрана, измазана и очень тяжелая.

Приходил Коля, довольный как мамонт, рассказывал последние новости — в глухой московской окраине появилась секта богоносов и обещает после смерти оживление не только душ, но и хуев. И оживший хуй будет блестеть на солнце, ловко поигрывая уздечкой. А другие гениталии? — недоверчиво спрашивал я. Тоже оживут, обещают богоносы, а в первую очередь — анусы, чтобы гомосеки, братья наши меньшие, ни в чем не знали нужды и печали.

Вдруг стало отчетливо видно во все стороны, что Бог оставил Россию. И что когда они расставались со слезами и взаимными упреками, то Россия сказала Богу: "До свидания", а вот Бог твердо ответил: "Прощай, Россия". И ушел, не оглядываясь. Россия же долго смотрела Богу вслед.

Но было хорошее видение. Бог явился на "Парке культуры" и простил всех, даже азербайджанца, торгующего сырым "Кэмелом" и мучающего бедного подростка Ваню в бледный задик огурцом.

Но потом хорошее видение исчезло и снова остались вокруг одни знаки тьмы.

Даже мой любимый, неоднократно проверенный в деле, онанизм совсем уже скис среди тьмы. А ведь еще не так давно он, непобедимый, гордо возвышался над миром и не было зверя сильнее его! А я гордился нашей дружбой и как завороженный лежал у его ног. Но даже он оказался не готов встать на борьбу с тьмой.

Как всегда, я ошибся адресом и, как обычно, попал на кладбище. Злясь, досадуя, мучаясь и ничего не понимая, гулял я среди могил в самом логове смерти, сколько детских усыпальниц с венчающими их ангелами и трогательными надписями! Но какой смысл был умирать в девятнадцатом веке да еще в таком раннем возрасте, когда только через много лет пьяные комиссары будут резвиться на панели с пьяными же комиссаршами, лихо выдававшими себя за недоучившихся гимназисток? Казалось бы — живи, не хочу! Так нет...

Поскольку смерть продолжала сыпаться с каждой полочки русской жизни, я стал не только случайно посещать кладбища, но и подолгу задерживаться там нарочно в поисках тепла и спасения. Какой же русский не любит, забыв обо всех этих делах, вволю подышать свежим могильным воздухом! И там же, на кладбище, судьба подарила мне Катю.

Когда я бродил по одному из лучших, что греха таить, кладбищ Москвы — Ваганьковскому, именно Катя обожгла меня взглядом. Наши глаза встретились и уже не расставались. Ах, Катя, ваганьковская царица!

Если кроме смерти ничего не осталось, то лучше места для свиданий, чем кладбище, не найти. Но вскоре я совершенно потерялся. Дело в том, что Катеньке было спокойней и милей на Ваганьковском, мое же сердце безраздельно оккупировало торжественное, но помпезное Новодевичье. Я разрывался между двумя кладбищами, а в дальнейшем уже не разбирал, кому из них конкретно принадлежит какая могила; два совершенно разных по своей сути кладбища слились для меня в одно. Помню только, что у Есенина мы впервые взялись за руки, над Хрущовым — поцеловались. Над Мейерхольдом мы поругались, а над незабвенным Суриковым простили друг друга. Могила же родственницы Сталина никогда для меня не померкнет — на ней Катя смело мне отдалась. Если и сегодня там покопаться, то вполне можно найти Катину пряжку и мою записную книжку.

У могилы одного известного негодяя, фамилию забыл, мы поклялись в любви до гроба.

Над Шукшиным мы загадывали желание и подскользнулись, над Гоголем тихо грустили. У могилы Жукова я стервенел, смутные воспоминания прошлого посещали меня; Катя терпеливо ждала. У Шаляпина мы обедали; над Булгаковым читали стихи. Читала, правда, только Катя, я все стихи уже давно забыл.

Можно ли ебаться, когда спину любимой женщины лижет могильная мгла? Но Кате нравилось, и мне оставалось только подчиниться.

Мы подружились с кладбищенскими рабочими. Законченные сволочи, они знали в этой жизни только дешевую юмористику, деньги и пьяный угар. Но даже они приподнимались и кланялись, когда Катюшин стройный силуэт мелькал в конце аллеи. Рабочие проводили для нас экскурсии и рассказывали кладбищенские апокрифы. Я брезговал рабочими, а Катя — нет, потому что всегда любила народ, даже люмпенов, и у Высоцкого мы все вместе играли в прятки. Мне это место совершенно не понравилось, так как слишком близко от входа и легко продувается.

В итоге Катя и простудилась, я уже приготовился к обычному летальному результату, но Катя обещала выздороветь, уверяла, что скучает и снова хочет на могилу родственницы Сталина. И я понял, что смерть отступала, граница между ней и жизнью становилась все отчетливей и жирней.

Без Кати мне на кладбищах делать уже было нечего, скучно, и я забрел в церковь, оказавшись в одном из храмов, которые недавно новые власти вернули патриархии. У входа лежали кирпичи, со стен капало, я дважды стукнулся головой о какую-то балку. Русские люди все спешат, все торопятся, поэтому в церкви шли одновременно ремонт и отпевание. Тем не менее было очень мило, в храме стоял дух вечнозеленого братства первых христиан и катакомбной романтики.

Я подошел поближе к отпеваемой. Она лежала умиротворенная с видом хорошо потрудившегося совка. Несколько человек вяло слушали батюшку; кто-то сморкался. Ох, как надоела эта смерть! Где ты, Катя — краса и гордость Ваганькова? Только тебе под силу оживить угрюмые московские пространства, заштрихованные тьмой!

Нахмурившись, священник жевал текст. Я тоже нахмурился и, неожиданно представив отпеваемую молодой, в возрасте Катюши, но уже седой и сморщенной, прошептал: "Талифа куми". А поскольку никто не обязан понимать не по-русски, то я, осмелев, повторил несколько громче: "Вставай, старуха".

Повисло напряженное молчание; служба остановилась. Священник нахмурился еще больше.

Отпеваемая приподнялась и осмотрелась вокруг без всякого интереса.

Ее подруги, наоборот, обступили меня с нескрываемым любопытством, что-то выясняя и спрашивая телефон.

Священник неожиданно развеселился.

Родственники бросились на меня с проклятьями и кулаками.

Священник отогнал их и, щипаясь, предлагая закурить, хихикая, вывел меня из церкви черным ходом.

Ольга Ильницкая

ОЗНОБ КОСТРОВ

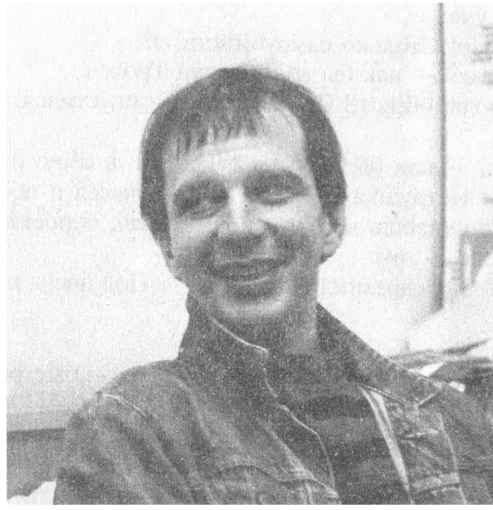
Стихи

ПОЭТ

В том доме, где отсутствует хозяин,
в том самом доме, где давно не спят,
в том свете лампы, где кружат ночами
созвучия и бабочки летят...
— Куда?
— Не закудыкивай дорогу.
— Куда летят?
— На круг и дальше, в свет...
В том месте, где нас не было и нет,
он пишет. Он талантливый безбожно.
Он сам как Бог. Он цвет с ладони Божьей.
Он путаник и вечный второгодник.
Мальчишка, что на жердочке сидит
и помнит все, что только предстоит.

***

Ночной пассажиркой, вмещающей суть
событий, на веру свою уповая,
о други мои, ужель не узнаю
ни вашей любви, ни свободы вздохнуть.
Зима. Заплутали в пути поезда.
Откуда? — Оттуда. Куда? — В холода.
Состав мой, по-рыбьи плыви в снегопад,
пусть в тамбурах двери стучат невпопад.
Уже семафор, словно птица снегирь,
клюет бестолково пространство ночное
и землю сдвигает качанием гирь
на вечной, как цепь волкодава, основе.
В бутылочно-карем, быть может лесу,
в бормотном, вагонном, рождественском лесе,
расспросит о тех, кому путь интересен,
ручной проводник, что похож на лису.
В нем страх и надежда со случаем бьются,
но смертно кричат на заре поезда:
то сыпятся бисером, струями рвутся,
то медленно тянутся, словно года.
Попробуй вмещающей суть намекнуть
на тайны маршрута. Что ей остановки!
Ей с рельсов сойти — как уста разомкнуть.
Пустое — соблазны. Пустое — уловки.
Куда пассажирок везут поезда,
куда вдоль перронов поземка сбежала,
спущусь по ступенькам к чужому вокзалу.
Прощай, мой попутчик! Судьба не беда.
В глубины глазниц, где с горчинкой вода,
звезда путеводная, падай сюда!
Сюда, где придонные мысли замрут,
во взгляд, искаженный хрусталиком льда.



Игорь Зотов

ЗАПАХ КАРДАМОНА

Слишком маленький роман

1

Утром по дороге на службу случилась у Тролева встреча с ее братцем Петрушкой.

— Кош-шмар, столько самоубийств! — уперся тот острым локотком в тролевский бок.

Тролев знал, что Петрушка заметил его еще только входящим в вагон и сразу же стал к нему протискиваться. Возможно, на следующей станции Тролев успел бы и сбежать, но поезд неожиданно затормозил и остановился у самого уже выезда из тоннеля. От Петрушки было не уйти. Петрушка же, стервец, остановился даже, посмотреть схему метро, изучал подробно, а затем неспеша продолжил путь, милейше скалясь на недовольное со всех сторон шипенье, а на Тролева и не взглядывая. Поезд стоял. Тролев знал, что Петрушка сейчас нарочно скажет глупость, непременно сам себе загогочет, ткнет его в бок; и краснел от злости. Вдруг поезд пошел, мелькнула надежда, колонны станции...

И прямо в ухо:

— Кош-шмар! Столько самоубийств, а?!

— Ба, здорово! — как бы воскликнул Тролев.

— А ты, Троля, обрюзг! Обрюзг, отец, и опустился! — оценил Петрушка.

— Стареем, — как бы смутился Тролев, в свою очередь отмечая про себя, что и Петрушка изрядно тоже полысел и обеззубел.

— Стояли-то знаешь чего? — подмигивая, спросил Петрушка.

— Ясное дело — пик.

— Пи-ик! — передразнил Петрушка. — Под поезд ктой-то сиганул! Пик!

— Под поезд?

— Ну. А то не знаешь! Самая теперь мода — быстро; чик-пик! Хе-хе!

Щеря зубы, Петрушка клонился к самому лицу Тролева. Было очевидно, что сейчас-то он и перейдет к главному пункту, которого они оба ждали и по поводу которого так неотвратимо для Тролева сегодня встретились. Тролев видел, как Петрушка с наслаждением впитывая его, тролевское беспокойство, все тянул приступить к этому главному.

Неотвратимость же началась с того, что сегодня Тролев проснулся раньше обычного, и с каким-то непонятным и неприятным, и даже суетливым ощущением себя. Лежал, недобро поглядывая на спящую жену, потом вдруг увидал себя в женин трильяж. Встал. Как был голый, подошел к зеркалу вплотную и ущипнул себя за складку живота, за ляжки, за бока, подергал редеющие волосы. Зашевелилась сзади жена. Быстро прошлепал в ванную комнату и долго фыркал и откашливался там. Злорадно позавтракал четырьмя бутербродами и большой чашкой кофе по-варшавски. Выйдя из лифта, закурил и, убедившись, что никто не увидит, вдруг громко загоготал и выругался. Спускаясь в метро, начал озираться, точно ища кого-то, даже пропустил два поезда, хотя и опаздывал на службу уже, и сел в третий.

— Полинка-то теперь далече, под Ленинградом проживает быть, — сообщил наконец Петрушка.

— Что? — как бы не понял Тролев.

— Замуж, говорю, вышла туды, под Ленинград, под Гатчину. Туда и съехала. Слыхал?

— Нет.

— Муж-то, правду сказать, запойный. От подарков. Тоже хирург.

— Запойный?

— Ну, с дочкой она. Полдома у ней на станции Горелово, сад-огород. Полинку, брат, не узнаешь. Матери яблочки присылает. Мать-то,

знаешь, теща твоя гипотетическая, как яблочки любит грызть, а?! Ха-ха-ха!!! Петрушка хитро заглядывал Тролеву в глаза, и тот вспомнил, что это родственное у них, у всех — наклонить голову и хитро за тобой подглядывать, проницая.

— У тебя, я слыхал, тоже — дом-семья? Ха-ха-ха! — продолжил Петрушка, — Ишь какой — глаженый!

Тролев невольно оглядел несвежую петрушкину рубашку и скверно бритую того физиономию. Тот аж языком прищелкнул от удовольствия:

— А бросай ты все это к едрене матери! У вас же такая с нею любовь была, ей-ей-ей! Я и всем тогда рассказывал, вона мол, у меня сеструха втюрилась, — стихи пишет! А он, ты, то бишь, в подъезде у нас ночует, поближе так сказать... Это ж, Троля, первое дело — такая вот любовь-дружба. Такую на всю жизнь и еще на три таких хватит... А ты — брюшко, сорочки свежие...

— Сорочки... — беззвучно почти произнес Тролев.

— Ага, сорочки! — радостно вторил Петрушка, непонятно как и расслышав тролевский шепот. — Это, Троля, вы от счастия своего бежали, накала не вынесли страстей, значит! Мать-то до сих пор про тебя вспоминает, теща гипотетическая: где ж тот, говорит, Гномов? Ха-ха-ха! Нет, ты не думай, с уважением, с уважением, очень ты ей положительным казался, скромным, молчал все, потупимши, хе-хе, соглашался со старухой-то... А ведь известный ты, меж нами только, лицемеришко был, а? Помнишь, как мать Лемешева концерт смотрела и тебя спросила: как мол, ты, Троля, к музыке-то классической, а? А ты ей: со всем, говоришь почтением и пониманием моим. Ничего, мол, Евдокия Назаровна, более и не слушаю! А сам-то, сам, как вышла она, переключил, переключил, переключил!!! Так-то, брат. Но она тебя помнит и очень, между нами сказать, жалеет, что у вас с По-линкой этак все вышло-получилось... Ты не на "Маркса" ли сходишь-то? Ну и я там же, адресок вот тебе спишу...

Они вышли. Петрушка на ходу раскрыл свой "дипломатишко", и, почти не останавливаясь, накарябал на краешке газеты адресок. Неровно оторвал, засунул Тролеву в карман рубашки, пихнул того еще раз в бок, ввинтился в толпу и исчез как и не бывало, оставив Тролева стоять посреди людского шевеления. Тролеву же вовсе не нужно было выходить с Петрушкой на "Маркса", а нужно было дальше, в Сокольники.

На службе Тролев поуспокоился, засел за работу и даже с некоторым рвением.

Вечером, против обыкновения, вместо того, чтобы идти прямо в метро, вышел он на берег Яузы.

Пошел по безлюдной набережной мимо пыльных строений. Внизу маслянисто лоснилась река.

Тролеву она показалась неподвижной, будто никуда не текущей и странно-бездонно глубокой. Между берегами ее торчали полуистлевшие ребра мостов.

Вечер был тих и желт, так что Тролев лишь слышал шарканье собственных шагов.

Слабо звякнул трамвай на той стороне. "Сволочь Петрушка," — шепнул Тролев.

Опять же, против обыкновения, Тролев не стал открывать дверь своим ключом, а позвонил. Вышла теща — Антонина Васильевна (они с дочерью, тролевской женой, носили одинаковые имена) и удивленно сщурилась зятю. Умываясь, Тролев решил, что теперь же напишет письмо и занервничал. Много съел за ужином. Жены еще не было, и, ожидая пока теща домоет посуду и освободит ему кухню, он вошел к сыну. Тот сидел за столом и что-то клеил, и не обернулся. Тролев оглядел его худую с торчащими лопатками спину, прошипел нечто вроде "бал-бес-с-с..." и вышел. Зная, что теща с кухни прислушивается к его перемещениям, он смахнул с полки хрустальную пепельницу. Та упала и не разбилась. Тролев взял газету и прилег на диван.

2

— Не пора ли, тебе дружок, чем-то заняться, не все ж балбесничать! — сказал Тролев за воскресным завтраком. За окном сыпал бесконечный тугой дождь.

— Чем занят, Дима? — спросила жена.

— Ну вот хоть и историей, своей, русской... Небось и царей-то своих не знаешь... А пора бы, пора... Вон, про Стеньку прочти, про Кутузова... Книг-то, навалом у нас, слава Богу... Впрок, хе-хе!

— Да ну что вы, Димитрий! - вмещалась теща, — Какой ему Кутузов! Мальчику десять лет.

— Одиннадцать скоро, бабушка, — зевнул Тролев-младший.

— Одиннадцать! — передразнил Тролев. — Прежде дети к одиннадцати-то годам Библию наизусть знали.

— Ну вы, Димитрий, скажете — Библию! — ужаснулась теща.

"Верующий человек, хе-хе!" — подумал Тролев и продолжал:

— Я, Антонина Васильевна, не за Библию, черт с ней, с Библией, а за то, чтобы ребенок прошлое знал. Ибо зная прошлое, он будет лучше разбираться в настоящем.

— Но ведь — ребенок же! — воскликнула жена.

— И что?! Что с того, что ребенок?! Раз — ребенок, так и балбесничать, а?! Чушь, чушь, чушь!!!

— Хватит Дима, хватит! С утра в ругань! И так — с утра дождь! — взорвалась и жена, чего собственно Тролев и ждал.

— Ха, дождь! А мы свитерочки, свитерочки вязать, а? Антонина Васильевна?!

— Ну, пошло, поехало! — уже и кричала жена.

— Именно! — радостно подхватил Тролев. Именно! И пошло, и поехало! Бунтую, бунтую я! Зажрался! Хлебами сыт! Вот к истории вздумал сына приобщить, ан нет, рано ему, ему фигурки только двигать!..

Тролева впрочем, уже не слушали. Теща обиженно принялась за уборку, жена включила телевизор, сын ушел к себе.

Тролев порыскал на книжной полке, нашел книгу про Кутузова и вошел к сыну:

— Нет, ты в самом деле, почитай! Ты ж, поди, не маленький уж. Я-то к твоим годам уже про Наполеона знал... Даже и до сих пор помню его слова, последние, на острове святой Елены, когда умирал: "Франция, армия, авангард..." А? Вот про Кутузова знаешь как это... Вот скажем, какие тогда цари Россией правили, а? Екатерина Вторая, а? А потом сын ее, Павел Первый, большой любитель был до военных всяких развлечений... Муштра, знаешь, шагистика, шлагбаумы... Никто ведь не любил его! Сын родной потом — задушил! А мать, мать родная в ссылке держала! В Гатчи...Постой-ка, постой... — Тролев развернулся и вышел.

Назавтра, придя на службу, Тролев решил писать письмо. Обдумывая приветствие, он начертал на листе некую худую физиономию в профиль, пририсовал к ней бородку, тщедушное туловище, ручонки с острыми локотками и длинные вертлявые ноги. Расписался в углу, скомкал и бросил в корзину. Подошел к окну, — все тот же дождь, Поверхность Яузы пузырилась и вода казалась Тролеву далее еще глубже чем тогда, летом.

Вернулся за стол. Вспомнив про адрес, стал искать в записной книжке, в бумажнике, в портфеле — все в пустую. Перерыл все ящики стола, поднял каждую бумажку, и, убедившись наконец, что адреса нет пошел обедать.

Вечером дома он все же отыскал адрес в старой записной книжке. Переписал в новую.

3

В середине мая из Ленинграда нагрянул институтский приятель Мишка Фараон с сыном, ровесником тролевскому. На радостях пили за полночь коньяк. Фараон погостил дня три и уехал дальше, на Украину, но договорились, что на обратном пути все вместе, то есть отцы с сыновьями, поедут в Ленинград, уже к Фараонам.

Ночью в поезде Тролев не спал. Лежал на верхней полке плацкарта. На соседней храпел Фараон, а под фараоновской полкой спал, раскинув руки его, тролевский сын. Тролев смотрел на него и не мог оторваться — так непривычно в неясном вагонном освещении и сутолоке теней было ему видеть собственного сына. Среди бесчисленных полуощущений и полумыслей мелькающих в его мозгу, одна вдруг вылезла с дидактической твердостью: "Бог ты мой, а ведь я с младенчества его никогда и не глядел на него! Видел, но не глядел..." И продолжал смотреть на мальчика, а тот становился все бесплотнее, все прозрачнее, словно растворяясь в желтом свете и бегущих тенях.

Мальчик пошевелил рукой, как бы отмахиваясь от чего-то, и Тролев вспомнил это движение, вспомнил, что тот похож на своего деда, тролевского тестя, умершего два с половиною уже года тому. Столь же тихий, почти бесплотный, виновато улыбчивый человечек.

За год до смерти, после инфаркта, он вдруг разительно преобразился. Стал деятельным, шумным, насколько конечно хватало сил. Просыпался рано, часов в шесть, сам одевался (хотя недавно еще прибегал к чужой помощи), надевал старую свою фетровую шляпу, брал зонт с обломанной костяной ручкой и направлялся к двери. Тут обычно кто-нибудь из домочадцев успевал перехватить старика, он сопротивлялся, кричал, что опаздывает на поезд, что завтра в Лейпциге на симпозиуме его доклад... Хотя ни на одном симпозиуме он в жизни своей не бывал, а проскрипел лет сорок в конторе экономистом.

После каждодневного и неудачного побега на симпозиум, тесть, удрученно кряхтя, завтракал, доставал старый энциклопедический словарь, и скучно шелестя страницами, что-то выписывал оттуда в пыльную общую тетрадь. Иногда вставал и шел на кухню, пил минеральную воду, потирал ручки, и вновь принимался за выписки. После обеда, задремывал на диване, а после ужина, едва дотянув до телевизионных новостей, сразу же впрочем и засыпал.

Но всякое утро неизменно повторялось одно и то же. И вот однажды, как это всегда и бывает, старика проспали. Вечером, накануне поздно вернулись из гостей, не спрятали ключи, заспались, и он ушел. Спустился сам на лифте, и заметался по двору, совершенно забыв в какую сторону идти. Это-то обстоятельство и позволило Тролеву догнать тестя, тот уже садился в тролейбус. "Все, теперь помру," — прошептал в лифте смертельно бледный старик. Тролев крепко держал его под руку, и, обычно равнодушно вежливый с ним, вдруг отвечал: "Похороним".

Тролев вспомнил теперь, как в тот момент пожалел, что успел вытащить старика из тролейбуса. Хотя, иначе и нельзя было — и теща,

и жена смотрели из окна. И точно — тесть умудрился-таки простудиться тогда, а было-то и тепло и безветренно, схватил воспаление легких и умер в десять дней. В гробу лежал легкий, бесплотный, и, Тролеву показалось, что и радостный даже. Тролев и теперь остро пожалел что не дал старику убежать. Очень все же любопытно было, что бы произошло с ним потом.

Однако, внизу спит сын — болезненный, вечно тихий ребенок. Вырастет, будет сидеть в конторе, и жена его тоже — в конторе. Домой будет возвращаться вовремя, жена разогреет ему вчерашнюю кашу, еще и подпалит ее, а он съест и не заметит, а пока ест, перескажет еще и газетные новости. Потом жена скажет, что надо бы сына (тролевского стало быть внука) в бассейн отдать, а то хворает много, и он согласится — надо. Будут приезжать к Тролевым на юбилеи, обсуждать газетное, чай пить с конфетами. А Тролев будет слушать и ненавидеть их тихой, живой и необъяснимой как все живое ненавистью.

Тролев вышел в тамбур покурить. "Тью-тью-тью-тью!!! Как мы раскисли! Нахрапом ее, Тролев, нахрапом! Э-э-э-э! По-мужски! Троле-ев!"

Фараон жил на Подьяческих, в доме с фонтаном во дворе, в обширной коммуналке, в аппендиксе, образуемом коридорчиком, отходящим от основного и упирающимся в две комнатенки. Фараон возвел перегородку и, отделив свою часть коридорчика, стал обладателем почти отдельной и даже с маленьким холлом двухкомнатной квартирки.

Фараон сосредоточенно разбавлял спирт, жена его суетливо собирала на стол, дети возились в коридоре. Тролев сонно наблюдал за всем и тайком позевывал. Еще ночью, в поезде, он положил себе уйти при случае, соврать что-нибудь, оставить сына у хозяев, сказаться делом и уйти, поехать "туда". Теперь же разморило его и идти не хотелось.

Курить выходили в большую угрюмую кухню, и там фараоновская жена продолжала про кактусы, про то, стоит ли их держать тут, где и солнца-то бывает полчаса в сутки, известно — колодец, а вот наверху такую же квартиру разделили на две, кто-то там родил, кого-то не прописали, кто-то помер... И вот тебе! На что Тролев хрипло заметил, что несправедливо этак, если кто-то, в трамвае, обмахиваясь газеткой, скажет про тебя: "Помер Петька-то, не с кем и в дурачка перекинуться, сучья жизнь!" Нету в нас благоговения перед кончиною! "Во загнул!" — отвечал Фараон и позвал за стол.

Долго пили спирт и ели. Тролев мрачнел. Фараон же, пьяный, пел что-то слезное, сам собой дирижируя. Улучив момент, Тролев вышел, но на входной двери обнаружил столько замков, что открыть их все и

не наделать шума счел невозможным. Вспомнил, что на кухне есть "черный ход". На цыпочках пробрался туда и увидал там старушек — фараоновских соседок. Долго стоял, наблюдая будничное их шевеленье. Старушки же за хозяйством Тролева не замечали. Наконец, когда сели они кушать, Тролев пробрался к заветной двери, бесшумно снял крючек и был таков.

Очутившись во дворе, заглянул в чашу фонтана — пыль и собачьи какашки. Обернулся, увидел, что двор — проходной. Вышел в соседний, потом в следующий, пересек улицу и дальше, дворами. Вот канал. Ветер гонял по нему шлепающие седые волны. Из-за облаков выпрыгивало солнце и волны коричневели. От мельтешения их и плеска в тинистый гранит набережной у Тролева закружилась голова. Вода пахла пылью. Тролев пошел назад. Не доходя до двора с фонтаном, в соседнем он сел на скамейку.

По небу мчатся сизые облака и роняют капли дождя, но во дворе душно. Два чахлых куста посередине. Иногда солнце брызжет в окна дома, и, отражаясь, слепит Тролева. Окна же все завешаны белесыми занавесками, и лишь одно, на третьем стаже, открыто настежь. Тролев словно дремлет с раскрытыми глазами.

"Ехать собрался...хе! с цветочками... хе-хе-хе! а тогда-то, тогда, а? помнишь? как тоже... с цветочками...хе!" — зло вспоминалось как двенадцать уже тому лет, жарким летним утром, узнав, что будущая жена его беременна будущим его сыном, он поехал к "ней". В пыльном сквере сел ждать на скамейку против подъезда. Он знал, что вскоре она выйдет, потому что в тот день у нее был экзамен. Вышла, его не заметила, и он пошел за ней, и следил до самого института, и там стоял в конце коридора, выглядывал из-за угла, сжимая в руке три увядающие гвоздички. После экзамена она вышла не одна, с подругами. Дворами он забежал вперед, чтобы выйти как бы навстречу, и уже было вышел, но увидел, что у двух гвоздик сломаны стебельки. Взял их в другую руку и мучительно соображал, сломать ли и третью или же выбросить эти две. Тут она его окликнула, и он, краснея, засунул два цветка в карман брюк.

В индийском кафе на Чистых прудах пили они кофе с кардамоном. Плохой кофе пряность делала отвратительным.

Ее решительно веселый тон взятый с самого начала Тролева и злил и придавал в то же время некую раскованность. Он сообщил о беременности своей будущей жены, и она его поздравила, и даже предложила выпить за это. Уж не яду ли, поинтересовался Тролев, а она мило отвечала, что этак слишком мрачно, да и ребенка, неужто не жалко

ребенка?! Он сказал: понятно, соображения твои в высшей степени гуманны, что даже простая арифметика нам всем подскажет, что конечное счастье двух существ всегда существеннее (хе-хе!) одного, да и того скорее предположительного, да и даже вовсе нереального. Простая арифметика. А она отвечала, что дело не о счастье, а просто — о жизни. Ах, да, это ты верно изволила, именно о жизни, как единственно возможной предпосылке для счастья, счастья все же!, всякой органической материи. И затушил сигарету о самый центр несчастной гвоздики. Испортил цветок! — нахмурила лоб она. Ага! Ну да и черт с ним, все равно не живой уже, труп, хе-хе! Она встала из-за столика. Что, и все? Да-да, тут пострадать нужно, очищает, все толкуют, кто страдал... Она не слушала, быстро шла по бульвару к метро. Он семенил рядом, заглядывал в ее лицо, уничтожающе гладкое. Вот бы визжать!.. Он вздрогнул и поднял голову: в окне третьего этажа, того, распахнутого, стояла молодая женщина, держа в руках работающую кофемолку. Смолола, отошла от окна.

В духоту колодца опустился душный запах кофе. Женщина появилась вновь. С коротко стриженными волосами, издалека она казалась совсем молоденькой, но лицо ее уродовали круглые очки с толстыми стеклами. Она отпивала кофе маленькими глоточками и смотрела во двор, казалось прямо на Тролева. Он досадливо кривился, и хотел было встать, но неожиданно понял, что женщина его не видит, что пристальный ее взгляд значит не что иное как близорукую задумчивость, столь выразительную у плохо видящих людей. Для нее Тролев был не более чем темным пятном на сером фоне двора-колодца; и он, уже без стеснения, тоже стал смотреть на нее. И даже нагловато улыбаться.

Наконец, она сняла очки, потерла их о край халатика, допила кофе и исчезла. Тролев продолжал смотреть на окно и вдруг явственно ощутил, что к запаху кофе примешивается еще и слабый, но неприятно дразнящий запах карадамона... Любопытство — пойти узнать, с кардамоном ли на самом деле был кофе и откуда у нее такая редкость — эта пряность, - впрочем, тут же исчезло. Тролев закрыл глаза.

Кто-то пересек двор, тяжело ступая по неровному асфальту. Звуки эти вдруг вызвали в Тролеве необъяснимо острый приступ жалости и к себе, и к жене, и к теще, и к сыну, и ко всему на свете прошедшему, настоящему и будущему. Он представил, как будет звонить сегодня в Москву и покаянным голосом говорить что-то, спрашивать, объяснять и обещать.

По воскресеньям они ходят поминать его тестя в церковь, что на Воробьевых горах. С недавнего времени берут с собой и его сына. Тролев усмешливо смолчал, но из любопытства решил даже сходить со всеми разок. Процессия нелепая и трогательная: впереди теща, высту-

пает цапельным шагом, в туфлях на высоком каблуке, за ней — жена, почти точная копия матери, в очках, по-птичьи задрав голову, а рядом плетется сын, косолапя, созерцая стоптанные свои башмаки. В храме теща привычно крестится и покупает свечку. Жена не крестится — для нее посещение это — простая неизбежность ритуала. Сын — озирается, по лицу его видать, что он хочет удрать — он боится церкви, старушек в платочках и запаха свечей. Ему душно здесь и страшно. Теща подходит к иконе. Тролев не знает к какой, потому как стоит в притворе, он тоже боится церкви, и тоже с детства. Теща зажигает свечку, растапливает ее конец и ставит рядом с другими, уже наполовину оплывшими. Молится, шепчет что-то. Сухо стоит рядом жена. Сын страдает. Тролев наполняется ужасом смерти, и шепчет, глядя на сына: "А я про Библию ему... дурак..."

Тролев открыл глаза. Чуть склонившись влево, в проем подворотни увидал своего сына и фараоновского, склоненных над фонтаном. Младший Фараон ковырял что-то палкой, а тролевский сонно за ним наблюдал. "Вадик, Вадик," — позвал Тролев тихо. Сын обернулся, сщурился в сторону отца, но того не увидев, вернулся к приятелю. "Куда ехать-то!"— вздохнул Тролев.

Вечером он позвонил в Москву и скупо сообщил, что выезжают завтра ночным.

4

Утром следующего дня Тролев отправился с сыном в Петергоф смотреть фонтаны. Зная, что до Петергофа близко, сел он в первую попавшуюся электричку. Однако, после Лигово поезд, вместо того, чтобы идти вдоль залива, повернул влево. Тролев бросился к схеме и увидал, что едут они по другой ветке. На следующей станции пришлось выходить, чтобы пересесть и ехать обратно. На платформе Тролев прочел название станции. Почуя недоброе, достал записную книжку и убедился, что да, это и есть то самое Горелово, где живет она. Посмотрел расписание — обратная электричка шла через двадцать минут. Схватил сына за руку, и, озираясь по сторонам, спустился по лестнице. Быстро пошел по улице.

Вот этот дом, большой, нелепый, в несколько частей, и в каждую ведет своя калитка. Стоя за деревом, Тролев судорожно придумывал повод войти. Сослаться на Петрушку, встретил мол, в том году, да и оказия вышла, решил заглянуть... Но чем больше логики находил он в этом объяснении, тем сильнее билось его сердце, тем труднее было выйти ему из-за дерева. В глубине сада играла какая-то девочка, укладывала куклу в коляску, в которой не хватало половины колес. "Мо-

жет это ее девочка...” — подумал Тролев и посмотрел на часы. В то же мгновение послышался вдали гудок поезда. Он схватил сына и помчался что было сил обратно, к станции, благо близко, задыхаясь, спотыкаясь. “Эх, цветы, цветов-то... не купил!..” — выковыривалось в мозгу. Едва успев вскочить в электричку, он взглянул еще на убегающую платформу, мелькнула какая-то женщина, почудилось, что она, и все исчезло. “Впрочем, какие цветы! Абсурд, хе-хе!..”

В Петергофе сияло солнце, синели золотом фонтанные фигуры. От трескотни фонтанов, яркого света и людского гомона у Тролева разболелась голова. Он бегом почти протащил сына по главной аллее. Сели на “Ракету” до Дворцовой набережной. Тролев глядел на низкие берега залива, где слепящим призраком расползался по горизонту город. Кофейного цвета вода блудливо переливалась в будоражущем блеске солнца. “Соленое, соленое...” — бешено бормотал Тролев. Вода виделась ему очень мелкой, едва прикрывающей липкий ил дна. Но вот само-то дно имело глубину нескончаемую.

5

Год спустя, в конце мая, по окончании сыновой учебы, по настоянию жены, Тролев созвонился с Фараонами, и сам-три, то есть, всем семейством, отправился в Ленинград. Лето начиналось дождями и сыростью, а Тролев сырости не переносил и чувствовал себя скверно. Вдобавок и сердце шалило еще с зимы, но жаловаться он боялся. Может и от того, что жена будет заставлять его бросать курить, а это-то и пугало. И чем сквернее было ему, тем больше он курил и тем обреченнее плелся с молчаливым Вадиком за стремительной женой то в Эрмитаж, то в Русский, то еще Бог знает куда. Равнодушным взглядом скользил по позлащенным останкам чужой жизни и засмотренным до плесени старым полотнам, изведя себя тщетной мечтой — подремать на диване под пледом. В гостях, понятно, несбыточно.

В тот день отправились в Павловск. С утра шел мелкий дождь и Тролеву было особенно худо. В электричке жена заставляла его читать путеводитель и запоминать стилевые подробности предвкушаемых ахов, а сын приставал с шахматами. Тролев “зевал” фигуры, проигрывал, а сын невозмутимо ставил новую партию.

В парке было многолюдно, пахло сыростью. Тролев плелся по аллеям, курил и задыхался от одышки.

Как-то незаметно они очутились на липовой аллее странным образом совершенно безлюдной, лишь вдалеке одиноко маячила чья-то фигура в длинном плаще с капюшоном. И вдруг стало тихо и дождь

перестал, Тролев остановился и поднял голову. Бесконечная аллея вековых лип осветилась желтыми бликами и новая зелень травы засияла солнечным светом. Какое-то радостное предчувствие едва коснулось Тролевской души, так что он почти и не осознал его, но начал успокаиваться.

Они спустились к реке и вышли на мостик. Остановились, глядя на светлую воду, на цветущие сиренью берега. Справа, из-под склоненной ивы, выплыла вереничка утят с уткой во главе. Утка подплыла к маленькому водопаду, шумевшему под мостом, соскользнула вниз, грациозно развернулась на спокойной воде и стала звать утят. Те же заметались наверху, не решаясь приблизиться к краю. Потом один — самый храбрый, встал на край плотины, и, казалось, зажмурив глаза, бросился вниз, а следом еще двое, и, наконец, все, гордо и взросло плавали рядом с матерью. Тролев усмехался. Сын достал из кармана шахматы. Жена же принялась кормить уток кусками бутерброда. Тролев отвернулся. Сошел потихоньку с моста и сел неподалеку на скамейку, подстелив газету.

Пригревало солнышко, набегал теплый ветерок, радостно обвевая лицо. Отраженные небо и берега колебались в прозрачной реке, то погружаясь в нее, то всплывая. Тролев завороженно глядел на воду.

— Мама, мама! Тут утки! — раздался детский голосок.

Тролев открыл глаза и увидел как сверху, из-за деревьев выбежала девочка лет шести и быстро спустилась к мосту. Стала рядом с его женой. Девочка перегнулась через перила и сверху тут же послышалось:

— Света, осторожно! Не перегибайся!

Тролев вздрогнул. Еще не сознавая причины волнения, он машинально достал сигарету и закурил, жадно затянувшись. И вмиг все: и солнце, и вода реки, и зелень травы — показались ему черезчур яркими, гнетущими. Он поглядел наверх на тропинку; по ней медленно, беседуя, спускались две женщины. Пошли не на мост, а вдоль берега, по дорожке, у которой стояла тролевская скамейка. Тролев курил и напряженно глядел на них. Он узнал обеих. Одна — худенькая, в синем сарафане, в очках с толстыми стеклами, сосредоточенно глядела под ноги, слушая свою подругу; та же говорила, Тролеву ка-залось, что-то насмешливое, иногда замедляя шаги и поправляя большую белую заколку, скреплявшую на затылке ее теплые ботичеллевские волосы. Тролев старался, но не мог уловить что же говорит она, и думал: вот, как постарела. Он пытался еще сообразить, что же делать ему, бежать было поздно, закрыться нечем, газетка под ним намокла, так что бесполезно и доставать и разворачивать ее... В голове проносилось нечто и вовсе нелепое: вот, намочил газету...сюда приехал... цветы, цветы

сломал... Петрушка... все Петрушка... он здесь... он в кустах... он шпионит...

Они прошли мимо. Та, что в очках, поморщилась и слегка отмахнулась от волны табачного дыма... Она же, она лишь скосив на него глаза, отвернулась в сторону реки, не давая Тролеву счастья в последний раз заглянуть в ее светлые глаза, не слыша его, тролевской боли, и надрывного, прерывистого уже, бешеного биения его сердца.

Владислав Пинхасович

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ

Стихи

***

Гуляя в Петергофском Парке,
ты как гусляр в подводном мире,
в воображеньи строишь церковь
и возвращаешься к жене,
а здесь вокруг тебя химеры,
и здесь кругом тебя русалки
гуляют в Петергофском Парке,
или в неведомой стране.

Лист подорожника на ранку —
стихотворение на память:
корабль в небе с ревом ходит
над паутиной городка, —
не думаю на травы падать,
на восковых прекрасных крыльях,
Ты ждешь меня в аллее парка,
трава причала высока.

ТАТУИРОВКА

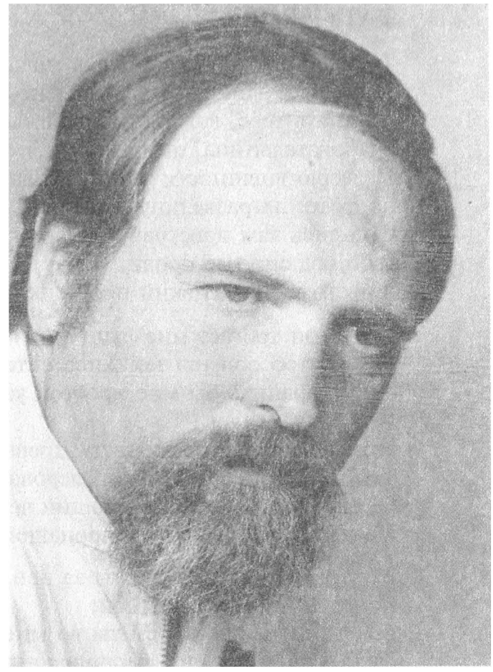
Татуировка, как украинская ночь, тиха.
И с ней я одинок. А ты меня не слышишь.
Не знать тебе, как ты из глубины стиха,
очаровательница, дышишь.
Не верю внешности твоей, когда смотрю
на фото: на развалину любови.
Остались там навстречу январю
твои содвинутые брови,
в цветочек миленький простецкий сарафан.

И что он трогает мне душу?
Не то чтоб облегал так живо ситец стан, —
с чего хранить бы мне простой узор?
Послушно
его мне память предлагает? Древний грех.
Так нежен я с тобой, как следовало б с жизнью!
О! был бесспорно и пропащий человек! —
Но что ж теперь-то я к пропащему завистник?

Татуировка на руке: не ты за ней,
но дух элегии прохладной;
чем одиноче здесь, тем ты во мне свежей,
воспоминаний ветер беспощадный
впрок... Разве копятся мелодии в душе
впрок? Разве не одна звучит до темной ночи? —
На раме выткал сна бормочущий клубок
твои таврические очи.

ПЯТНА

Сквозь шум, сквозь гам, сквозь плеск вина, сквозь
канитель,
сквозь "сновымгодом" — дзынь и безвозвратно,
хмель набегающий и откативший хмель
со скатерти глядят мне в радужные пятна.



Владимир Тучков

Рассказы

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ПЕТРОВ

Взревел двигатель, пропеллер превратился в китайскую фарфоровую тарелку, и пилот Петров погнал свой спортивный самолет № 21 по грунтовой дорожке навстречу сгущающейся смеси азота с кислородом, с удовлетворением ощущая ягодицами плотно сложенный парашют.

Про Петрова в отряде слагали легенды и анекдоты, чему в немалой мере способствовал его внешний вид, состоявший из кожанного реглана, прически "бокс", плотно набитого "Казбеком" портсигара, запаха "Тройного" одеколона и неморгающих глаз. Вначале, когда он впервые появился на аэродроме, инструктора решили, что паренек стебается. Однако на первом же ознакомительном собрании, после вопроса "Вопросы есть?" Петров встал и ровным уверенным голосом спросил: "Где можно встать на комсомольский учет?" И вынул из нагрудного кармана суконной гимнастерки знакомую лишь Егорычу и начотряда Литовцеву красненькую книжицу. А когда под дружное гоготание какой-то шустрый чернявый паренек ловко выхватил у Пет-

рова из рук билет, то голос, которым было сказано: "Верни, некоммунь!", заставил всех мгновенно умолкнуть. Голос прозвучал, как звук хорошо смазанного взводимого затвора.

С тех пор его стали звать то Мамонтом, то Роботом. Но в глаза говорили только "товарищ Петров".

Нынешний свой вылет он посвятил последней доводке и шлифовке перехода из "петли Нестерова" в "бочку", дабы на грядущем параде, который будет посвящен очищению страны от скверны, не ударить в грязь лицом и достойно пройти над трибунами мавзолея.

Мотор гудел ровно, высотомер равномерно увеличивал свои показания, на приборной панели ровными рядами горели только зеленые лампочки. Надежно пахло маслом и выделанной кожей реглана.

Прозвище "Робот", которое Петров приобрел за глаза вскоре после "Мамонта", передавало не только и не столько его бытовую поведенческую запрограммированность — например, его ежеутреннее бритье всегда состояло из 54-х скребков — но прежде всего его уникальные летные достижения.

Так во время учебного боя никто даже не пытался противостоять Петрову. Все мгновенно уходили вниз и садились где придется и как придется, поскольку в лобовой атаке он был подобен зубилу. Известен случай, когда Петров, отчаявшись найти достойного противника, снизился до полутора метров и пошел в лоб на пассажирский поезд. И настолько красноречив был вид его лица, полыхавшего за лобовым стеклом ледяным пламенем, что машинист остановил состав и погнал его задним ходом что было мочи.

Петров, думая о ручке управления и секторе газа, резко взял ручку на себя и одновременно отжал сектор газа. Машина взревела и ринулась в вертикаль. Авиагоризонт начал вращать плавное яблоко, высовывая голубое, припадочное. Стрелки, словно продажные девки, начали податливо валиться навзничь. И лишь вольтметр непоколебимо стоял на 27-и вольтах.

Про Петрова в отряде рассказывали разное. И что правнук Чкалова по материнской линии, и что готовится мстить за отца, навеки оставшегося в Афгане, и что в детстве мать-врачиха сделала ему операцию по удалению инстинкта самосохранения. Но все эти домыслы не объясняли главного — почему он пошел в спортивную авиацию, а не в военную, где и скорости выше, и возможностей убивать больше?

Перегрузка вдавила Петрова в кресло, где он покоился прочно, несмотря на положение вниз головой.

Ощущение было хорошо знакомым и приятным, освоенным еще в далеком детстве, когда он в красном своем галстуке вращался на

ВДНХ на аттракционе "Интерпрайз". И там, где другие дети и взрослые, в верхней точке, зажмуривали глаза и визжали, он хладнокровно совмещал воображаемый прицел с рестораном "Седьмое небо", жал на воображаемую гашетку и с упоением всаживал в опухоль на телебашне очерень из скорострельной пушки: "Та-та-та-та-та-та-та-та-та!!!"

Самолет, дошедший до верхней точки траектории, начал плавно валиться носом вниз, отчего скорость его начала возрастать еще больше. Кочегары стали с еще большим остервенением швырять уголь в топку. Стрелка манометра заплясала у красной риски. Машинист, не обращая внимания на разъедающий глаза пот, нервно метался взглядом между манометром, набегающими рельсами и скачущими вдоль состава косматыми всадниками. Казалось, пропеллер неистово разрубает молекулы кислорода пополам.

В самом верху лобового стекла появилась узкая полоска земли, которая стала шириться, а потом и стремительно приближаться. Но ручка управления находилась в правильном положении, и самолет начало выносить на более пологое снижение. Приближался переход в "бочку"...

Инструктора относились к Петрову двойственно. С одной стороны, знали, что убьет без оглашения приговора. С другой — радовались тому, что сподобились лицезреть летный абсолют. Когда Петров, чеканя шаг и поскрипывая регланом, стальной пружиной подходил к своему 21-у номеру, смотрели на него с испуганным восхищением, перебирая в уме известные исторические примеры. Но подходящего не было. И хоть ближе всех к Петрову стояли камикадзе, но и они не дотягивали, поскольку Петрова в деле мщения интересовал не масштаб, а сам абстрактный принцип. Он в равной мере был готов обрушить гнев свой всесокрушающей машины с отпиленными шасси как на атомную электростанцию, так и на укусившую его собаку. Поэтому инструктора испытывали огромную радость и когда Петров взлетал, и когда садился. Причем его приземление было необычайно артистичным — на мгновение коснувшись колесами земли, он вдруг напружинивался, отталкивался от ВПП и выполнял тройное сальто-мортале с пируэтом. И останавливался, словно прибитый гвоздями, и делал так называемый "комплимент" — крылья в стороны и вверх и белозубая улыбка на лице...

Однако авиагоризонту было уже пора занимать исходное положение, но он все еще процентов на семьдесят был красно-коричневым и лишь на тридцать голубым. Петров недовольно посмотрел на другие приборы. Счетчик показывал, что электричества нагорело на пять тысяч рублей. "Бывало и хуже" — отметил про себя Петров.

Но наконец-то полет стал горизонтальным. И в тот же миг ручка отклонилась от себя до нейтрального положения и рывком наклонилась вправо. Однако ожидаемого завинчивания в "бочку" не произошло! Самолет не слушался!

Петров до отказа повалил штурвал вправо, затем влево. Полет был прямым. Внизу забегали, засуетились. Петров даже как-будто услышал их гаденькое подхихикивание. И тогда он втиснулся в промежуток между левой приборной панелью и штурвалом и начал изо всех сил гнуть его ногами. Железо не выдержало и переломилось у основания.

Петров вернулся в кресло и закурил. Затем убрал комсомольский билет в неразрушаемый "черный ящик" и тщательно побрился. И до упора нажал на газ, чтобы поскореее покончить с этим постыдным делом...

Да, кстати, про парашют-то я совсем и забыл. Однако забыл про него и Петров. Точнее, он всегда воспринимал его не как средство экстренного спасения, а как удобную и мягкую подушку для сидения, поскольку, несмотря на молодость, страдал хроническим геморроем, доставшимся ему в наследство от отца-бухгалтера. Ведь именно слабый и студенистый, как внутренности улитки, циничный и беспринципный отец стал причиной его летно-комсомольской одержимости.

Минут через сорок близ подмосковного Красногорска прогремел страшный взрыв. Именно так об этом написали в газетах, однако газетные шлюхи ради трех штук за полстранички существенно исказили реальность. Ведь к моменту падения самолета его баки были пусты. Так что взрываться было нечему.

Местные девки и молодые бабы порезали неиспользованный парашют на куски и сшили из них множество нарядных сарафанов, которые быстро разошлись на вещевом рынке в Лужниках.

Однако смерть Петрова не была напрасной. Уходя, он забрал в небытие своего неродившегося сына-бухгалтера.

ПЕСНЯ О ПОРОЖНЕЙ МОЛОДОСТИ

Внутри транзисторного приемника натруженно жужжал жук... Хотя почему, собственно, транзисторного? Именно таковы теперь все приемники, ламповых уж нет и в помине. А посему становится горько от осознания своей замшелой старости, которая, будучи еще только зрелостью, встретила появление приемника детекторного, о котором теперь можно рассказывать с тем же успехом, что и о встречах с госпо-

дином Столыпиным, чье теоретическое наследие, даст Бог, вывергнет нас из состояния электрификации всей страны.

А пока, стало быть, внутри приемника натруженно жужжал жук, взмахивая крылышками — не хитиновыми чехлами, а исподними, довольно гибкими и эластичными, — взмахивая с частотой 1233 кГц. Потом наступила непродолжительная пауза и сразу после нее, раздавив жука подошвой, — я отчетливо услышал этот встреск — ведущий включил нечто, что у них почему-то называется музыкой. И поскольку ее источник находился в месте, недоступном для прямого прослушивания, отметил про себя: "Приемник зис из перископ для ушей", удовлетворенно хмыкнув по поводу сэкономленного тире, которое всегда влечет за собой и толкает перед собой два пробела (код 0010 0000). Что и говорить, дефис в три раза лапидарней.

Итак, он где-то там у себя завел музыку, предварительно сообщив, что радиослушательница Лена, позвонившая по телефону, данной песней группы "Браво" про оранжевый галстук поздравляет свою маму с днем рождения. Стало быть, слушай дорогая мама, про свою ушедшую молодость песню стиля ретро.

Потом были другие музыкальные заявки, другие песни про другие чувства. Но эта — про ушедшую молодость — не отпускала. Почему-то. Не было в ней ни особого внутричерепного ритма, ни какой-то чрезмерной пошлости. И вроде бы с какой стати скорбить мне по поводу ушедшей молодости Лениной мамы, которая, может быть, была лирично-задумчивой и закончилась огромной любовью и рождением дочери, может быть, озорно-шаловливой и началась с рождения дочери, а, может быть, это она уже потом придумала — что у нее была яркая и счастливая молодость. И что она в туфлях-лодочках до упалу танцевала твист и чарльстон. И что имела большой успех у московских "стиляг"... Правда, это уже скорее из бабушкиного лексикона, точнее из бабушкиных грез наяву, из ее придумок, родившихся, когда была в нынешнем возрасте мамы: "Иду я по улице, а стиляги так и падают, так и падают! И в штабеля складываются! (х/ф "Девчата")". А в действительности было по-иному. Но не будем, не будем будить фрейдовских демонов. Не будем омрачать выстраданный семейный праздник. Пусть пьют шампанское, ликер "Куросава" и чай с пышным пирогом — Леночка, ты же лишнюю свечу принесла! — А куда же мне ее деть, мамочка? — Молчать, господа!!!

Пусть светло и спокойно, без нашего с вами, читатель, свинства, радуются мифологизированному среднестатистическому прошлому.

К тому же песнь об оранжевом галстуке запала мне в душу совсем по иным причинам, о которых, видать, мне так и не удастся рассказать, ибо, чтобы не терять хода мысли, надо регулярно промывать и продувать сосуды головного мозга, что в практической медицине пока еще недостижимо. Так и приходится жить с жуком , жужжащим в коре головного мозга. И это все больше и больше становится внутренней

жизнью — внутренним содержанием — утренним держанием — утренним ржанием — трением дрожанием — нием нием...

Да-с, хоть бесы и сладкоголосы и стараются увести нас в джунгли эстетства, вернемся все-таки к насущному оранжевому галстуку. Вначале, абстрагируясь от цвета, звука, вкуса, тактильнних и галлюцинативных ощущений, присмотримся к слову "галстук". Игнорируя его иностранное написание, нюансы произношения и исходно-архаичное значение, на которое нам, русским, собирающимся после трудной смены или иссушающих лекций на танцы и повязывающим на шею сей увеселительный предмет, глубоко наплевать, выделим четыре первые буквы — "галс", что является морским термином. Что наиболее часто употребимо в сочетании с прилагательным "морской"? Волк и узел. Кто-то будет настаивать и на "морском бризе", однако проблему тавтологии предоставим решать незрелым умам.

Мы же за ненадобностью направляем морского волка в портовый кабак на поиски неизведанных венерических болезней и сосредотачиваемся на морском узле. Через три минуты натруженного жужжания эластичных крылышек с удовлетворением констатируем: слово "галстук" содержит в себе сведение о том, что его следует завязывать на шее при помощи узла.

Если же выделить четыре последние буквы, то получим слово "стук". В силу того, что его словарное значение скучно и выхолощено ежедневным употреблением, остановимся на жаргонных смыслах. Применительно к отечественной действительности тех лет, о которых поется в песне, оно означает "скрытно доносить в партийные, административные и общественные органы о проявлениях нелояльности как к какому-то конкретному руководящему деятелю, так и ко всему государственному строю". Следовательно, многократное употребление слова "галстук" в припеве адекватно воссоздает дух эпохи.

Второе сленговое значение: "стучать — играть в оркестре, а позже в ВИА, на ударных инструментах". Такой "галстук" также вполне уместен в песне, предназначенной не только для прослушивания, но и для танцев под нее. А в танцах, как известно, значение ритма-стука-галстука трудно переоценить.

И наконец-то мы подошли к самому важному — к цвету галстука. Он оранжев. При легкомысленной оценке колористического выбора автора песенного текста можно прийти и банальным выводам: лирический герой молод, задорен и склонен эпатировать окружающих, существенно отклонясь от общественного вкуса своей эпохи. Поэтому он не только носит свой галстук оранжевого цвета, но и вызывающе воспевает его достоинства. В какой-то мере это так, хоть лично я в его годы предпочитал малиновую "бабочку".

Но если мы подойдем к этой проблеме с научной точки зрения, то невозможно не отметить, что в спектре воспринимаемого человече-

ским глазом света оранжевый цвет находится на втором месте, после красного и впереди желтого.

Слеловательно, речь в песне об оранжевом галстуке, исполняемой группой "Браво" п/у Евгения Хавтана, сумевшего вдохнуть новую эстетику в свой коллектив, начавший сдавать завоеванные позиции после ухода из него вокалистки Жанны Агузаровой, чему, надеюсь, в определенной мере способствовала моя заинтересованная статья, опубликованная в еженедельной газете "Советский цирк" осенью 90-го года, в которой содержался ряд конструктивных рекомендаций выхода из создавшегося положения, которые... — Молчать, господа!!!

Да, жуки, жуки жужжат... Так об оранжевом в конце-то концов! Следовательно речь в этой песне идет об оранжевой молодости, то есть о второй, что полностью удовлетворяет сверхзадаче стиля ретро. Данное наблюдение позволяет сказать и о том, что выбор радиослушательницы Лены оказался не только точным, но и обоюдоприятным. Она-то думала, что поздравляет маму с прошедшей молодостью, отчего юная особа-поздравительница испытывала, сама того не сознавая, тайную радость — вот, мол, твое времечко прошло-закатилося, мой черед настал, уж я покуролесю, погудю! Однако поздравила ее с прекрасной реальностью — со второй молодостью!

И тут трудно сказать — кто кого! У одной отсутствие мешков под глазами по утрам и гибкость членов. У другой огромный опыт и постклимактическая вседозволенность. Сексуальная революция, Леночка, началась не в 60-е годы, когда американцы изобрели эффективные пилюли. В нашей стране это явление, во-первых, индивидуальное, а, во-вторых, принимающее форму бунта, который, как известно, у русских женщин бессмысленен и беспощаден.

Андрей Ранчин

ВОЙНА И МИР ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА:

о романе "Генерал и его армия"

Выход в свет произведения большой прозаической формы — для литературы последних лет безусловное событие. Тем более — если это (прошу простить за надоевшее до отвращения слово) "реалистический" роман, к тому же — об Отечественной войне. Такие произведения пишутся и печатаются сейчас не часто. Нет, незадолго до владимовского "Генерала и его армии" были изданы и другие романы об эпизодах этой войны, но они не оказались текстами большого жанра. (Не касаюсь художественных достоинств этих произведений — "Генерал и его армия" здесь одерживает несомненную победу.) Владимов пишет не о частном человеке на войне, не об одном или нескольких персонажах, но о судьбе человека и полководца в ее символическом, всеобщем смысле ("личное", может быть, как бы случайное имя которого — Фотий Иванович Кобрисов), и о народе-участнике войны, и о законе, иррациональной логике Истории. Эпизоды военной жизни генерала Кобрисова — нить, соединяющая фрагменты повествования, но не его доминанта.

Генерал Кобрисов у Владимова — не столько индивидуальный характер, личность, как почти символическая фигура — персонаж, испытываемый наградами искушающей власти, прежде безвинно унизив-

шей и едва не уничтожившей его, абсурдно обвинившей в покушении на жизнь того, кто ныне — Верховный Главнокомандующий. Испытание — доминантный мотив романа. Через испытание проходят, испытанию подвергаются все главные герои Владимова. Хитроватый и осторожный шофер командующего 38-ой армией генерал-лейтенанта Фотия Ивановича Кобрисова Сиротин, уверенный, что в разъездах по армейским позициям с этим генералом смерти не миновать и мечтающий о спокойной службе при более предсказуемом начальнике. Обиженный на генерала за незамеченные им заслуги, "позер", старательно вживающийся в образ комильфо, аристократа, адъютант Кобрисова майор Донской. Безоглядно, "по-собачьи" верный генералу ординарец Шестериков, спасший генерала от верной гибели в суматошный и сумасшедший день декабря сорок первого под Москвой, когда паническое отступление и даже бегство советских войск сменилось отчаянным, обреченным контрударом, перешедшим в наступление.

Искуситель всех троих, волею военной судьбы, самых близких генералу Кобрисову, людей — майор СМЕРШ'а Светлооков, неспешно и кропотливо собирающий сведения о генерале. И все трое отступят, отступятся: Сиротин и Донской — согласившись сотрудничать со Светлооковым, Шестериков — утаив от Кобрисова разговор со смершевцем и потому потеряв безграничное доверие и право на откровенность "хозяина".

Покидает Кобрисова генерал Чарновский один на один с заранее все решившим Жуковым, не осмелившись в присутствии Жукова поддержать на военном совете фронта.

В ситуацию выбора поставлены не только Кобрисов, его подчиненные и знакомые, но и их противник легендарный железный танковый генерал, "быстроходный Гейнц" — Гудериан, безвольно соглашающийся с очевидно безумным гитлеровским планом летней кампании сорок первого года и обманывающий чуть живых от холода и усталости, еще верящих командиру солдат успокоительными словами о подмоге, которая не придет, и о победе, которой не будет...

В поединке с судьбой, казалось бы, выигрывает лишь один герой — генерал Андрей Власов, смертельно рискующий, бросающий в бой против немцев чужую, предназначенную Кобрисову военную часть, которая должна была закрыть брешь на другом направлении. Не этот выигрыш — по воле капризного случая: Власов отдал приказ об обороне, однако дивизия пошла в наступление, непредвиденно оказавшееся началом перелома в битве под Москвой и двухсоткилометрового отката противника от столицы. Впрочем, победа для полуневольного ее автора знаменовала начало конца, падения, завершившегося в тот день, когда, "четыре года спустя привезут его судить и казнить..." в случайно спасенную Власовым от немцев столицу.

Внешне победителем предстает сам генерал Кобрисов, ожидающий верной отставки, но на подъезде к Москве узнающий о награде за не-

нужный, им не одобренный и не им проведенный штурм городка Мырятина. "Сегодняшний день — весь целиком — принадлежал генералу. Весь этот день он ехал триумфатором, потому что столбы с черными раструбами попадались на всем его пути, и каждый час гремело из них как с неба: — ...СТРЕЛКАМ И ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КОБРИСОВА...". Генерал возвращается к своей армии, рушатся надежды недоброжелателей-соперников. И не случайно известие о награде, новом звании, почестях услышали генерал и его спутники в окрестностях Москвы, на одном из кунцевских холмов, по ошибке принятом за Поклонную гору: в столице, в сердце России. в ставке Верховного Главнокомандующего он,Фотий Иванович Кобрисов, — защитник Отечества, — чужой. На этот раз ему лишь суждено увидеть издали городские окраины. Странным образом Кобрисов напоминает о Наполеоне, который недалеко от этого холма "стоял, ожидая напрасно ключей от Кремля".

Почести генералу — оскорбление, оплеуха, плевок, как тот жирный торт, принесенный следователем Опрядкиным (еще недавно с удовольствием бившим узника линейкой по пальцам) вместе с известием об освобождении: "Он стоял одиноко посреди шоссе (...) и он смотрел поверх голов на облако, медленно наползавшее со стороны Москвы, изборожденное серо-лиловыми извилинами, а снизу чуть позолоченное краешком восходящего солнца. Облако меняло свои очертания, (...) и вдруг оно заулыбалось, явственно заулыбалось ухмылкой Опрядкина. Той самой злорадной ухмылкой, не затрагивающей ледяных глаз, с какой он протягивал на тарелочке жирный сладкий ломоть. "А все-таки вмазали они тебе этот торт, — сказал себе генерал. Было и впрямь, как тогда, предощущение противной сладости на губах, сползающих с носа и подбородка липких сгустков. — Нравится? — И кушай на здоровье!".

Недавнему несправедливому "наказанию" в застенках НКВД зловеще соответствует незаслуженная награда. Но вина и грех — не только в приятии почестей и нового высокого звания ("Хотя бы и вернули его на армию — разве сам он останется тем же? Непоправимо никакое зло и не оставляет нас прежними" — размышления генерала, в которых слышится и авторский голос). Вина генерала — в погубленных солдатских жизнях, в том, что честолюбиво увлекшись желанием взять "жемчужину Украины" Предславль, он не подготовил другого плана — штурма захудалого и стратегически неважного Мырятина. Несбывшиеся славолюбивые, горделивые надежды генерала оказались оплачены кровью его армии: Ставка решила освобождать войсками 38-ой армии не "жемчужину Украины", а этот самый Мырятин. И останется генералу "только одно, не отменимое никакими наградами: помнить и угрызаться, что план по Мырятину был составлен наспех и брошен на полдороге, и все потери, которых могло не быть, повисли на нем...".

Не случайно Мырятин вызывал у Кобрисова предчувствие "чего-то рокового, может быть, даже смерти": победа в романе Владимова — легкая, ненастоящая для ее творца — неизменно оборачивается поражением, душевным опустошением, нравственными страданиями или гибелью. И в случае с Кобрисовым, и с Власовым, и с Гудерианом или Рейнгардтом. Муки совести, стыд, раскаяние или даже смерть — расплата за гордыню, за самонадеянность. Потому что о твоих победах возвещает не Божий голос с неба, но торжественно-ликующая речь диктора из черного рупора на придорожном столбе, напоминающая трубу Ангела — трубу Страшного суда. (Есть на душе у владимовского персонажа и еще одна — не ясно, насколько сильно осознанная — вина: подавление крестьянского восстания во время коллективизации, известие о котором ненадолго омрачает отношение бывшего крестьянина Шестерикова к своему генералу... (Кобрисов, решающий, не посещая Ставки, вернуться в свою армию — и торжествующий "победитель", и грешник, идущий на возможные мучения и смерть, которые могут выпасть ему на войне (а мог бы получить безопасную должность в тылу) — чтобы искупить необратимое, неискупаемое...

Но суда над героями сам Владимов не совершает: авторитарный приговор ему претит. Авторское повествование обычно, за редкими исключениями, — сухо-бесстрастное, объективное. Авторские оценки мотивированы точкой зрения, "кругозором" персонажей, от лица которых эти оценки и высказываются. Так, генерал Кобрисов изображается в восприятии собственном и трех подчиненных: шофера Сиротина, адъютанта Донского, ординарца Шестерикова, военачальники — участники совещания о судьбе предславльской операции — в видении Кобрисова. Солдаты Гудериана — с точки зрения их полководца. Гудериан и Рейнгардт — в форме "несобственно-прямой" речи, в которой автор передает их внутренние монологи. И столь значимая сцена в романе, как всматривание, взгляд Гудериана со стороны на себя и собственную подпись в приказе, обнаруживающий величественную фигуру "непобедимого Гейнца", но — обыкновенного пожилого, усталого и не очень здорового человека, и эта сцена представлена также в восприятии только самого героя — "Но вдруг он увидел себя со стороны, сверху, бредущим по дну бесконечного оврага, указывая путь одному-единственному танку, бессильному одолеть совсем некрутой склон. (...) Впервые обычная его подпись — без имени, звания, должности — показалась ему как бы отдельной от него, чуждой всему, что он делал до сих пор, чего достиг, чем прославился. Просто человек, голый и беспомощный, — Гудериан..." Судить себя может только сам персонаж, лишь сам человек, но не другой — ни автор, ни окружающие, ни Верховный... Поэтому, наверное, и нет на страницах романа Сталина и Гитлера — фигур однозначных.

Судят (или не судят) себя сами герои.

Война — и в этом несомненное отличие "Генерала и его армии" от многих произведений, посвященных военной теме — ничего не меняет во внутреннем состоянии, в переживаниях персонажей, не одаривает их новым жизненным опытом, не открывает прежде не известные истины. Ни о героизме и простоте, ни о величии народа персонажи Владимова не задумываются. Да и единого народного подъема, героических поступков автор романа не изображает, иногда лишь вскользь упоминая о них. Лихое наступление бойцов армии Власова (еще советского генерала) под Москвой, мимолетное, пунктирное описание молодого лейтенанта-танкиста, спешащего в бой навстречу противнику, уравновешивается зримо представленным несколькими страницами ранее безумным (сметали все на своем пути, убивали тех, кто пытался остановить, вернуть...) отступлением, нет, бегством советских взводов, рот и батальонов с линии фронта, с передовой. Верность долгу отделяет у Владимова от измены не пропасть, но тонкая черта. Генерал Кобрисов, попади он в плен, не исключает для себя власовского выбора. Ординарец Шестериков, отчаянно отстреливаясь от целого взвода немцев и оттаскивая под пулями в безопасное место грузного раненого генерала, за миг до того проигрывал в уме другое решение — сдаться в плен. И, может быть, только осознав, что этим не избежит издевательств и мучительной смерти, стал отбиваться от врагов. Изображение поступков героев на войне у Владимова неоднозначно, но никакого пренебрежения, уничижительной оценки их в романе нет. Это просто человеческое, естественное поведение — в котором есть и мужество, и страх, и самоотвержение, и цепляние за жизнь. И эти противоположные начала, мотивы легко, свободно переходят, перетекают одно в другое. "Дегероизация" поступков советских бойцов не случайна и связана не только с противостоянием официальной и официозной батальной словесности. Человек в основе своей, согласно Владимову, постоянен. Герои "Генерала и его армии" не меняются, они сформированы не войной, но прошлой жизнью, своим прошлым. Нравственные испытания подстерегают всегда и везде — и среди разрывов снарядов и мин, и в мирной жизни. Искус власти, простодушно-коварные уловки смершевца Светлоокова не менее пугающи и сильны, чем страх смерти.

Неплохой, храбрый и как будто бы лишенный надменности и сановитости артиллерийский офицер Светлооков ("светлое око государево") становится рьяным и бдительным контрразведчиком, отделяющим себя от прежних добрых знакомых подчеркнутым чувством особости, превосходства.

Герои Владимова могут стать "хуже", но не лучше. Исканий, душевного роста, духовного подъема персонажей Владимов не изображает.

О войне за свободу — очищающей, возрождающей силе, о народном подвиге духа до Владимова было уже не раз сказано, и прежде всего в "Войне и мире". Толстой избавил автора "Генерала и его армии"

от необходимости выделять, акцентировать ставший "общим местом" мотив. Толстовское начало во владимовском романе очевидно — порой даже слишком очевидно, обнажено. Владимов одновременно продолжает Толстого и полемизирует с ним. Совпадают образы, детали — подобно Кутузову, накануне Бородинского сражения читающему французский сентиментальный роман госпожи Жанлис, генерал Кобрисов возит с собой и "штудирует" сочинения другого, более известного, но также вроде бы ненужного на войне французского писателя — "Кандид, или Оптимизм" Вольтера. Сходство деталей значимо: Кобрисов, болеющий, переживающий за своих солдат, напоминает Кутузова. Вольтеровский "Кандид" имеет и еще один, более глубокий смысл. Генералу Кобрисову не суждено "отдохнуть", уйти на покой, "возделывать сад", шаржированно сниженный в образе дачного участка площадью в целый гектар. "Сад", предоставленный по правительственным спискам — не приют, не дом. Зависим Кобрисов, свободен Кутузов, исполняющий лишь замысел, волю Провидения, полностью совпадающую с его волей полководца. Кутузов совершает лишь то, к чему призван: он уходит, исполнив веление истории. Кобрисову этой фаталистской свободы не дано.

С Толстым перекликается у Владимова тема случайности, непредсказуемости совершающихся событий. Случайно попадает на командный пункт Власова командир приданного Кобрисову соединения. Неожиданно власовский приказ об обороне понят как команда к наступлению. Вопреки всякой логике, здравому смыслу атака трех тысяч бойцов оказывается началом двухсоткилометрового отступления немцев — от окрестностей Москвы до Ржева. Случайное, вопреки всем ожиданиям обратившего внимание на жесты Шестирикова, появление советского танка, спасает жизнь потерявшего сознание и раненого и обмороженного Кобрисова. Непонятным для генерала Гудериана образом противник, нередко поспешно оставлявший позиции и даже целыми соединениями после первых немецких выстрелов сдававшийся в плен, вдруг начинал безнадежно сопротивляться в самых безвыходных ситуациях. С каждой победой, с каждым километром продвижения немецких войск вглубь России все ближе и ближе катастрофа.

Немотивированноеть приобретает даже абсурдные формы. Неуязвимый для немецких пушек танк Т-34 создают "враги народа", конструкторы — узники одной из сталинских "шараг". Недавние союзники и вчерашние враги, Гудериан и плененный им советский генерал П., за дружеским ужином обсуждают достоинства советской бронетехники.

Немотивированное у Владимова часто, как, впрочем, и у Толстого, — форма, проявление участия Судьбы в человеческой жизни и истории. Генерал Андрей Андреевич Власов самим именем обречен на участь победоносного воина, "в награду" получающего страшную смерть. И с ним — солдаты и офицеры его будущей армии. Ибо реше-

нис контратаковать немцев под Москвой он, тогда еще советский генерал, солдаты которого гордо называли себя власовцами, (еще не ощущая страшной иронии, укрытой Судьбой в этом слове) принял в церкви мученика Андрея Стратилата, "преданного и убитого со своим отрядом теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. "Значит, буду ранен", — решил генерал, но, нимало не устрашившись будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Но ведь прежде, подумал он, Стратилат одерживал победы, а уже потом был и предан, и убит. В конце концов, может быть, это и справедливо, за чудеса приходится платить".

Предчувствие исполняется, хотя и не столь прямо: Власов, все-таки не преданный другими, но предавший. Расплачивающийся спустя четыре года за незаслуженную победу под Москвой, за "наполеоновский маленький Тулон" и предваряющий другую незаслуженную победу — генерала Кобрисова под Мырятином, обороняемым не только немцами, но и солдатами РОА.

У Владимова, в сравнении с "Войной и миром", сама поэтика "случайности" предстает немотивированной, необоснованной, неорганичной. Избирая принцип случайного, Владимов проигрывает Толстому. Бунт Толстого против традиционного, принятого толкования причин и законов истории обусловлен, оправдан антирационалистической и провиденциалистской теорией, укоренен во всей структуре повествования. У Владимова же "случайностный" подход к истории странным образом сочетается с привычным объяснением событий и с оценкой военных действий, в категориях удачно и неудачно составленного и воплощенного плана, замысла. (Вина генерала Кобрисова — в том, что он не разработал детальный, продуманный, взвешенный план штурма Мырятина; автор "Войны и мира" никогда не оценивал полководцев по их военным планам и диспозициям.). Большое эпическое повествование требует идеи или теории как мотивировки, обоснования для собственной формы. Структура владимовского романа осталась нецельной, произвольной. Толстовская историософия воспринимается автором "Генерала и его арми" фрагментарно, становясь почти только литературным приемом.

Правильноеть или ложность выбора, поступка персонажа часто поверяется толстовским текстом. Осознание Гейнцем Гудерианом, читающем в яснополянском доме писателя "Войну и мир", того, что "в резерве Кутузова оставались главные русские преимущества — гигантские пространства России, способность ее народа безропотно — и без жалости — пожертвовать всем, не посчитаться ни с каким количеством жизней" — означают неизбежность предустановленного, но еще до конца не понятого Гудерианом провала зимней кампании сорок первого года, а затем — и проигрыша всей войны. Полководец все-таки не смог проникнуть в смысл толстовских строк, "так энергично звучавших на немецком"...

Классически толстовское в владимовском романе — противопоставление внешнего и внутреннего в персонажах: чина, должности и личной, неотторжимой от человека значимости, "самомнения" героев и их подлинной природы. Наверное, самый явный пример — упоминавшаяся сцена, внезапный отстраненный ("сверху" — с точки зрения, с места Бога) взгляд Гудериана на себя самого.

Почти неуловимые рисовка, актерство Власова по-толстовски (хотя и не с толстовской проповеднической прямотой) изобличают в нем какую-то слабость, изъян, открывшиеся позднее.

"Играет" и адъютант Кобрисова, не постигший сущности толстовского взгляда на персонажей майор с аристократически звучащей фамилией "Донской" пыжится, натужно подражает "джентльменству" князя Болконского, — тому, что составляет в характере князя Андрея внешнее, ложное, наносное...

Обращение к "Войне и миру" как к образцу и канве, основе собственного произведения сочетается у Владимова с оспариванием Толстого. Толстой бестрепетно судил, смело судил своих героев, Владимов роли судьи избегает. Толстой рисовал движение характера, приобщение к народной полноте и простоте жизни, Владимов — нет. (сцена "народного пира-гулянья" на придорожной подмосковной обочине, случайные участники которого — собиравшие в поле картошку женщины, не снимает, но скорее лишь сильнее оттеняет отчужденность генерала от новых знакомых). Нет во владимовском романе и "второго Платона Каратаева" (ординарец Шестериков, как и толстовский герой, бывший крестьянин, но естественность и участливое отношение к генералу сочетаются у Шестерикова с хитростью и небескорыстной расчетливостью). Создатель "Войны и мира" писал о единении народа, всеобщей ненависти к завоевателям (Богучаровский бунт — исключение), автор "Генерала и его армии" настойчиво напоминает о первоначальной радости и даже ликовании, встречавших немцев в иных украинских городах, напоминает о жестокой борьбе между русскими, советскими, вставшими по разные стороны фронта. Толстой изображал войну, пусть в частных, немасштабных эпизодах, Владимов — почти лишь одни события в прифронтовой полосе, в штабе армии. Это естественно, если война не несет в себе нового опыта, не изменяет человека, но лишь проясняет, высвечивает его. Толстой повествовал о бесчеловечности, ненормальности, постыдности казни русских пленных врагами-французами, автор "Генерала и его армии" без лицеприятия, стремясь высказать свою правду о последней великой войне, — рисует мерзостные, по суду и бессудные, убийства русскими, советскими своих перебежчиков, полицаев, старост и пленных немцев. Представленная Владимовым реальность войны страшнее, суровее, жестче, нежели толстовские описания, в свете владимовского текста оказывающиеся, выглядящие не совершенной истиной, полуправдой.

Толстой событиен, Владимов статичен, открытей, разомкнутой форме толстовского повествования предпочтено почти идеальное композиционное "кольцо": роман начинается с отъезда генерала в Москву и заканчивается возвращением в армию, все остальное, основное в романе — предыстория этих событий. Генерал Кобрисов, в отличие от любимых толстовских героев, не свободен в жизни, в историческом пространстве, он туго схвачен, затянут этим "кольцом". Другое время, другая Россия (хотя вместе с тем — и та же), иная война...

Но главный ответ на вызов Толстого — в самой форме произведения. "Генерал и его армия" — это эпопея, большой эпос, усеченные, обрезанные до тесных рамок, пределов романа. Ответ серьезный, но все-таки — жанрово — не очень удачный. Необходимое и естественное в широком эпическом пространстве "Войны и мира" сплетение нескольких не связанных сюжетных линий, монтаж эпизодов не на фабульной основе, но глубинному принципу смысловых соответствий, взаимоотражений и контрастов у Владимова превращаются в заданные, искусственные приемы, не рождают цельного текста. "Комкая" побочные, второстепенные линии, автор вынужден бесцеремонно поспешно и внезапно вторгаться в повествование, забегая вперед, в будущее порой на десятки лет, конспективно излагать мысли и чувства персонажей, сообщать — как будто бы без особой надобности — о будущей судьбе персонажей — осведомительницы Светлоокова Зоечки, генералов-участников фронтового совещания. Замечательные описания ослепшего от холода и снеговой белизны, обреченно и безучастно ползущего по дну скользкого оврага гудериановскоге танка или рассказ о смутных думах другого немецкого полководца, Рейнгардта, фрагмент, посвященный генералу Власову, остаются яркими мазками, скорее диссонирующими в общей картине, нежели создающими единый рисунок. Нарушают "камерный" биографический сюжет, жизнеописание генерала Кобрисова. Эпизоды с женой и дочерьми генерала не только выпадают из романного сюжета, но и по смыслу как будто бы никак не связаны с основным текстом. Толстовские приемы "случайностной поэтики" и акцент на провиденциальной силе в истории, рассказ об участи Власова выглядят несколько назойливыми, в отличие от "Войны и мира". В соотнесенном с большим эпосом повествовании Владимова пропадают, блекнут, теряются значимые, символические детали, рассчитанные на "микроскопическое", внимательное чтение читателя традиционного романа (сон Светлоокова, "использующего" Сиротина, Донского и Шестирикова, надругающегося над их мужской честью, упоминавшиеся вольтеровский "Кандид" и садовый участок).

Еще одна уязвимая черта в романе уже прямо не связана с Толстым, хотя и сходна с его стремлением демистифицировать историю, очистить от мифов (Тургеневский Евгений Васильевич Базаров назвал бы ее "обратным общим местом"). И лишенный почти неизбежной беспросветно черной краски портрет Власова, и упоминание, что его

армия, а не советские войска, освободила от немцев Прагу — "обратные общие места". И в наши "демократические" дни, в год юбилея Победы, приобретшего неприятно-приторный официальный привкус, они, наверное, не лишни. Впрочем, после "Архипелага ГУЛАГ" Солженицына это уже не новость. Эти настойчивые напоминания чрезмерно "публицистичны", откровенны, ангажированны.

Хрущов, эдакий ни бельмеса не смыслящий в военном деле, в стратегии и тактике, хитрован в расшитой украинской косоворотке, страдающий хлестаковским недержанием речи — наверное, даже наверняка, не шаржирован, таким и был. Но от этого не кажется менее скучным. Он не нов. Он плоскостен, одномерен. Железный деспотичный маршал Жуков, бросивший на смерть триста тысяч бойцов лишь для того, чтобы взять Берлин к первомайскому празднику и упредить союзника Эйзенхауэра; полководец, который мог стать образцовым только в нашем Отечестве, где о тебе судят по одержанным победам, но не по беспредельной, беспримерной цене, за них заплаченной — конечно, не хрестоматийный герой с парадного в глянце портрета, ныне усердно продвигаемый на вакантную должность национального кумира. Вероятно, этот владимовский Жуков схож с оригиналом больше, чем конная статуя, пока еще не поставленная на Красной площади. Но и о таком Жукове мы тоже уже слышали и читали.

И кроме и прежде всего: эти "обратные общие места" (особенно Хрущов и Жуков) не очень необходимы, скорее случайны в романном пространстве. Ангажированность, "публицистика" нанесла поражение литературе.

Исчисление изъянов романа, однако, занятие неблагодарное. Две сцены — встреча Гудериана с обессилевшими обмороженными солдатами его армии и генеральский "пикник у обочины" — две эти сцены, может быть, искупают недостатки романа. И кроме того, текст, напечатанный в 4-ом и 5-ом номерах журнала "Знамя" 1994 года — "журнальный вариант", то есть, видимо, не законченое, не завершенное произведение, но попытка текста, обещание большего. Будет ли, однако, роман "Генерал и его армия" полностью — вот вопрос?

Зинаида Миркина

НЕ УРОНИТЬ ЗВЕЗДУ

О поэзии А. Тимофеевского

Все мы знаем миф об Орфее и Эвридике. У великого певца умерла возлюбленная. Жить без нее он не может. И вот он спускается в царство мертвых. Песня его укрощает адских чудищ.

Пока нам неважно, что дальше. Этого достаточно, чтобы поразить воображение людей на века.

Ну а если он все-таки не мог бы разжалобить церберов? Если мифический подвиг ему не по силам, но... У прекрасного певца умерла возлюбленная. Жить без нее он не может. Без нее — абсурд, не жизнь. Но спасти ее он тоже не может. Ибо он все-таки не герой мифа, а обыкновенный смертный, пораженный красотой и видящий, как она на его глазах умирает. Над ней надругались, ее убивают — ту, без которой жизнь его не имеет никакого смысла.

Он не способен на сверхподвиг, но он не способен забыть свою любовь. И это ведь тоже подвиг... В мире, где умирают не только любимые, где умирает сама любовь, верность любви есть трагический подвиг, не вознагражденный ничем и может быть, никем не оцененный, и все же настоящий подвиг. Как жить в мире, в котором жить нельзя, но почему-то и умереть нельзя? Как быть живым среди мертвых?

Наивный Гамлет хочет цепь разбить,
Взять два звена из всей цепи сомнений.
Но мир не знает роковых мгновений,
Не существует "быть или не быть" —
Вот в чем разгадка наших преступлений.

Это маленькое стихотворение я могла бы взять эпиграфом к очень маленькой книжке Александра Тимофеевского, выпущенной смехотворно маленьким тиражом. "Зимующим птицам" — название книжки. Она и адресована зимующим птицам, не променявшим свою стужу на теплые края чужбины, нахохлившимся, замерзающим птицам — промерзшим душам, которые, как зимние птицы на ветках, сидят неподвижно и ждут. Чего?

Чуда. Сочувствия. Презрения. Им бы взлететь, упорхнуть куда-нибудь подальше. А они мерзнут и ждут.

Уехать, уехать, уехать.
Уехать надолго всерьез
От этого мокрого снега,
Саврасовских черных берез.

От тех, с кем и радость и горе
Хотел я когда-то делить.
С кем стало вдруг незачем спорить
И не о чем мне говорить.

Уехать от споров с судьбою,
Впустую растраченных дней,
Уехать от споров с собою,
Что, может быть, много важней.

Уехать, как некий Овидий,
Забыв, чем дышал я и жил,
Что яростно так ненавидел,
Что нежно и горько любил.

Кому-то ответствуя смехом,
Кому-то упрямо грозя,
Уехать, уехать, уехать.
Да только уехать нельзя.

Да почему же нельзя? Потому что этот Гамлет, все время выбирающий между тем, чтобы быть в аду или не быть совсем, прекрасно знает, что бежать от себя некуда.

Не бежать от себя, а искать свою бессмертную Душу — вот его задача. И задача эта столь же неотступна, как задача Орфея, ищущего свою Эвридику, и столь же трудна. Ему, также как и прославленному певцу, не миновать адских чудищ, вставших между ним и его исчезнувшей Душой — гармонической, светлой, детски-простой. Она есть. Она возникает перед ним, как луч.

О, может быть, на миг всего,
На самый краткий миг
Из тьмы, где нету ничего,
Тончайший луч возник.
И на одном его конце
Зажглась звезда моя,
А на другом конце повис
Противовесом я.
И долго ждать,
Недолго ждать...
Я все чего-то жду
И жаль мне нитку оборвать
И уронить звезду...

Этой звезде он верен.

Я измениться не могу
В своем единственном и строгом,
А так виновен перед Богом
И перед всеми я в долгу.

Потому и виновен, что все время чувствует на себе глаз своей Звезды. С него большой спрос и он знает, что не выдерживает этого спроса, и бесконечно казнит себя за это.

Покуда есть, хожу раздвоен,
Воспоминания конвоем,
Мне б руки ваши целовать...

Он ежедневно "руководит собственным расстрелом", чувствует себя бесконечно недостойным своей любви. Но он любит. Зовет. Тоскует. И только эта любовь и тоска делают его живым среди мертвецов. И еще чувство стыда, мучительное, как адский огонь. Стыда за своих близких, от которых он неотделим.

Его любовь к России — не в умилении, не в восхвалении, а в чувстве горького великого стыда. Она — его мать. И другой у него нет и не может быть, но —

Я добегу туда в тревоге
И молча стану
И мать в канаве у дороги
Увижу пьяной. Ее глаза увижу злые,
Лицо чужое
И космы редкие, седые
Платком прикрою.
Услышу запах перегара
И алкоголя,
И помогу подняться старой —
Пойдем-ка, что ли...

И мать потащится за мною
Мостком дощатым,
Хрипя и брызгая слюною,
Ругаясь матом.
Мне будет трудно с нею пьяной,
Тупой и дикой,

И проходящие все станут
В нас пальцем тыкать.
А мне, мальчишке, словно камень,
Позор сыновий,
Как будто в этом страшном сраме
Я сам виновен.
Как будто по уши измаран
В чужой блевоте,
Измаран, что ж... еще мне мало
Я плоть от плоти?
И удержать рыданья силясь,
Я тихо плачу.
О, пусть скорей глаза мне выест
Мой стыд ребячий.
И я тяну ее упрямо,
От слез слабея,
Хочу ей крикнуть: — Опомнись, мама! —
Да не умею.*

Вот его ад. Вот его казнь. Видеть, не отводить глаз от позора матери, от своего собственного позора. Он знает, что поругание светлого образа, по которому мы созданы, не пройдет людям даром. И он предвидит сердцем близкий апокалипсис. Он все-таки сумеет крикнуть: "Опомнись, мама!" Опомнитесь, люди! Он кричит это в своем потрясающем стихотворении "Хиросима":

Я был поэтом Хиросимы.
Не той, далекой Хиросимы,
А нашей, собственной, родимой,
Что запалили на Руси мы.

Я видел облак грибовидный
Не над Гоморрой и Содомом,
А над моей краиной ридной,
А у себя в саду за домом.
. . . . . .

Я был, как все, не мог иначе,
Раздавлен тяжестью сомнений,
Цепной реакцией охвачен
Убийств, предательств и растений.

*"России". 22.8.1968 г.

И я бродил по пепелищу,
И язвы обнажал такие...
И выродков встречал почище
Мутантов с острова Бикини.

Когда же становилось душно
От душ, разорванных на части,
Я думал лишь о том, что нужно
Кричать о совести и чести.

А дальше идет картина тотальной глухоты и слепоты. И это страшнее самой катастрофы, ведь

Облученные калеки,
Каких-то чувств лишась навеки,
Могли в разверзшееся небо
Смотреть без ужаса и гнева.
Они не чувствовали боли,
Не слышали мой вопль, толкуя
Все о хоккее и футболе.
. . . . . .

Они, от хохота икая,
Мне возражали: честь? Какая?
Что означает это слово?
Сейчас не времена Толстого.
. . . . . .

Они забыли, все забыли.
Пирамидоном боль запили.
Настроились на лад игривый.
Зачем же я, тоской гонимый,
Все повторяю им о взрыве?

Сила этого стихотворения, вес его, по-моему, перетянет многие тома современной поэзии. Но оно не услышано. Голос великого покаяния и предупреждение не услышан. И голос изнемогает:

Я был поэтом... был поэтом..
Вчера... во вторник... прошлым летом...
Какое-то забыл я слово
И мне его не вспомнить снова.*

Нет, он вспомнит. Он не даст своей памяти ослабеть. Он — в аду. Но он видит чудовищ такими, какие они есть. Да, у него нет внутренних сил, чтобы одолеть ад, но любовь никогда не даст ему забыться в аду, смириться с адом.

---

*"Хиросима". 1971 г.

Меня штурмует память, как пехота,
Я в беспощадном бешеном кольце,
А ваша память — след от самолета,
Вначале четкий, тающий в конце.

Да, голос великого покаяния. Но не гремящий голос пророка, зовущего каяться других. Это голос грешника, видящего свой грех и приходящего от него в ужас. Ад для него — не то, что с ним делают другие, а то, что он сам делает со своей душой Ад — это не наказание за грех. Ад — это сам грех. Он видит силу греха, которая растет, как огонь от искры. Он видит великий пожар в мире — цепную ядерную реакцию. Она происходит в духе. Жажда убийства, жажда мести. Убийство, плодящее убийство.

Существовать уже не чающий
К убийствам новым будет мысль стремить,
Сам пулю в сердце получающий
Он дважды успевает выстрелить.

Любимая, другим унижена,
Обдаст меня смертельным холодом,
Чтоб на удар ей: не убий жена!
Кричал я черепом расколотым.

Душа, на части неделимая,
Воссоздается и сжигается,
Ответь же мне, моя любимая,
Легко ль тебе в меня стреляется?
. . . . . .

Степан убьет Петра, а Петр убьет Ивана,
Все от того, от рас - щепленного урана.
А где же тот живет, кто убивать не любит,
Удар схватив в живот, в других стрелять не будет,

В цепи сломав звено, спасет меня от пули,
Прикрыв собою, но... его уже распяли.

Вот так входит в эту книгу тема Христа. Не извне. Изнутри. Сораспятием. Осмыслением Распятия как единственного ужасного выхода из ужаса мира.

Смертью смерть...

На это может решиться только не примиренная с потерей любовь, которая даже в смерти не умирает, и даже в аду сквозит чудотворным оазисом.

Пойдем, исполненны смиренья,
Туда, где осень сено косит,
Где дева с детскою свирелью
Слова безмолвно произносит.

Слова, как "даждь нам днесь", простые,
Как хлеба вкус и запах сада,
Слова, к которым мы остыли,
А их-то нам с тобой и надо.

А звуки те, что нас манили,
И те, которым мы внимали,
Подобны играм беса или
Напевам Демона Тамаре.

Весь ужас современного Апокалипсиса не лишил А. Тимофеевского ясности зрения. Кришнамурти сказал как-то, что если бы мы увидели реальность зависти, как видна реальность кобры, мы бросились бы бежать от нее, как от кобры. Александр Павлович видит реальность человеческого греха как реальность кобры. И кричит от этого с великой (не постесняюсь этого слова) поэтической силой. Голос Боли и Любви звучит и раскатывается в этой маленькой книжке. Голос, напоминающий о "ценностей незыблемой скале", ставящий на свои места все, что смешалось и разбрелось в современном духовном видении. Зрение поэта осталось незамутненным, слух ясным. И "игры беса" или "напевы Демона Тамаре" его не зачаруют. Душе его нужно другое:

... капельки росы
во мху. И папоротник пышный,
И яростный полет осы,
И бабочки полет неслышный,
И шум берез, и птичий гам,
Осины робкой колыханье.
И солнце сквозь ветвей прогал,
И Бога ровное дыханье.

Евгений Шкловский

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ

Поэт, который сказал: "Времена не выбирают, в них живут и умирают...", можно быть уверенным, вписал свое имя в святцы русской поэзии.

Причем и сказано это им давно, во времена несвободы, когда и ему, как многим другим собратьям по перу, приходилось вырабатывать собственную линию творческого поведения, искать свою нишу в том достаточно узком пространстве, которое предоставлялось чересчур уж внимательной и заботливой властью.

А. Кушнер — поэт близлежащей жизни, которую почти не оторвать от себя, где все настолько близко, что с такого расстояния, сознательно избранного, родственно ощутимы невыразимая прелесть цветка, изящество какой-нибудь архитектурной детали, напоми-нающей к тому же о совсем других временах, грация человеческого движения...

Быт воспринимается А. Кушнером как та же архитектура, как искусство жизни, полное поэзии и теплоты. А такое возможно в любую эпоху, поэтому А. Кушнер — поэт культуры, пронизывающей все и вся, воспринимаемой им, коренным питерцем, столь же органично, как та же природа — чувствует себя своим и в золотисто-гармоничной античности, и в сумрачном средневековье, и в классицизме родного города...

Александр Кушнер. На сумрачной звезде. Новые стихи. "Акрополь", Санкт-Петербург, 1994.

Все одушевленное и неодушевленное дает пищу уму и сердцу, все достойно удивления и любования, во всем теплится жизнь, чьи корни тянутся глубоко в недра истории, и поэт черпает ее отлично отлаженной ритмикой и строфикой, то сдержанной, а то вдруг разрезвившейся метафорикой, подчас даже кокетничая этой своей искусностью и раскрепощенностью.

И что такому поэту времена?

Что ему Гекуба?

Может, не случайно новая книжка поэта "На сумрачной звезде", изданная питерским издательством "Акрополь", открывается стихотворением, которое начинается такими строчками:

Дайте мне, дайте башмаки пурпурные с загнутыми
носками
И одеяние, шитое золотом, с брильянтами и аметистами;
Сколько можно ходить в пиджаке, пробавляться тусклыми мазками
Повседневной живописи, с ее красками водянистыми?

Однако ж не зря, не ради кокетства пресловутой социальностью пустил поэт в свободный полет эти крылатые строчки — про времена, — которые вспоминаешь всякий раз, когда берут за горло тоска и безнадежность от неодолимого российского неустройства.

Вспоминаешь — как некую заповедь, в которой есть и отчаяние обреченности, и мудрость жертвенности, и мужество стоицизма российского интеллигента, неразрывно связанного с культурой, этикой и языком этой многострадальной и немилосердной страны, которой так мучительно, так катастрофически не везет и которая продолжает избывать неведомо кем начертанную судьбу.

И вдруг в том же, так полемически и с иронией к самому себе начатом стихотворении, в его изысканности и эстетстве, — такая кушнеровская, опять же мягко ироническая, но и непреклонно верная себе, проникнутая гражданским пафосом строка, почти программно венчающая его:

Встать за всех обиженных одни стихи горою
В этом мире рады, и строка чуть-чуть горбата.

Есть какое-то утешение, пусть даже слабое (с тем и живем), что замечательный поэт дышит с тобой одним воздухом, что не избрал в поисках — покоя и воли ли, цивилизованного благополучия ли — другую часть света, нередко более доброжелательную к чужестранцам, чем родная страна к собственным детям, а разделяет общую участь и общие же тревоги.

И говорит о том, что волнует каждого, решает похожие проблемы — теперь уже других, сильно переменившихся, но по-прежнеиу жестких по отношению к обыкновенному человеку времен.

И как многие — сравнивает, издали вглядываясь в такое, как кажется теперь, далекое прошлое. Вспоминает:

О студеной стране, об игре с огнем,
Разговорах при стукачах, замнем
То, как это случалось и чем грозило,
И отъезд соблазнял нас, как ход конем,
Но спасла нерешительность — наша сила!

Что же, теперь лучше, когда уставшая от бедствий страна торопится ступить на путь рассудительных стран, а "все другие дороги безумны, бездомны, страшны"?

Теперь даже не "что делать?", а такие вот витающие над страной и будоражащие растерянные души и взыскующие умы вопросы: как лучше и где лучше? Мертвой хваткой сжимающие горло холодные пальцы Истории. Дремучие и чуждые слова родного до боли языка, слепые и хриплые, в которых нет даже тени любви, — "свекровь, свояченица, кровь, сноха, эпоха". Кромешный, непросветленный быт и мутный вихрь времени.

Кто знает, как лучше?

Увы, разумные рассуждения потому и неверны, что разумны — какой тоскливый вывод! Из него ничего не выжмешь, кроме одного:

Будь что будет, а будет у нас впереди
То, чего ни поэт, ни философ не знает, ни Бог

Каждый раз выбирает Россия такие пути,
Что пугается Запад, лицо закрывает Восток.

Мысль не великая, но подчеркнуто антипророческая. Поэт и здесь — в центре общественного самочувствия, уставшего от левого и правого, и всякого пафоса. Но в его фатализме, как и в ироническом стоицизме, больше честности и мужества, нежели в крикливом поношении или столь же крикливом возвеличивании.

Кто знает, где лучше?

Что ж, на этот вопрос поэт отвечает опять же из своего афористического, но вполне определившегося как позиция и потому ответственного стоицизма:

Я скажу тебе, где хорошо: хорошо, где нам плохо.
Хорошо, где, к тебе поднимаясь навстречу с дивана,
Произносят такие слова, как "страна" и "эпоха" —
И не стыдно тому, кто их вслух произносит, не странно,
И всерьез отвечая на них, не боишься подвоха,
И болят они, как нанесенная в юности рана.

Хотя, пожалуй, сильно прибавилось и горьких слов, и вообще горечи, заставляющей думать даже не о жизни, а о смерти, опять же

не без иронии, но все равно печально:

Страшно жить, а не жить как раз
И не страшно...

О, эта всегдашняя интеллигентская ирония, это легкокрылое подтрунивание над всем и вся, включая и себя самого! Неужели ей нечего противопоставить, что не поддается? Неужели же поэту чужд сегодняшний религиозный энтузиазм, почти насильно вовлекающий в свою стремнину?

Если не выход и не спасение, то душе-то все равно опора и поддержка. Что ж, А. Кушнер с полным почтением и... прохладцей.

Духовные стихи в журналах публикуя,
Он думает, что Бог читает "Новый мир".
Мне скучно. Виноват. Привязан к пустяку я.

А между тем, ведь вроде бы понимает, что "на самом деле, Бог намного актуальней для нас, чем для людей тургеневской поры" и знает по собственному детскому опыту, как помогает молитва. Только, по его же признанию, ее теперь мало.

Зато вот "выпил — отпустило". И так обаятельна по своей человеческой, слишком человеческой наполненности простодушно-наивная, иронически-растерянная укоризна: "Что же это? Ведь нехорошо!", не только фонетически рифмующаяся со "свежо" — со все тем же острым и хмельным упоением жизнью.

Конечно, нехорошо.

Но что же действительно делать, если душа, не желающая самообольщения и самообмана, только этим и способна утешиться, а стихи дышат "неприличной лестью миру бессмысленному"?

А если — вот так, по-кушнеровски обходясь без громких слов, часто ничем не обеспеченных, о трагедии и страдании (надутая такая мера), с требованиями коих часто обращаются к поэзии, поэт же тужится, пытаясь выпрыгнуть из себя — и, увы, не соответствует.

Так не лучше ли — петь, как поется, а не выполнять чье-то задание?

Заметим, что А. Кушнер, и раньше любивший разговор, спокойную доверительную беседу и сейчас продолжает вести их — с самим ли собой, с воображаемым ли собеседником, с той же культурой, обращаясь то к Рембрандту, то к Пушкину, то к Блоку — с не меньшим, а может быть, даже с большим напряжением.

Разговор для него — не столько средство выяснения истины, сколько особенно необходимое в сегодняшней разобщенности совместное самоосознание и тепло общности. С теми, с кем у него родство душ, близость взглядов (кто хочет, может присоединяться).

Потому что в эпоху разомкнутых связей и скреп
Никому ничего объяснить не дано — и не надо.
Кислой правды назавтра черствеет подмоченный хлеб...

Что ж, сегодня, пожалуй, как никогда велика потребность в простой человеческой, несуетной и жизнеутверждающей — вопреки всему и вся — мудрости, то есть в умении сберечь душевное равновесие, сохранить не только интерес к жизни, но и вкус к ней, к малым и большим ее пустякам.

Так что спасибо кусту можжевеловому, листу кленовому, спасибо волей судьбы подвернувшимся Амстердаму, где хорошо, и Лондону, по которому можно мчаться в каретоподобном кэбе, огням над Невой и нежному поцелую, стихов неотразимому строю и чувству юмора, что помогало выжить...

А главное, помогает жить. Как и поэзия.

А. Ветлугин

ЗАПИСКИ МЕРЗАВЦА

МОМЕНТЫ ЖИЗНИ ЮРИЯ БЫСТРИЦКОГО

Роман

Сергею Есенину и Александру Кусикову

VIII

ДЕВОЧКИ, ДЕВЧОНКИ...

1

Каждая из них хотела остаться ни с кем несравнимой. А потому я и "решил вовсе бросить их". Это о дамах, о девицах. Оставались девочки, девчонки. Оставался запах не слишком дорогих духов, шуршанье шелковых юбок, едкий, разлагающийся осадок. Зачем? Для чего? Да вот хотя бы затем, чтобы постараться задавить память об Ирине Николаевне.

Окончание. Начало см. в № 1.1995

Гольденблатовский период окончился без шума, без скандалов. Просто, как после тяжелой болезни, проснулся я одним апрельским коралловым утром, раскрыл окна, полюбовался куполами Христа Спасителя и решил — довольно, будет! Если к честной жизни возврата нет, то хоть плутовать будем иначе. В свежести весеннего ветра, в пляске солнечной пыли угасли все чувства и к Ирине Николаевне. Показалась она мне гнилостным рокфором, что подавали вчера в Эрмитаже. Оставь его на ночь, поползет по столу.

Эвань, эвой, налейте чаши,
Несите свежие венки!..

И стал я искать свежие венки, искал четыре года подряд до самой войны, когда пути предопределились и явились новые полнокровные развлечения...

Я просыпался с одной ужасной мыслью: как бы развлечься сегодня вечером? Я был во власти того настроения, которое на Западе порождает клуб самоубийц, а в Москве особую предгрозовую неврастению.

Люди жили, как на постоялом дворе. В дождь и в снег, в ведро и в гнилую оттепель — по Арбатским переулкам сновали неукротимые призраки. Выбоинами гноились площади. В окнах Чуева, Филиппова, Виноградова лоснился постный сахар и увядали булки, у Шустова были свои особые счеты с живописью, трамваи усиленно рекомендовали "Уродонал" Шателена, и в литературно-художественном кружке, в двухэтажном облупленном здании на Большой Дмитровке заезжий светлоглазый француз проповедывал энтузиазм аудитории из рахитических юношей и перекисших дев.

Один писатель, идучи по Театральной и заглядевшись на квадригу, тройку коней сдерживающего на крыше Большого театра, — не сдержал своей истерики и камнем ринулся в снег, ботиками коричневыми вверх к белым каркасом затянутому небу. Писателя съели три равносильных, равноценных желания: идти на Кузнецкий к Сиу, идти в Охотный к Лапину, идти на Петровку к Мюрмерилизу.

Пестро подмигивал Мамонтовский "Метрополь": "тот, кто строит свой дом, научается жить"...

Одна пожилая артистка приняла стрихнин, будучи не в силах совладать с желтизною кожи на груди. Поэтессы — волосатые, чубатые, стриженные — толпами наполняли аптеки в поисках цианистого калия. Поэты — в смокингах, в желтых кофтах, в мужицких армяках — нюхали кокаин и бросались в реку...

На Новинском бульваре, в доме, загубленном фронтонами, седобородый хозяин устроил маскарад в честь обнажения, во славу голого женского тела. С полуночи до полудня запахом терпкого обморочного, надального пота наполнялись зала и гостиные; крюшон ввиду обилия гостей приготовляли в мраморной ванне; извергать содержи-

мое желудка ввиду обилия гостей водили не в уборную, а на черную лестницу. Вконец обезумел безбровый юноша, хозяйский сын, и провожая гостя на черную лестницу, твердил в сомнамбулическом забытьи:

— Совершенный moyen age, совершеннейший возврат рыцарских времен, в зале розы Франции, на черной лестнице нечистоты Франции.

Петр Федорович разгуливал в крепдешиновом хитоне, обнажавшим его костистые, кустами поросшие ноги. Петр Федорович щерился на Гауризангары, вылезавшие из-под корсажа розового домино, а в разговоре с хозяйским сыном, желая блеснуть эрудицией по части moyen age, приводил справку, с какого года мягкий коленкор уступал место бумаге "Пипифакс".

В хозяйском кабинете юный, но знаменитый автор "Оживленного Саркофага" угрожал выброситься в окно, и хозяин, высвобождаясь из-под обезьяньей маски, теребил седую клочками бородку и умолял взять без всякого обозначения срока, ну хотя бы триста пятьдесят рублей.

В передней, в кабинете, в вестибюле дребезжали телефоны. Лакеи впадали в транс и, уже не дожидаясь того, что им принесет телефонный провод, хрипели в заплеванную трубку:

— Да, да, еще не поздно, приезжайте.

Золотою известкой обрызгивал выпупившийся месяц белым каркасом затянутые мостовые. Но месяца не видели, предостережений месяца не чуяли. В часы месяца бегали к мраморной ванне, метались по скользким ступеням черной лестницы, писали прощальные письма с настоятельной просьбой никого не винить и все понять.

За безразличные тысячи верст лязгали вагоны: синие, зеленые, желтые; в зеркальные стекла сибирского экспресса глядели выжидающие своего праздника деревни. Точили топоры, копили злобу, в пьяном смрадном сне сжимали кулаки, пережевывая махорочную слюну:

— Погоди ужо, будя, будя...

В зеркальные стекла сибирского экспресса лицезрел я последнюю Россию. Для того, чтобы через неделю, из фронтонами загубленного особняка на Новинском, выйти с отвращением к собственной оболочке, влезть на рябого чмокающего извозчика и поползти сквозь суетливую чванливую, пряником расписанную Москву — на Ильинку, где скопческие рожи и инородческие акценты предлагали заинтересоваться новым выпуском "Грозненская нефть — привилегированные"...

Стиснутые поясом площадей, обезображенные безжалостным солнцем, потели кремлевские стены. Как вековечный бродяга на казарменных нарах: своего особого, масляничного праздника выжидал

и вековечный бродяга. Скоро, скоро в амбразуры кремлевских стен пролезут физиономии Льюисовских детей.

А было:

— Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, вы все обет примите духовный...

Едучи на Ильинку, я мог бы услышать перебои в ослабнувшем пульсе России.

Но крюшон из мраморной ванны, но неврастения, но "Грозненская нефть — привилегированные"...

Мне оставались девочки, девчонки...

2

Говаривал Петр Федорович:

— Отец, меньше обобщай, больше суммируй и больше читай Гуссерля. Не беда — ездить к Гольденблату. Сие для денег, то есть для будущей независимости! Как Тарас Андрея предостерегаю тебя — сынку, погибнешь от женщин.

Ах, Петр Федорович, роковой мой Магомет из Толмачей!.. До суммирования ли мне, до чтения ли Гуссерля?!

Как пьяный гуляка, попал я на ярмарочную площадь с каруселью. Уселся на вертящуюся свинью, заиграла шарманка, закричали ребятишки: "Но... но"..., зачмокали язычками... Мне отвратно... Тошнит, тоска, но что поделаешь, как остановить карусель, жалко ведь обидеть ребятишек!..

Сын лекаря Санкт-Петербургской хирургической академии, недоучившийся студент Московского университета, голубоглазый юноша в бобровой, на шулерские деньги купленной шубе с клешом, робеющий герой с Ильинки... Я брожу по Страстному бульвару — и морщинистые девки в коленкоровом белье, в грубых чулках фильдекосовых, хватают меня за рукава, гнусавят осточертевшую остроту:

— Блондин... угости шеколадом с усиками, поедем!..

Угощаю, еду... Так проще жить. В доме баронессы Нордманн, в конце Страстного бульвара, окна номеров выходят во двор. Стена в стену. Где ж тут солнцу заглянуть?.. Значит, можно солнца не стыдиться...

Петр Федорович! Первый мой мудрый учитель, каждый Нордманновский номер, каждый Нордманновский диван, каждый Нордманновский промокший клоповый матрац расскажут такие были, что если бы вы с вашим методологическим строгим даром занялись бы их систематизацией, собирали бы голоса Нордманновского инвентаря — получился бы Российский Гомер...

Я считал, я запоминал, но, как в иссякающей каменоломне, мелкими булыжниками осыпаются мои слова, и я жажду, жажду молчанья... Вчера в Нордманновский коридор дюжие швейцары вывели молочного студентика и собирались уже дубасить его за невзнос при-

читающейся платы. Я уплатил за него синенькую. Но потом, вернувшись в номер и вдохнув запах умывальника, матраца, тела моей дамы — рассвирепел, и дама со Страстного бульвара не получила обещанных "на счастье"...

— Сволочь ты, кот, супник!

И еще многое, и плевалась, и всхлипывая, натягивала дырявые фильдекосовые чулки.

Петр Федорович! Восприемник Гуссерля и компаньонов Гольденблата, поняла ли она, что мщу я себе самому, за спасение молочного студента, за последнюю отрыжку дряни сердечной?

До потухания звезд, до утренней Авроры я шлялся по Нордмановскому номеру, Асморовскими окуривал умывальник, хотел писать стихи, хотел заказать портеру, но сел на подоконник, прильнул лбом к оттаивающему стеклу и ждал, пока воскреснет из мрака противоположная стена. Половой прибегал не раз и с тревогой справлялся, не нужно ли привести новую девочку. Трудно противоречить половому и я пошел на компромисс. Сняв сапоги, шлепая по коридору, пробрался к маленькому номеришке и наблюдал сквозь крошечную щелочку, как молодой армянин с толстым кадыком, сопя влезал на взвизгивающую кровать... Половому — трояк, мне — времяпровождение. Ибо бесконечная зимняя ночь и лишь в восьмом часу, свесившись над сходящимися крышами, малокровное утро возвратило мне противоположную стену.

Петр Федорович! Простите вашего питомца... Но вы не поймете, на Отцах Церкви вы не поспеете за вертящейся свиньей раскрашенной ярмарочной карусели... Я подымаю за своего первого учителя заздравный, ночной кубок горечи, но отныне я клянусь не следовать более его советам...

Эвино! презренье, бесстрастье, новая нежность!.. За вином любовников следует вино не убивших и оттого томящихся убийц.

3

Зимой одиннадцатого года, в разгар славянских трапез и общемосковского бум-бума, съездил я в Париж. Дел никаких не было. Преспокойно мог оставаться на Молчановке и обжираться "Эрмитажными" завтраками. Но уж так подошло. От Ильинки и Страстного к горлу спазмы подкатили, запершило, закрутилось... Все ездят, поеду и я в Париж, посмотрю на французских женщин. Университет на Моховой заброшен, полюбуюсь на другой университет — Монмартрский.

Женщин французских увидеть не пришлось. Засасывал все тот же маховик: с утра мимо столиков в Cafe de la Paix циркуляция жонглировала ножками, палантинами, автомобильными шинами, и, когда в полдень угловой ажан в обычном жесте подымал магическую палоч-

ку, площадь Оперы со щебетом, прибаутками, щипками заливали ажурные чулочки со стрелками, без стрелок, черные и mauve...

И девочки, девчонки заманивали растерявшегося москвича строгостью первоначального обращения, ласковостью последующих манер.

Нравилось мне в них то, чего не было, нет и никогда не будет в русских их коллегах. Полное отсутствие надрыва, слез, телефонных звонков назавтра, рассказов о загубленной жизни и красавце-женихе. Веселое, достойное ремесло... Улыбка, равноправность, исключительная опытность.

В Петровском парке, в "Мавритании" курносая пьяная Дунька и в пятом часу утра умудрялась потребовать "грушу-дюшес"; на Монмартре: у Монико, в Rat mort, в pigall's, на авеню Мак-Магон, в укромных особняках, на периферии, уходящих от Etoile царствовала спокойная профессиональность.

Je fait tout mon mieux... Если ты джентльмен — сделаешь подарок, если нет — тем хуже для тебя. Но груши-дюшес отсутствуют. Этим товаром не торгуем.

Полюбовался я на живые картины, пересмотрел всевозможные позы, побывал на скачках и у Лаперуза. И... сознаться стыдно: заскучал... Великий пост, а грибами не пахнет, а колоколенки не звонят, а кухарки не ходят с лицами, опухшими от покаянных слез и казенного вина.

Страшная вещь — русская закваска. Трижды европеец, четырежды американец, переплыви моря, вскарабкивайся на горы, закупи все парижские банки... Суженого, ряженого... Подкрадется бес, деревенский, наш банный, тот самый, что с аршинным хвостом и запахом ржаного хлеба. Нашепчет ерунды, воспоет хамство, в перл создания возведет Чуевский постный сахар! Прощай, циркуляция, бульвары, напиток кассис-ситрон, ажан с палочкой и чулочки mauve...

С Молчановки писала горничная Феня, оставленная для присмотра за квартирой: "хватера в полном порядку, окромя того, что Петр Федорович заходят почитай кажиное утро и о вас все спрашивают. Скучают они и серчают, что не едете. Письмов пришло множество, уж не знаю, как и быть, то ли пересылать, то ли нет. Да еще к святой прикажете ли окорок у Генералова заказывать и гардины поснимать"...

В последний вечер захватил я двух девочек из Grand Cafe, поехал с ними на Монмартр. Еще раз все песенки выслушал, шариками в соседей пошвырял. Одна из девочек видит, что я скучный, не такой, как раньше.

— Слушай, ami, хочешь редкую штуку посмотреть?

— Что еще такое? Опять позы?

— Да позы, но какие?!

— Какие бы ни были, всякие видел.

— А мужчину с овцой видел?

— С овцой?.. Гм.. Этого я действительно не видел. Без обмана?

— Если обманем, не заплатишь.

Перед отъездом в Россию на такую диковинку посмотреть не мешает. Будет о чем Петру Федоровичу рассказать. У него хоть настроение и великопостное, и готовится он говеть, но выслушать выслушает с удовольствием...

Взяли такси и поехали. Далеко, чуть ли не у самого Sacre Coeur где-то на антресолях, в небольшой комнатушке с зеркалами по стенам, блеяла овца... А мужчина... На страшном суде засмеешься, вспомнив его идиотские вылупленные глаза. Овечьи глаза в сравнении с ними казались верхом сознательного страдания.

— Ну, что ami, понравилось?

— Да, спасибо, только почему у него глаза идиотские?

— Бретонские, ami, чистейшие бретонские.

В Vadeleine уже продавались фиалки, подснежники, мимозы. В поезде, пришедшем из Ниццы, на столах краснели букеты роз. В Толмачах, у квартиры Петра Федоровича, оттепель запрудила улицу, гололедицей опрокинула бочку ассенизаторов — и в доме все форточки были на затворе. Петр Федорович потолстел, голова его окончательно сравнялась с обточенной берцовой костью и полки раннего ренессанса вплотную обступили трехногую полотняную койку. В Толмачах динь-динькала деревянная колоколенка. Мальчишки из серых пакетиков смастерили лодки и, по колена бегая в ассенизационной луже, налаживали судоходство.

— Что новенького, Петр Федорович, что веселого?

— Ох, много, отец, много. Перво-наперво смотри, какую я монографию о Пике Мирандолийском добыл, у Шибанова отбил. Редчайшая из редчайших.

— Да, интересная, хорошая монография.

— Ну, а в житейском, Петр Федорович, новости есть?

— Новости, говоришь?

Петр Федорович любовно гладит полуистлевший кожаный корешок.

— Да, новости, бывший патрон что?

— Бывший патрон? Что ж Осипу Эдмундовичу станется. Деньга к умному бежит, дурака обегает... Ты только полюбуйся, отец, на шрифт. Все загубил проклятый Гуттенберг.

— Петр Федорович, да вы слушаете меня или нет? Ирина Николаевна, как?

— В порядке, в порядке. Говорят, матерью скоро станет.

— Ма-а-терью?! От кого ж?

— Да от своего ж законного мужа. Дама с традициями, иначе не может, как не от мужа.

— Какого мужа, что вы бредите?

— Это ты, отец, бредишь, а не я. Оставь полку, оставь, поломаешь. Муж ее прежний.

— Петр Федорович, плюньте на полку, я вам новую сделаю. Имя, имя мужа?

— Да ты, Юрий Павлович, рехнулся или совсем не в курсе? За инженера металлургического, за Бачкарина, кто замуж вышел. Я ли, ты ли, Ирина ли Николаевна?

— Бачкарина, отвратительного толстяка, с которым она на бирже играла?

— На бирже играла — что правда, то правда, а насчет отвратительности брешешь. Очень обходительный человек. Такой мне уник подарил...

Завтракали, конечно, в "Эрмитаже". Фрак метрдотеля, изгибаясь в три погибели, расспрашивал о парижских новостях и с чарующей улыбкой предлагал новое крымское вино.

— Вы понюхайте, monsieur, запах один чего стоит.

Я нюхал и мне чудился запах Толмачевской желтой лужи.

Ночь проводили в "Мавритании" с "постоянной" Петра Федоровича — Марфинькой... Зад Марфиньки, по словам Петра Федоровича, находка для гужевого транспорта. Она требовала "грушу-дюшес", меня заставляли что-то нюхать, трогать, пить. Мавританское зеркало, разбитое позапрошлой осенью младшим Выхухольским (за счет Гольденблата), мигало тусклой поверхностью, глядело на меня одутловатым молодым человеком с громадными голубыми глазами и бледными сжатыми губами.

Молодому человеку исполнилось двадцать четыре.

IX

ПЬЮ ЧАШУ ДО ДНА

1

Заговорили зовы прошлого — и всю жаркую, полыхавшую зарницами, осыпавшуюся звездами, июльскую неделю, я провел в биллиардной близ Трубы. Играли на интерес по крупной и в "русскую", и в "американку", и в "батифон". В полдень валились на диваны, закрывались газетами от мух и дрыхнули до сумерек, пробуждаясь лишь на момент, чтобы выпить графин ледяного кваса. Подвернулся на мое несчастье горбатенький доктор Нефедов — маньяк биллиарда и ночной болтовни. Доказывал мне, что те, кто о самоубийстве много говорят, Мафусаилов переживают и разводят потомство Иова. Те же,

кто молчок, у кого веселая улыбка и радужное настроение, зачастую с крыш бросаются. Слушал нефедовские речи и, обливаясь липким потом, поглощал окрошку.

Маркер Семеныч частенько выбегал на улицу, собственно за папиросами и в ресторан, но кроме того приносил новости: на улицах манифестации, не то немцев, не то жидов собираются бить. Мы все отмахивались от новостей Семеныча, как от зеленоватых разжиревших мух, что забирались в окрошку, в уши, в ноздри...

В пятницу ночью ворвался оголтелый гимназист, Нефедовский сын, и сообщил о мобилизации.

Послали в первый раз за всю неделю за газетами и почесали затылки.

Потом пошло известное под гору, вверх колесами. По вечерам останавливались трамваи на Арбате, чтобы пропустить стада воющих баб-провожальщиц. Горничная моя Феня выбежала солдат поглядеть, а в ее отсутствие мое новое Делосовское пальто с вешалки свиснули и никелированные дверные ручки отвинтили.

Запахло сырым мясом, вчерашние разумники сегодня сбесились и полезли на Пушкина разговаривать о духовном смысле войны. Новобранцы слушали и крепче сжимали в потных кулаках полученный у воинского харч: щепотку чая и два куска сахара.

Получалось: "оно, конечно, так, но кроме того вопче".

И вой, и вой, и вой...

Выли алые платочки, вырывая космы седеющих редеющих волос. Выли шляпы с плерезами, спеша заказать форму сестры милосердной. Выли радикальные фельетонисты и обеспечивали себе отсрочку по отбыванию воинской повинности. Выли купцы в красных рядах, опасаясь, что залежится шелк и никому не понадобится "Лориган" Коти.

Приезжал и государь. Издерганный, жалкий, маленький. Проехал мимо толпы, подергал пайковую перчатку и в свою очередь повыл.

А когдя утихал вой и к Новодевичьему подкрадывалась заря, с вокзалов — Брянского, Курского, Рязанского, Александровского — везли растерзанное пушечное мясо. В шестиместной молчащей каретке две-три ноги, две-три руки, пять-шесть глаз.

А когда розовел Новодевичий и улегалась пыль от кареток, из домов на Пречистенке, на Остоженке, в Арбатских переулках, вываливались толпы слезливых, всю ночь проспоривших о духовном смысле войны.

У Фени убили брата еще до конца июля. По этому поводу я вручил ей десятку на поминовение души убиенного раба Кирилла и на двое суток лишился покоя. Завыла, заплясала кухня. Плакала с плясками, горланила со слезами, пила молча и жадно. На третий день

Феня объявила расчет, заявив, что ей сподручней в милосердных сестрах.

У меня была первая льгота и пока что меня не трогали. На всякий пожарный случай я заручился соответственными поддержками. Выслушав двухмесячный вой, прочтя все фельетоны и все отчеты о торжественных заседаниях, я дал себе честное слово не принимать никакого участия в игре, угрожавшей оказаться длительной и безкозырной.

Как ни мало интересовала меня политика, я был достаточно раздражен, чтобы не подойти вплотную к чуждому мне делу. Разобравшись, я понял, что один рязанский мужик дороже всей "маленькой героической Сербии", что самый невыгодный торговый договор благоуханнее Хеопсовой пирамиды оторванных гниющих ног и что следовательно единственная стоющая вещь — постараться до конца остаться в стороне. Величественные обличения и туманные благоглупости столичной и союзной печати трогали меня не больше, чем упреки в дезертирстве. Печать — по выражению мудрейшего русского человека — это пулемет, из которого стреляет идиотический унтер. А дезертир — это я чувствовал сам, всей своей кровью — росток живой жизни, не желающий погибать и в дуновении аравийского урагана.

Если будут очень приставать, соберу остатки денег и уйду в Швецию, Норвегию ли и в т.п. страну.

Петр Федорович разделял мои взгляды лишь отчасти: лишь в отношении к самообороне. О смысле войны для России в его полированном черепе имелась целая груда извилистых незначительностей.

Гольденблат, с которым я столкнулся на одной из воющих прогулок по Тверской, расцвел еще пуще.

— Драгоценнейший юный Казанова! Вспомните, вспомните меня. Поработаем вовсю. Ах, дайте полгода срока, какие дела, какие нечеловеческие дела будем делать...

Он зачмокал, уронил пенсне, сел на извозчика и долго еще посылал мне радостные воздушные поцелуи.

И Гольденблаты оказываются пророками. Из-под кровью растворенных снегов Волыни, Подолии, Балтики вырастали изумительные подснежники в синих френчах, кожаных галифе, желтых крагах, с револьвером, свистком, "индивидуальным" пакетиком, с новым образом мыслей, с напроломным образом действий. Целый урожай еще невиданных деятелей. В курьерских поездах, на грузовых и гоночных машинах, верхом и пешком заколесили по России молодые люди. Они понимали во всем — наиболее в качестве шин и огнеупорности кровельного железа, хотя до 1914 года они видели автомобили лишь издали, а железо на крышах. Их встретили свистками, ревом, облили интеллигентской грязью.

— Земгусары, земгусары!...

Они не смутились. Они знали, что грязь смывается еще легче, чем кровь. Еще никто не был убит смехом, еще никто не захлебнулся в потоках радикальных помоев...

Подснежники, подснежники... Подснежники на торцах Кузнецкого, подснежники в ухабинах степных провинций. И через год вся шестая часть суши покрылась густым ковром этих изумительных колючих подснежников... Они не только тянулись в высь, они прорастали в глубь, и из разбросанных семян, чудом жадности жить, вылезала новая Россия... Еще у колыбели мешочники, еще не содраны обивки голубых первоклассных диванов. Но полыхают зарницы.

Я выжидаю, я крепко сплю на Молчановке. Но я знаю: я уже не один. Мы перекликаемся разными голосами, может статься, мы еще наставим друг на друга пулеметы. Все равно: наши души вместе. Из питомцев зубного врача Гольденблата выйдут деятели нашей русской Америки.

— Вы интересуетесь железом?

— Я интересуюсь всяким товаром, я покупаю все, я перепродаю все...

— Вы не боитесь продать ему муку? Говорят он переправляет ее через Швецию в Германию...

— Ах, дорогой, мне это так безразлично... Разницу — разницу... Самую большую разницу...

Новым воем, воем подснежников, от приснопамятного града Гапаранды до Ташкента и Мерва завоет шестая часть суши.

Мы не одни, мы не одни, нас много, нас много!

Му-жайтесь, му-жайтесь!

Стучат колеса, поют вагоны. Я опять и без конца еду. Во Владивосток за американскими ремингтонами, в Гапаранду за шведской сталью, в Ростов за донокубанской мукой, в Ташкент за хлопком. Телеграфирую с каждой остановки:

"Купил, подтвердите двадцать пять процентов на фактуру".

"Продал, подтвердите десять процентов на фактуру".

Купить выгоднее, чем продать. Наилучшее припрятать, придержать...

И я: со свистком полированным, с револьвером Наган, с "индивидуальным пакетом", с малиновым звоном шпор.

"Земгусары".

"Ловчилы".

"Спекулянты".

"Пир во время чумы".

Ладно, ладно, скальте зубы, посмейтесь... Придет день: поскалите, посмеетесь...

Кувака... Кувака...

Кувакчут узловые, промежуточные, полустанки. И в самогонке сгоревший вохляк гнусавит:

В Куваке хоть упейся,
А сахарочку шиш...

А у нас сахарочек есть, а у нас сахарочку много... Но мы припрятали, но мы не смеемся, мы серьезные...

Мы — подснежники тихие... вроде анчара...

2

Иногда приходила звериная скорбь.

В бессоные ночи, на верхней койке в купе, когда коридор лузгал семечки, доносился скверным неочищенным дегтем, хором матерщинных слов.

В пасмурные утра, когда затягивал свою арию вентилятор и жирной печатью замазывали газетные листы...

В воскресные отдыхи, когда белым-красным, от раненых и сестер милосердных зацветал Пречистенский бульвар...

В часы разговоров о "должны победить". Почему "должны"? Неизвестно.

И клевала, выклевывала мой влачащийся труп скорбь. Скорбь была миллионоглавой пьявкой. Главы — убитых, и питались кровью их же. Высасывала под Прасныш и Саракамышем, под Луцком и Двинском, одной из голов залезала на Молчановку, подговаривала грязносерую мышку в ночи промчаться напоминанием об ускользающем, невозвратном...

А в театрах уже играют не то восемь, не то десять гимнов, а ветчина уже два шестьдесят... Припрятываю, перепродаю, путешествую.

А Москву беженцы съели. Котелок привислянский вытеснил старообрядческую, скопческую рожу. На Ильинке не протолпишься. Работают локтями: в спину, в бок, в шею.

— Спешите, спешите, внимание, внимание. У меня есть товар.

— Отойдемте на минуточку.

Глава пьявки оборачивалась котелками; как кролик завороженный, лез я на котелки, и кровь моя перекачивалась в них, я падал, я изнемогал. По жилам вместо крови жеваными комками толкались сотенные бумажки. В мозговых извилинах залегли займы, акции гранатных, консервных и всяких иных на оборону.

Ирина Николаевна? Как-то встретил ее, не на улице, не в театре, на вокзале. Уехала с мужем на Урал, закупать на месте кровельное железо.

— Работаете?
— Работаю.
— А вы?
— И я слава... Богу.
— Ну-ну, увидимся, увидимся.

Муж Ирины Николаевны считался уже одним из первых богачей-нуворишей. В конце шестнадцатого позволили они себе роскошь: завести второго ребенка. Ребенок получился, а Ирина Николаевна от родильной горячки умерла. Говорят, в бреду все голосила:

Кувака, ты кувака,
Воейковская вода...

Запомнился мотивчик. Венка я не возлагал. В день ее похорон находился в Златоусте, покупал ножи, ножницы, вилки. Да, умерла Ирина Николаевна, а мы ездим, ездим. Слава Богу, стучат колеса, воют вагоны, в случае чего любой стон заглушат.

Кувака, ты Кувака...

Кувакчим, кувакчим! Грех жаловаться...

Дни выдавались — ну и дни! Не передохнешь, где уж тут об обеде, ужине разговаривать. В семь утра на Брянский, подталкиваем вагоны с сахаром. Позже приедешь — неловко со старшим помощником разговаривать. Толкотня, запросы — не пообещаешь. К девяти — Ильинка. На Ильинке у Сиу — принять коносамент, в Международный — инкассировать, на биржу — к одиннадцати. В половине первого в "Метрополе" ждут какие-то толстые. Говорят по-русски с немецким акцентом. Приезжие из Стокгольма. От них к Гольденблату насчет акционирования его консервной фабрики. В пятом — в Москвотоп, пощупать, нельзя ли уголька по твердым, на товарищеских началах. За двадцать минут до восьми — на Николаевский: завтра утром в Петрограде важнейшее заседание с англичанами из Торговой Палаты.

Обедаю в вагон-ресторане. Две сестренки милосердные лет по семнадцать все платки роняют. Что ж, познакомиться можно. Выберем в знак памяти рабы Божьей Ирины блондиночку. Двадцать пять рублей оберу: пожалуйте отдельное купе!

— Ты с фронта?

Она смеется:

— Что, заразиться боишься?

Интересно: будь Ирина Николаевна моей женой, осталась бы она жива или такая уж судьба. Инженер (рассказывали на Ильинке) сошелся с Шуркой-зверьком и ездил с ней в Питер покупать дом на Каменноостровском.

Венков просят не возлагать...

... У Гостиного Двора окликнули. Слез с извозца, вижу приятель из былой Гольденблатовской шатии:

— Слышали, слышали, Колечка-то Колчеданов Мясоедовским агентом оказался!

— Что ж, повесили?

— Натурально. Зайдем посидеть, позавтракать.

— Некогда, ни минуты нет.

— Хоть в Квисиссану?

— Не могу, в банке ждут.

Голова горела от вчерашней московской суетни, от ночной поездной любви. Нагнулся и горстью снега обтер виски.

— Езжай быстрей.

По Михайловской гнали новобранцев. Угреватый парнюга, размахивая багровыми лапами и не попадая в шаг, горланил в одиночку.

Чаек у нас китайский,
А сахарочек свой,
Пей чаю, сколько хочешь,
А сахарочку шиш...

Гной пополам со снежной сукровицей сочился с тротуаров. В потемках сшибались постромками парные выезды. В воздухе висел мат нескончаемый.

X

СНЫ

1

Перечел сегодня записи свои. Господи, до чего беспорядочно, ненужно, дико. Сказано все, а о главнейшем молчок. Главнейшее... главнейшее... Где же в моей жизни главнейшее?

Сейчас вечер, сентябрьский ясный вечер. Час назад вернулся с прогулки по этому успевшему за сутки осточертеть городу. Крещатик, переполненный суетливыми нездешними физиономиями. Царский сад, где над мелеющим Днепром склонились профили пиджаков петербургской и московской кройки. Кофейня "Франсуа", прокуренная, задымленная, затканная пауками, и у биллиардов говор шулеров от "Доминика". Тронулась Россия... Побежала, заметалась. Ох, нескоро остановится. По себе самому чувствую, не скоро. Зуд в ногах, отвращение к жизни, усталость, но... из края в край, из града в град судьба, как вихрь, людей мятет. Попутешествуем... Что ж... Здравствуй, старик Кэнар-Лайн. Правда, не такой мне туризм мечтался. Ездить хорошо с запасом неподвижного спокойствия в душе; сидеть на месте приятно с ощущением громадного движения внутри. А тут все наоборот. Безденежные туристы. Несусветные планы. Гул неугомонного политического дурачья. И эти случайные ночлеги. Эти эвакуационные комнаты, неметеные, холодные, жуткие. Если б были здесь сплошные тяжелые шторы, опустить бы их, подойти к столу, еще раз почи-

тать первую попавшую книгу (хотя бы каталог шин и моторов), извлечь из кармана блестящего шестизарядного друга, набрать в рот воды — и да здравствует помогающий смерти закон Паскаля.

... Сегодня под вечер, а может до обеда, я стоял на углу Крещатика и Фундуклевской. Все так же валила от слоеных булок обезумевшая публика, все так же багровый кондуктор в три погибели перегибался через окно трамвая, чтоб сбросить прицепившихся безбилетных мальчишек, и бешено звонил: "Местов нет, местов нет!". Где-то вдали у театра надрывались газетчики, где-то размеренным суровым шагом потопатывали германские солдаты. В окне кондитерской, над свежевыпеченным печеньем хлопотали грузные осенние мухи. Я стоял, смотрел, слушал. Уже по одному выражению мелькавших лиц нетрудно было понять, что отъезд недалек. Булки булками, а губы сжаты, а лица — зелень поздней осени, а в глазах грязь засохших колодцев...

— Извиняюсь!

— Вернулся домой, прихватил пару тысяч свежих денег и отбился.

— Вы, говорите, желаете получить квиток на выезд? Извольте, тысяч тридцать денег найдется?

— Я же вам по-русски говорил, ровно полпервого.

О, великий, могучий язык... В дни сомнений и т.д.

Я стоял и слушал. Мне наступали на ноги и сердитым беженским шепотом посылали проклятья. Я был, как зачарованный. От снедающей ли грусти, от последних ли солнечных ласк, трудно было оторваться от угла Крещатика и Фундуклевской... Верней всего боялся я остаться один на один с самим собой, с тем, что лежит в кармане. Если до сих пор я не решался... то отчего? От страха, что промахнусь? От стыда, что самоубийство — трусость? От жалости, что вот сегодня гуляю в желтеньких туфлях, а завтра снимут туфли, закроют глаза медными пятаками и пожалуйте! Нет, нет, все это не то. Не только это. Тут и жажда увидеть Венецию, тут и мечта об английском зацветающем нагорье... Еще в Новороссийске, в дядином кабинете прочел в одной толстой книжке, что знаменитый Линней стал на колени и заплакал, увидев впервые луга Шотландии. Я бы, вероятно, от Линнея не отстал. Блестящий друг, конечно, возьмет свое. Ведь спорю я лишь об отсрочке. Воинский начальник давал мне отсрочку, дам и я себе. От самоубийства, все равно, не уйду — это ясно, это решено, это заметано, это стержень, на котором вся моя жизнь держится. Думаю, не думаю, вспоминаю, не вспоминаю, но не было ни одной минуты за последние десять лет, когда бы меня не покинуло радостное скрытное сознание: живу, гуляю, но мысленно, но теоретически мой палец на гашетке. Скверная погода, скрещение неблагоприятных обстоятельств, проигрыш в карты и в любви — мысль станет плотью, практика — теорией.

Таких, как я, надо истреблять, как чумных крыс. Раскидывать отравленный хлеб, забивать палками, натравливать терьеров. И вот, Юрий Павлович, дорогой вы мой и малоуважаемый, не станем дожидаться судя народного и расправимся собственным, гуманным.

Закон Паскаля...

2

Любопытнейший случай понаблюдать доставил мне этой весной французик-офицер, который с миссией военной приезжал в Москву и все удивлялся, зачем приехал. Была Москва белокаменная и стала Москва расплавленная, была l'armee russe и стала l'armee rouge. Ну, да это ни к чему. Плевали мы и на большие чудеса.

В составе ихней миссии было человек пятнадцать офицеров. По большей части колониальный сброд, врали и лауреаты полковых судов. Один с Латамом на буйволов охотился и в результате, если б не la grande guerre предпринял бы поездку в еще более далекие места. Другой во французском Конго прививал добрую европейскую мораль неграм и допрививался до "превышения власти", выразившегося в двойном убийстве. Словом, было чем похвастать и о чем рассказать моему знакомому французику. В продолжение двух недель сидели мы на Столешниковом, в кафе, и пожирали пирожные на патоке. Я жрал и слушал, он жрал и рассказывал.

Однажды сижу я за обычным столиком и жду. Появляется мой французик, но не один, под руку держит другого — совсем молоденького, прыщавого, рыженького. Форма французская, лицо не то еврейское, не то польское. Знакомят. Сначала китайщина: "Monsieur Bystrizki, j'ai l'honneur de vous presenter", и т.п., потом называет фамилию.

Я так спокойно спрашиваю:

— Вы по-русски говорите?

Новый знакомый вспыхивает:

— Да, немного. А вы почему догадались?

— Очень просто, фамилия ваша не французская, да и лицо тоже...

Тут он вспыхивает еще пуще и не дает мне фразы окончить:

— Я действительно в детстве живал в России и даже отчасти русское образование получил, но вот уже четырнадцать лет я живу во Франции, восемь лет, как натурализовался, трижды ранен и по-русски теперь многого не понимаю.

Я слегка (конечно, про себя) удивился — чего так человек на дыбы становится и от русского языка отгораживается.

Хорошо. Сидим мы час, сидим другой. В чайных стаканах пьем водку, в кофейных чашках коньяк, словом, все в стиле весны 1918. Мой прежний французик уже начинает песни петь и обучает скрипа-

ча мотиву "Lison L i s e t t e". Мой новый "французик" говорит только по-французски (хотя я задаю ему вопросы по-русски) , но пьет серьезно. Потом, когда мы хотели еще по коньяку выпить, новый французик смотрит на часы и самым спокойным тоном заявляет:

— Очевидно, здесь нюхать неловко. Мне придется домой ехать. Вы не любитель? Роберта не зову, он враг кокаина.

Я решил поддержать марку Гольденблатовского компаньона и Дьяконовского выученика:.

— Я бы с удовольствием, но, простите невежливый вопрос, у вас настоящий?

Он даже улыбнулся.

— На этот счет не сомневайтесь. Самый что ни на есть Мерк. С опасностью для жизни чрез оккупированную Бельгию голландские спекулянты провозят. Дело стоющее.

Ехать, так ехать. Роберт уговаривает остаться, увлекает вон той угловой шатенкой, которая ему кой-какие авансы выдала и еще большее сулит, уверяет, что у нее и подруги прехорошенькие: одеты по-французски, говорят по-французски, любят по-французски.

— Нет, не обольстишь... В мире две силы, побеждающие любовь: карты и кокаин. За десять пассов подряд, за грамм чистейшего кокаина отдашь все, пожертвуешь привязанностью, репутацией, родными, наукой, искусством. К чему сложность, к чему тянуться во времени, зябнуть осенним утром, тосковать звериной скорбью в часы весенних закатов? От закатов, как от прекрасных женщин: жестокость и грусть, грустная жестокость и жестокая грусть... Отломал щепочку от спичечной коробки, посыпал белого порошку, заткнул одну ноздрю, втянул в другую и — плевать на все! Ничего не хочется, никого не жаль. Пусть родного отца приведут и расстреляют на твоих глазах — будешь смотреть с любопытством, но и с равнодушием...

Так (или приблизительно так) говорил мой новый приятель. Я даже удивился, слушая его и смотря на него. Шея его тоненькая, цыплячья, никнет под тяжестью высоколобой, рыжей головы и, как стебелек слабый в грозу, перегибается через высоченный воротник голубого мундира. В лице, в глазах, в жестах, в походке, в голосе — роковая собачья старость и невероятная заражающая скорбь.

Удивился тому, как он переродился, говоря о кокаине. Скорбь осталась, но в миг она засверкала, затвердела, показалась завидной участью.

... Мы ехали по пыльным пустынным бульварам. Был конец московского душного июня. Оборванный старичишка с огромнейшей палкой ковылял по бульвару. Зажелтели мертвенные фонари и тучи всевозможной мошкары с дракой и жужжанием бросились к свету. У Никитских ворот чернели развалины Гагаринского дома, а направо по

Малой Никитской в шестом этаже казарменного строения последним закатным лучом горели огромные окна.

— Не выношу такого обилия красок, — придушенным голосом сказал мой спутник. — Вы знаете, я потому и с Салоникского фронта отпросился, чтоб послали в Россию. Думал, тут революция, боги жаждут, у жизни значит одна равнодействующая. Стояли мы лагерем у самого моря. Делать ни черта. Утром ученье, вечером едем в город. Удовольствия известные. Из каждого окна выглядывает намазанная гречанка и манит пальцем. Доблестные наши союзники, англичане, каждый вечер новый кабак громят и по счетам принципиально не платят. Первое время все это забавляло. Ну, и кокаин еще тогда сильней действовал. Теперь хуже. Больно перенюхал. Да, так собственно о чем я хотел сказать? Что-то по поводу красок? Да, видите ли, когда город опротивел, стал я по вечерам уезжать верхом к дальней скале. Одиночество, тишина. Садишься на траву и нюхаешь. Только смотрю, чертовщина, что-то мешает. Долго не понимал. Знаете что? Слишком обильные краски. Карминовый закат, море чуть ли не цвета анилиновых чернил, небо меняется беспрестанно, в траве светлячки, светящиеся жуки и прочая дрянь. Такая взяла тоска, что хоть на край света. Мог в Париж курьером. Но в Париже надрыв, в Париже хорошо лишь в глубоко мирное время. Тут пригодилось знание русского языка. Вы правильно угадали. Я сам из России. Живал на юге, в Москве никогда не был. Слухами да открытками пробавлялся... Господи, да вы посмотрите, что ж это делается, да так и существовать нельзя!

Последние слова он произнес с чувством неподдельного ужаса. Я встрепенулся, согнал мрачную сонливость и оглянулся вокруг. Передо мной серел армяк извозчика, подъезжавшего к Пречистенским воротам. В чем же дело?

— Туда, туда, за реку смотрите, — шепнул он нетерпеливо.

Я взглянул. За Москва-рекой, раскинувшейся,как чулок на ковре, вставали четыре огромные трубы, меж ними еще мелькали частицы отраженного света и отдельные кирпичи казались подожженными. И больше ничего. Я посмотрел на него с недоумением. Он забился в угол пролетки, закутался в свой непромокаемый плащ и, казалось, был оскорблен моей нечуткостью. Остаток пути прошел в молчании. У меня тоже закипало раздражение. Пшибышевщина, наигранность, франкоеврейский Фальк, загубленный вечер. Вероятно, и кокаина у него нет. Просто проголодался в одиночестве, не с кем откровенничать, захотелось, видно, рассказать о том, какой он гениальный и как его никто не любит...

Дотащились...

Жил он на Остоженке, в Мансуровском переулке. Занимал по реквизиции три дорого, но скверно обставленных комнаты. Бывший хозяин квартиры, известный адвокат, любил штампованный комфорт,

пораскидал паршивые ковры, звериные шкуры, низенькие пуфы. На стенах торчали передвижники, бездарные, дурацкие. Зимняя дорога, среднерусские пейзажи и пр. и пр. Ох, эти московские адвокаты! Возить бы вам не перевозить.

— Пройдемте вот в эту комнату. Здесь диваны. И знаете что, хотите, я буду с вами по-русски говорить? Ведь я вам в кафе соврал. Я по-русски и до сих пор свободнее говорю.

Он хотел улыбнуться, но уж больно не шла улыбка к его виснущей несчастной голове. Получилась омерзительная жалкая гримаса.

— Как вам будет угодно, — почему-то почти грубо ответил я и бухнулся на диван. — А где же ваш кокаин хваленый?

— О, не бойтесь, не бойтесь, про кокаин я не осмелюсь соврать. Это — святое святых. Здесь правда истинная, здесь альпийский свет. Кокаина у меня много. Смотрите, проверяйте.

Он открыл средний ящик письменного стола и одного взгляда на упаковку было достаточно. Мерк, чистокровный Мерк! Недаром потеряно время. Я сразу успокоился и устыдился за свою беспричинную грубость.

3

Но на него уже накатило. Лицо побледнело, рыжие кудряшки разметались. Он уже потерял способность разбираться в оттенках голоса и лишь волновался, что упаковка Мерка чересчур сложная и без перочинного ножа не откроешь.

— Первым делом, — бормотал он, возясь с флаконом, — спустить жалюзи и избавиться от Москва-реки. Довольно, довольно... Сена, Тибр, Темза... Знаем, все знаем. А вино будем пить?

— Я думаю, немного белого не помешает.

— Белого? Да, да, и именно не помешает. Сейчас пойду в ледник, принесу. Не какое-нибудь, Шабли, 1909, будете довольны. Сейчас, сейчас.

Нетвердой походкой он вышел из комнаты, я стал озираться. Он успел меня заразить предчувствием кокаина. Как я ни вглядывался в картины на стене, ничего не мог понять. Перед глазами плыли иные видения. Все-таки он неплохой парень и комната довольно симпатичная. Плохо, что пыль не выметают. Да и паутину следовало бы сбрасывать. Странно, что на столе никаких фотографий незаметно. У такого должна быть несчастная любовь, жестокая женщина и все подобное. Надо на тумбочке посмотреть. Я направился в соседнюю комнату. Маленькая, четырехугольная, почти целиком занятая двухспальной ореховой кроватью с балдахином из розового шелка. Пылища какая... Небось, при адвокате выметали... Внимание мое привлекло необычайное одеяло. Стеганое, зеленого шелка, пух легчайший. Вероятно все одеяло четырех фунтов не весит, а греет здорово. Еще и еще раз положительно с завистью я взвешивал в руке это отличное

одеяло, от которого шел смешанный запах табака, сильных мужских духов, мужского пота, нафталина, товарного вагона.

— Что, нравится вам мое одеяло?

Я вздрогнул. Когда ж он успел вернуться?

— Да, отличное одеяло.

— О, — в его голосе появилась сладкая нежность, — это мне одна женщина подарила, когда меня мобилизовали. Скверная женщина, вы не думайте, что она от любви. Война проняла. Французская женщина подвержена угрызениям совести. Вчера мне изменяла, завтра меня убьют. Надо же хоть что-нибудь. И все-таки ее одеяло меня спасало. В салоникском лагере по ночам сырость, лихорадка бьет, сколопендры бегают, а я, как завернусь в одеяло, как в печке.

Он подошел к кровати и с полминуты мы оба держали в руках это историческое одеяло. Но я вдруг опять обиделся.

— Ну, нюхать или об одеяле разговаривать?

Он только улыбнулся и любезным жестом пригласил меня обратно в кабинет. На столе стояли две раскрытые бутылки "Шабли", большая коробка папирос и два "прибора". Это была странная сервировка. Две маленьких тарелочки, перед каждой граммовый флакон и по гладкой узенькой щепочке. Он хорошо знал свою профессию.

— Все в порядке? — спросил он неожиданно бодрым и звонким голосом.

Я радостно улыбнулся и вместо ответа протянул ему руку. Мы обменялись дружеским рукопожатием и я снова удивился, как тогда в кафе при начале беседы о кокаине: его рука, столь слабая, безжизненная при первом рукопожатии, оказалась теперь твердой, сухой, энергичной.

— Начнем с вина?

— Начнем с вина.

С блестящими, успокоенными глазами он подошел к столу и разлил Шабли по бокалам. В этот момент где-то в другой части квартиры часы прозвонили десять и густой приятный баритон крикнул:

— Саша, Кэтти, немедленно спать!

— Кто это там у вас, не помешают?

— О, нет, нисколько. Такие, знаете, несчастные люди. Деньги отняли, квартиру реквизировали, хозяин совсем неплохой человек, по-своему одаренный. Я бы даже позвал, но в отношении кокаина он страшно плоский... Как детская хрестоматия. А помешать — нисколько. Вы обратите внимание на вино. Я его с начала войны вожу. При ночных сеансах незаменимо. Главное, не подавляет действия кокаина, работает сообща.

Я уже давно не нюхал. С самого октябрьского переворота. Да и ту ночь в московском подвале считать не приходится. Случайно в кармане вязаного жилета у меня оказался один грамм, но все стали

просить дать и им "хотя бы понюшку". Не удивительно, что теперь я сразу почувствовал действие: четверти часа не прошло, завозилось сердце, замирало и бешено стучало, закружилась голова. Странно, что в подобном же положении оказался и мой хозяин. Объясняю это единственно тем, что он еще с утра был готов.

Беседа наша принимала беспорядочные формы. Я ему зачем-то рассказывал об Ирине Николаевне, о Гольденблате, о ненависти к России. Он не дослушивал, перебивал и перескакивал на свое детство, на свою няню, оставшуюся в Амьене, женщину, по его словам, евангельской доброты и мудрости, на свою парижскую любовницу Раймонду, знавшую свыше тридцати способов любви и вынюхивавшую по пять граммов за ночь.

— Я и то удивлялся. Нюхает и не слабеет. Только глаза на лоб лезут. Спрашиваю, как ты не ослабеваешь. Она смеется: Petit salaud как ты не понимаешь. Меня Раймондой зовут, Пуанкаре женского рода, разве такие слабеют. Удивительная девочка. Проститутка, жадная, предательская, бессердечная, но сила жизни неслыханная. Пока я около нее был, о самоубийстве никогда не думал.

— А теперь вы думаете? — ухватился я, почувствовав еще одну точку касания.

— Как думаю? Это вопрос решенный, это вопрос времени. Может быть сегодня, может быть через год.

От такой одинаковости воззрений мне даже жутко стало. Я подозрительно посмотрел на него, уж не издевается ли, уж не пытается ли угадывать мои мысли? Но он жадно втягивал порошок, посыпал им мундштук папиросы, смазывал им сухие губы и менее всего намеревался угадывать чьи бы то ни было мысли.

— Послушайте, вы вот о самоубийстве сказали, что это вопрос времени, что это вопрос решенный. А знаете ли вы, что это моя мысль, вы ее у меня украли.

Он на мгновение оторвался от кокаина и ласково посмотрел на меня уже остекленевшими глазами.

— Чудак, — сказал он, улыбаясь прелестной полудетской, полупьяной улыбкой, — ваша мысль? Это ничья мысль, ни моя, ни ваша, ни даже нашего столетия. С тех пор, как существует время, существует стремление уничтожить время. У нас в лицее преподавал философию один добрейший кюре. Пьяница, морфинист, но человек крайней чуткости. Он мне первый разгадал загадку. Открыл Платона, ткнул пальцем в фразу — "после смерти времени больше не будет" — и спрашивает: знаешь ли ты, pauvre diable, что нужно сделать, если Платону поверить? Нужно немедленно застрелиться, утопиться, перерезать себе глотку... Какое ж еще счастье лучше, чем отсутствие времени?!

— Ну, и кюре ваш застрелился?

Его лицо поблекло.

— Нет, кюре оказался при всей его чуткости пошляком. Он сам Платону не поверил, то есть верить-то верил, но успокаивал себя другой мыслью. Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом. Кстати, вы на собачьей выставке никогда не бывали? Напрасно, я так бывал не раз. В Париже, ежегодно на Пасху в Grand Palais устраивается собачья выставка. Терьеры, бульдоги, японские мопсы, красавцы-пуделя и прочие породы. Вот там-то я и сообразил, что значит быть живой собакой. Одна герцогиня выставила крошечную бесшерстную собачонку. Ну не больше, чем с кулак. Лежит эта собачонка в шикарной клетке, на песочке и на публику лает. Идиотка совершеннейшая. Ни капли сообразительности, даже собственную герцогиню не узнает. Но лает, лает, лает. Круглые сутки. Рада, видно, быть живой собакой. Нет, знаете, я свой голос за Платона подаю. Я уже до точки дошел. Я с утра. Уже для меня тот момент нюханья, когда je m'en fous de tout в том числе и на мертвого льва. Если вы еще боковой свет выключите, совсем блаженство. В данный момент мне мешает, что боковой свет зеркало освещает и я все на собственную рожу натыкаюсь. С ней я и после целого кило не примирюсь.

Он начинал впадать в беспамятство. Рассказал, как в позапрошлом году от страха перед немецкой канонадой руку себе прострелил и едва под военный суд не угодил. Потом попросил меня принести зеленое одеяло и разрешить ему не разговаривать.

Наступило молчание. Я выключил и центральный свет. Походил по комнате, послушал тиканье будильника, посмотрел в окно. На улице завывал ветер, где-то в конце переулка сорвало вывеску и с грохотом катило по мостовой. Изредка пробегали одиночки, испуганно обеими руками придерживая шляпу. Хозяин мой молчал по-прежнему. Как ни примирял меня кокаин со всеми возможностями, легкий испуг закрадывался. Не помер ли? Я зажег боковой свет и взглянул, не прямо на него — страшно было — а в зеркало. Там я увидел его иссине-бледное лицо, разметавшиеся кудряшки, огромные, широко открытые, стеклянные глаза.

— Потушите, потушите, ради Бога потушите!

Я повиновался и почувствовал бесконечную слабость. Машинально двинулся в спальню, пребольно хлопнулся головой о дверь и повалился на кровать. О, какие перебои! Как бы хорошо на воздух или понюхать нашатыря! Очень долго мысли мои работали в этом направлении. Ходить я не могу, но если сползти и на руках добраться до окна и как-нибудь изловчиться открыть форточку? Но дальше ковра дело не пошло. Я оперся о ножку кровати, прижал обе руки к сердцу и впал в продолжительное забытье. Помню, что под утро стало хорошо, ясно, безразлично и только грохот пролеток и вой ветра надоедливо врывались в мою гармонию. Помню, что раза два я делал попытку очнуться и доползти до кабинета: где-то в глубине кусало беспокойство — что-

то тот, другой, там, на диване, делает? Упаси Боже, последует совету кюре и... времени больше не будет.

Заснул я уже после восхода. Мне снилось, что я иду по Альгамбре, меж двух рядов мраморных колонн, по великолепному стрельчатому коридору. Я иду, не сворачивая, потому что коридор бесконечен. С каждой минутой становится все темнее и все страшнее. Потом наступает полная ночь, а я иду и иду. Как быть? Что делать? Я охаю, у меня в горле спазмы, ноги подкашиваются. Тогда, откуда-то не то с потолка, не то из-за колонны насмешливый голос приглашает: "Говорите и получите одеяло!" — Какое одеяло? — "Такое самое, зеленое, стеганое." — Да зачем мне одеяло? — почти плачу я. — "Да уж затем. Говорите, говорите"... Я прихожу в отчаяние; от ужаса, от ярости хочется кинуться и загрызть крикуна. Я бросаюсь, натыкаюсь на холодный мрамор, ору изо всех сил и... просыпаюсь от столкновения своей головы с металлической ножкой кровати. В соседней комнате надтреснутый осипший голос напевает: "Connais-tu le pays".

4

Он уже успел умыться, переодеться и в сереньком штатском костюмчике напоминал маленького еврейского коммивояжера, истомленного бесконечной ездой, бессонными ночами, волнением, недоеданием. Я посидел с минуту, досадливо посмотрел на паутину, при виде которой еще сильнее застучало в висках, и липкий клубок спазм подкатил к горлу; отказался от кофе и собрался уходить.

— Посидите еще, — сказал он с какой-то особой убедительностью, — в кои века хорошего человека встретил, думал наговориться всласть...

Рассказов-то его я и боялся. Нет, нет, довольно. Надо на воздух. Едва подавляя раздражение, я протянул руку:

— Увидимся еще, тогда и поговорим. Приходите с Робертом в кафе.

— Нет, в кафе я, пожалуй, уже не приду.

— Почему?

Он порывисто встал, обеими руками сжал мою руку, пристально посмотрел мне в глаза, засмеялся и сказал:

— Ну-ну, будем надеяться. Так вы, значит,против живой собаки? Дай Бог, дай Бог.

Он проводил меня до самой парадной двери и на прощанье еще раз повторил:

— Дай Бог, дай Бог.

Ветер, завывавший с ночи, разъярился еще пуще. На углу Мансуровского и Остоженки огорченный бакалейщик тщетно искал свою сорванную вывеску. С Крымской площади неслись целые смерчи пыли, накидывались на шляпы, засыпали глаза, сушили губы. Маленькая гимназисточка в ужасе прижимала к груди книгоноску и мчалась

по ветру за убегавшей фетровой шапочкой. Вприпрыжку доскакал я до извозчика, заказал везти себя домой и уже в дороге задремал, а дома повалился на кушетку и мигом заснул.

Проснулся я от сильного стука в дверь. Были уже сумерки; из кухни доносилось пенье модного "яблочка".

— Войдите.

Дверь распахнулась, в комнату пошатываясь зашел Роберт. Он хотел что-то сказать, но губы его задрожали, он упал в кресло и начал судорожно рыдать.

Слава Богу, не было печали, еще одна истерика!

— В чем дело? Что с вами? Поражение под Парижем?

Вместо ответа он протянул мне ровную четвертушку бумаги. Я подошел к окну и впотьмах разобрал:

"Дорогой Роберт! Очень тебя прошу последить, чтобы мое зеленое одеяло переслали няне в Амьен. Твой Луи..."

Что за ерунда? Какое одеяло и почему слезы? Это мне, вероятно, снится. Протирая глаза и вытягиваясь, я с недоумением смотрел на Роберта.

— Вы поняли? - закричал он.

— Что понял?

— Idiot, — выбранился он. — Луи застрелился сегодня утром в одиннадцать и эта записка единственное, что нашли у него в комнате.

— Луи застрелился?.. Что за вздор! Как застрелился?

— Очень просто, из кольта в рот. Череп разнесло на куски.

— Почему, какие причины?

— Вы ж читали: просит передать зеленое одеяло няне.

— И все?

— Все.

Его хоронили с военными почестями. За гробом шла вся французская миссия. Седоусый толстопузый генерал сказал благопристойную речь о заслугах покойного перед Францией. Роберт плакал и непрерывно рассказывал, что Луи был такой хороший, такой хороший, ну прямо-таки природный француз. Июльское солнце жгло и ускоряло длительную процедуру; под высоченными воротниками багровели шеи и господа офицеры торопились домой. Через полчаса я остался один. На мраморную плиту, заваленную официальными венками, я бросил горсточку лепестков:

— Прими на память от... живой собаки.

5

В конце Крещатика тявкает пулемет. На витринах ювелиров остались одни серебряные ложки. За стеной плачут и возятся с чемода-

ном. А мне снятся сны. Не хочется и думать об отъезде. Я снова переживаю счастливейшие минуты жизни. Их было мало, все как-то суета мешала. И цепь волшебства прерывалась. Безразлично идущее там за окном. Надо изловчиться встать попозже, часу этак во втором дня, пожевать, покурить и снова завалиться на эвакуационный диван с выпирающей пружиной. Стоит только захотеть по-настоящему, стиснуть зубы: вчерашний сон должен продолжаться, должен, должен... Нет жизни слаще, чем во власти снов. Он длится уже неделю. Не сразу, чуть закрыл глаза. Нет. Сперва отсутствие каких бы то ни было отрывочных слов, словно куски газетных листов, строки набивших оскомину стихов. И только к рассвету закутаешься покрепче и млеешь от сладких и страшных предчувствий... Плохо одно: наутро забываешь. Стройность рушится. Но и тут я — еще с Москвы разработал теорию: чуть открыл глаза, галопом к столу и записываю. Сон последней киевской недели мне все же удалось сберечь целиком, как ни звенели трамваи, как ни метались по коридору бегущие жильцы.

... Если б не солнце, неумолимое, разъяренное, добравшееся до верхушки горы, я бы разобрал название станции. Щурю глаза, защищаюсь от солнца обеими руками — и ничего не получается. Во всяком случае, судя по произношению суетящихся носильщиков, я где-то во французской Швейцарии. Чистенький поезд только что отошел, и с площадки заднего вагона мне машет платком кузен Ника, умерший от чахотки в Давосе уже восемь лет назад. Мне все радостно: сегодня у Ники такой цветущий вид, такой неложный румянец. Я останавливаю маленькую девочку, покупаю букет первых весенних фиалок и направляюсь к выходу на вокзальную площадь, где золотыми буквами сияет вывеска Сюшара. Я даже что-то напеваю, какую-то французскую шансонетку.

— Простите, сударь, но мы ни слова по-французски, а вы, кажется, русский...

Я оборачиваюсь и вижу двух женщин: одну маленькую, сморщенную, в сбившейся шляпке, и другую — стройную, высокую, худенькую. У обеих донельзя растерянный вид.

— Ради Бога простите, нам так неудобно... Господи, в такой-то день и вдруг неудобно. Ничего не было: ни войны, ни революции, я исполнил свое заветное желание, — попал в Швейцарию и вдруг неудобно. Архилюбезным тоном, держа шляпу в руке, с сияющей улыбкой, я объясняю соотечественницам, что буду счастлив помочь им. Договариваюсь почти до глупостей: "почитал бы себя преступником" или что-то подобное.

Помочь соотечественницам весьма нетрудно. Им нужно ехать в Монтре, но, благодаря их незнанию языка, носильщик решил, что они добиваются попасть не в город Монтре, а в отель "Монтре" (каковой имеется в любом швейцарском городишке), и преспокойно потащил

их вещи по улице. Соотечественницы в ужасе. Я догоняю носильщика, быстро восстанавливаю нормальное положение, выясняю, что поезд в Монтре идет через сорок пять минут и собираюсь откланяться. Но старушка, пошептавшись с молоденькой, начинает меня уговаривать "откушать вместе кофею". Я мгновенно соглашаюсь. Уверенными шагами веду их через площадь (откуда только это знание местности), сворачиваю в переулок и вот мы уже на тенистой веранде, за мраморным столиком. За границей с русским человеком разговориться легко. Никакого пуда соли есть не требуется. Совместная чашка кофе и вся подноготная известна. Молоденькая приходится старушке отдаленной родственницей. Старушка только довезет ее до Монтре, поместит в санаторию и домой, в Орловскую губернию. Присматривать за ней будет господин Богданов, оригинал, мизантроп, богатейший человек и отдаленный родственник. Богданов? Это какой, не тот, что под Невшателем в собственном имении фаланстер организовал? Тот, тот. Доверие возрастает. Старушка конфиденциально перегибается через стол и шепотом сообщает мне, что у ее спутницы сильнейший процесс в легких. Вагнер, профессор московский, откровенно заявил, что ни за что не ручается.

— Полно вам, тетя, шептать о моем здоровье, — перебивает молоденькая, впрочем добродушным тоном, — может, господину совсем неинтересно.

— О, нет, напротив, напротив. Мне очень интересно. Я им настоятельно советую ехать именно в Монтре. В прошлом году одна моя добрая знакомая уже кровью харкала, но после двух месяцев в Монтре и т.д. и т.д. Словом, я болтаю на полный ход, выдумываю никогда не существовавших знакомых, привожу примеры баснословных выздоровлений ("Нину Александровну Поперскую не знавали? Без обоих легких приехала и что ж вы думаете"), но одновременно рассматриваю молоденькую. Лицо бледное, на скулах роковые пятна, зеленые глаза совсем утонули, но правильность черт изумительная — и к тому же сухая ножка (подъем в обхват кулака свободно войдет), густые каштановые волосы, элегантность, ускользающая от определения. Я кончаю свою тираду о мифической Нине Александровне подношением букетика фиалок. Цветы принимаются более чем благосклонно: мне сообщают имя, фамилию — Елена Сергеевна Лихарева, у меня забирают адрес с условием, что после первой же открытки я немедленно приеду... Сообщая адрес, я испытываю смущение и досаду на самого себя. Стоял давеча на вокзале, дяже не знал, где нахожусь, а теперь размашистым почерком, не моргнув глазом, пишу: Интерлакен, "Hotel de quatre Cantons". Странно, странно, лучше бы проснуться. Хочу уже ущипнуть себя за руку, но старушка смотрит на часы и просит довести до вокзала: уже время. При выходе из кафе

Елена Сергеевна небрежно берет меня под руку и пропустив старуху вперед, спокойно, не глядя в глаза, говорит:

— Обязательно приезжайте, раскаиваться не будете, вы мне, между прочим, очень нравитесь. Я с изумлением пробую остановиться, переспросить, но она уже громко торопит:

— Идемте, идемте, мы опоздаем на поезд.

И тихо прибавляет:

— Молчите и пока не расспрашивайте, потом все узнаете.

До самого отхода поезда она не произносит больше ни одного слова. Молча пожимает руку и уходит в вагон. Старуха растроганно целует меня в лоб:

— Спасибо, батюшка, спасибо. К Лелечке приезжайте, истинно христианское дело...

Поезд трогается.

Я выхожу на площадь. Долго стою перед вывеской Сюшара. И недоумение, и восторг...

Потом — трудно восстановить; в эту же самую ночь, или в другую, или в третью пришло продолжение сна — потом уже другой швейцарский городок. Осень. С утра парный дождь, к сумеркам туманы.расползлись, я одеваю желтую непромокайку, иду к озеру и катаюсь на лодке. Сырость, следовало бы поберечься: все равно... До первой звезды... Однако, как я высоко живу. На такую гору карабкаться приходится, что сердце замирает и дыхания не хватает. Предостерегающий голос пробует заметить что-то о грудной жабе. Э, да уж лучше бы молчал. На моем письменном столе лежит телеграмма. Дрожащими руками открываю. Господи, если ты есть, не пошли неприятности. Читаю и ничего не понимаю. Вероятно, не мне:

— Приезжайте санаторий Эспуар Монтре Елена.

Абракадабра, даже для сна чересчур.

Елена? Почему я должен куда-то ехать?

Проснись, проснись!

"Sors de l'enfance ami, reveille toi!"

И я злюсь, злюсь до спазм, но выхожу на улицу и через минуту лупоглазое такси прорезает тьму. Странно знакомые дороги, вот здесь налево по тропинке, за чащей должен быть ресторанчик "Mon Plaisir"! Здесь я уже живал, здесь мелькало счастье.

— Шофер, до Mon Plaisir далеко?

— О, нет, сейчас налево. Прикажете свернуть?

— Нет, езжай дальше.

Убийственная жара. Почему в лесу пахнет табачным дымом, к чему эта безобразная поездка и как я сговорюсь с портье? Елена — а дальше... Mlle... russe... Глупо, бесконечно глупо. Автомобиль въезжает в сад, разрывая гравий узенькой дороги, продираясь через арку сросшихся ветвей. Уже полная ночь. Только там, в конце дороги, в свете дугового фонаря, маленькая закутанная фигура. Она отделяется от фонаря, бежит навстречу.

— Юрий Павлович! Приехали? Вот спасибо, вот большое спасибо.

Я выскакиваю из автомобиля и с изумлением узнаю свою вокзальную знакомую.

— Елена... простите, как вас по батюшке величать?

— Никак, совсем никак, и Елена чересчур. Зовите Леля. Фу, какой вы застенчивый, отпускайте скорей машину, я совсем продрогла.

В вестибюле она сбрасывает манто и оказывается в открытом бальном платье. Ключицы ее торчат, как два крыла, на скулах горят огромные багровые пятна.

— Куда вы собираетесь, Леля?

— Никуда, — удивляется она.

— Позвольте, это платье...

— Юрий Павлович, будет вам притворяться, неужто не понимаете, что для вас я принарядилась. Или вы... (голос ее падает, и в нем появляются и злость, и испуг) считаете, что перед смертью можно бы и без декольте?

— Что вы, что вы!

Я совершенно сбит с толка: ее лихорадочный вид, роковые пятна и... бальное платье, обилие вина на столе.

— Юрий Павлович, — подходит она ко мне совсем близко. — Можно вас поцеловать, вы не боитесь заразиться чахоткой?

Я лепечу что-то окончательно бездарное. Она садится мне на колени, долго смотрит мне в глаза, охватывает руками мою шею и целует меня в губы. Потом вскакивает, отбегает к окну и я слышу всхлипывание. Никогда я не думал, что и во сне можно попадать в такие положения.

— Не успокаивайте меня, не смейте, слышите, я вас не для того позвала. Молчите, молчите...

Я молчу. Под предлогом, что забыл портсигар, выхожу в коридор. Направляюсь в кабинет дежурного врача санатории и прошу сообщить мне совершенно откровенно состояние здоровья моей "кузины". Врач заглядывает в какую-то книгу, собирается с мыслями и смущенно сообщает, что особенных надежд нет, что и вино и нерегулярный образ жизни разрешены "кузине" единственно в виду неизбежности фатального исхода.

— Как долго она может еще прожить?

— О, это трудно определить с точностью: от двух недель до двух месяцев.

— Не больше?

— Едва ли. Дело в том, что развязка ускоряется тяжким психическим состоянием пациентки. Навязчивые мысли, непонятные нам желания...

Я снова в ее комнате.

— Ходили справиться? — презрительно смеется "кузина".

— О, нет, за папиросами.

— Врете, вы еще давеча от волнения вынимали и вертели портсигар. Стыдно врать умирающей.

Молчание — длинное, красноречивое, болезненное.

— Слушайте, — начинает она уже другим голосом, желающим казаться спокойным, лихорадочно-сильным, — я сейчас буду с вами говорить о том, о чем я с самыми лучшими друзьями не смогла бы говорить. Только потому, что вы чужой, что мы оба безразличны друг другу. Мне время тлеть, тебе цвести. Умирающий ничего не стыдится в исповеди. Ну а для моей исповеди священник не подходит. Другое требуется утешение. Не раскрывайте ваших голубых глаз, а то я сконфужусь и собьюсь. И не трогайте пока моей руки. Мне эти почтительные поцелуи радости не дают. Руку покойникам целуют. Коротко буду с вами говорить. Насчет того, сколько мне еще недель канючить, вам уже, видно, сообщили. Так вот, подумайте, легко или нет умирать, не изведав жизни?

Молчать больше нельзя, я пытаюсь изыскивать аргументы, но она неумолима.

— Оставьте эти разговоры... в пользу бедных. Говорите прямо, поможете вы мне или нет?

— О, да, конечно, все, что смогу.

— Я думаю, что сможете (на ее губах ироническая улыбка). Вы должны мне дать возможность в последний месяц жизни узнать любовь!

— То есть? — лепечу я... Ох, проснуться бы!

— Причем тут то есть? Мужчина вы или манекен? Нравитесь вы мне, я тоже не обезьяна. В кофейни с интерлакенскими девчонками ходите? Глядите на меня, как на проститутку, к тому же бесплатную. Ну, раз, два, три. Или да или убирайтесь. Только имейте в виду, в случае вашего отказа я на улицу пойду. Или нет, вы же "гуманист", этим вас не возьмешь. Я застрелюсь сейчас же, здесь же, при вас. Да перестаньте же молчать!

Окончив тираду, она бледнеет, задыхается, опускается без сил на софу, но глаза ее горят такой злостью, таким приказом, что при всем жалании ее успокоить я не нахожу слов. Я снова беру ее за руку и почтительно целую. Она вскакивает в бешенстве, срывает с себя платье, рубашку, распускает волосы и кричит:

— Да посмотрите на меня. Разве я плохо сложена? Потрогайте, какая у меня гладкая кожа.

Машинально я дотрагиваюсь пальцами до ее голого плеча.

— Да-да, действительно у вас мягкая кожа.

— Мягкая, мягкая, — истерически хохочет она, — ну, целуйте же меня, ну будьте же мужчиной.

Решительно необходимо или проснуться или будь, что будет. Не могу же я в самом деле с трупом. Я поворачиваюсь и направляюсь к двери.

— Я сейчас застрелюсь, — кричит она вслед.

Тут я не выдерживаю. От радости вокзальных минут не осталось и следа. Я топаю ногами, задыхаюсь, ору:

— Делайте, что хотите. Мне противно, гадко, вы — скверная девчонка. Вы злая большая паучиха. К черту, к черту...

Я хлопаю дверью, прислушиваюсь: выстрела не слышно. В свирепой растерянности прохожу вестибюль и направляюсь в ночь. Ни одного автомобиля, ни одного фиакра. Ничего. Спотыкаясь о камни, ударяясь о деревья я иду, иду... Мне холодно, у меня озноб, начинается дождь. Но где же моя шляпа, пальто? Остались там, в этом аду. К черту, туда я не вернусь. Доберусь до города и сейчас же, с первым утренним поезду в Лозанну. К черту, к черту...

... Я лечу в провалы, какие-то молоты стучат по моей голове, мне растягивают ноги. Длинным гвоздем расковыряли мне грудь — и уже гвоздь этот впивается мне в сердце. Не мучьте меня, за что вы меня терзаете? А потом... вспыхивают десятки люстр и в огромном зале на столе, заставленном цветами, лежит худенькая стройная девочка. На ее губах презрительная усмешка, нос уже заострился, а глаза раскрыты в гневном укоре. Я подхожу ближе, я приглядываюсь. Почему, однако, она совершенно раздета? И что это? Под левой грудью маленькая черная ранка. Я, я убил ее... И люстры с грохотом рушатся... и какие-то вилы пронзают мне спину...

Я открываю глаза. На стене играют зайчики, где-то близко-близко, чуть ли не в нашем переулке тявкает пулемет, а за стеной испуганные жильцы с шумом упаковывают корзину.

Довольно снов! Надо бежать, надо жить, надо спасаться от этой выпирающей пружины дивана. Еще ночь-другая и пружина пронзит мне спину и, пожалуй, найдет путь к самому сердцу. Это от дивана такие мысли. Надо пережить. Я одеваюсь, мигом решаю бросить все вещи — и с маленьким саквояжиком пробираюсь опустевшими улочками к гудящему вокзалу. Там забираюсь в первый попавшийся товарный вагон. Отсюда не уйду... Все равно, германцы перед отходом захотят вывезти товарные составы. Зарываюсь в грязную солому, затыкаю уши пальцами, чтоб не слышать уханья пушек и снова засыпаю.

Юрий Павлович Быстрицкий! Самый неумолимый воинский начальник — ваша лысая душа дает вам снова, но в последний раз — отсрочку...

О сверкающее ртутью платье, которое развевается на поворотах крепостных сводов!..

Обрушивайся молодости молот, дребезжите черепа, как стекла! Жмыхами, соломой блеклой дари, фараоний голод! Вспыхивай, зло-

ба бороться истоптать тощие озими. Ненависть лютая деревенская, заворачивай проселками в город, жги, буянь, пропивай! Россия, ненавистная, вшивая, немытая, не жалей! Гряди, фараоний голод... И если не было и нет радостей, если нечему даже присниться, то в соломе товарного вагона, пропахшей навозом, сыростью, гнилью, крепну я в своей главнейшей мысли. Отсрочка, шестимесячная отсрочка — не больше!

... Так, под уханье, в пургу, через кордоны покидаю я мать городов русских. Через силу от заледеневших рельс отрываются тяжкие колеса и в щели товарного вагона заглядывает седая, молчащая, притаившаяся Украина. Иногда хлопушкой хлопнет винтовка, иногда зажелтеет фонарь контроля и зазвучит ядреное русское слово...

X

РАССКАЗ ЧЕЛОВЕКА С ОДИННАДЦАТЬЮ ПЛАТИНОВЫМИ КОРОНКАМИ

Я ненавижу Россию, я бесконечно равнодушен к судьбе моих родных, у меня нет друзей, есть собутыльники и их не жалко.

Я уже давно отказался от монополизма в отношениях к женщинам: бери деньги, отдай Ersatz любви и мы незнакомы. Я верю в то, что с каждым из моих врагов на одной из остановок жизни я встречусь в обстоятельствах, когда я смогу перекусить ему горло. Это основа моего оптимизма. После четырех лет плавки характера и испарения души трогательную неувядающую благодарность я сохранил лишь к случайным встречам, к прошедшим мимо и исчезнувшим навек, но успевшим рассказать нечто, наполняющее священной радостью знания жизни. На вокзалах, в ресторанах, на тропических бульварах, в лакированных холлах больших отелей мелькали коричневые незапоминающиеся лица. Предупредительность манер, тщательно выглаженные брюки, жилеты с бриллиантовыми пуговицами, уголок шелкового платка меж обшлагов смокинга и манжетом рубашки... Их было тысячи тысяч. По-прежнему надрывался Jazz-band вне конкуренции, по-прежнему негр с мировой известностью до самозабвения закатывал глаза, приготовляя таинственные коктейли и смеси ликеров, по-прежнему кокотки щеголяли скромностью, а жены американских свиноводов жемчугами. По-прежнему под звуки chicago вырастали "презренье к жизни и усталость снов"... И вдруг появляется человек, такой же, как все и такой необычайный. Наши глаза встретились, и я знал, что будет знакомство, будет рассказ о жизни полнокровной, достойной зависти вымирающих близких и выживающих дальних.

— Как вы страшно торопитесь! Как вы мало чувствуете жизнь. Послушайте, мы с вами познакомились неполные сутки. Завтра я

уезжаю обратно в Лондон. Вы тоже куда-то собираетесь. Вероятно, мы с вами больше никогда не столкнемся. У меня сейчас большая потребность рассказать несколько эпизодов моей жизни именно беспокойному, торопливому, молодому.

В пятьдесят четыре года, когда во рту одиннадцать платиновых коронок, хочется помогать человечеству не только устройством детских приютов и общежитий для инвалидов. Вчера при нашем первом рукопожатии я понял по вашему лицу, что вы бывали в моих краях и фамилия моя вам более чем известна. Вы встречали это трехсложное имя на вывесках контор и складов, на штандартах пароходных компаний, в списке акций, котирующихся на мировых биржах, на мраморных досках благотворителей, в подписях, скрепляющих опубликованные балансы экспорт-импортных домов и грюндерских банков и т.д. и т.д. И вот наконец после стольких надоевших упоминаний Каниферштан перед вами. Хвастать мне нечем. Красотой я не блещу. Не только сегодня, но и тридцать лет назад, женщины отдавались мне исключительно за деньги и забывали мгновенно. Рост маленький, лысина большая, пальцы плебейские — короткие, узловатые. Смокинг на мне, как на вешалке, а когда шить фрак приходится — сам парижский светила Пуль вздыхает и мнется, прибавляя в утешение: "Courage, monsieur...La beaute c'est rien. Marianne elle-meme n'est pas racee...?"

Ну, да это у меня от старческой болтливости: речь идет не о моей фигуре. Вам, вероятно, небезызвестно, что уже отец мой был крупным миллионером. Родился я в роскоши и беспечности. Однако — и здесь хочется похвастать — большая часть моих миллионов приобретена мной лично, без всякой помощи со стороны отца. Дело в том, что в семнадцать лет, окончив гимназию, я пожелал жениться на нашей гувернантке, тридцатилетней француженке, посвятившей меня в таинства любви. Пожелал и объявил об этом отцу. Человек он был до безумия занятой, видался с нами один раз в день за вечерним чаем. Отец выслушал, пососал трубку и в ответ принялся расспрашивать секретаря о вечерних курсах Шанхайской рисовой биржи. Молчание отца я принял за согласие и спокойно лег спать. На утро встал в отличнейшем настроении, иду в столовую и вижу у сестренки заплаканное лицо.

— В чем дело?

Молчит.

— Где mille Janette.

Молчит.

Мною овладело жуткое подозрение. Бегу в комнату Жанет. Дверь настежь, горничная подметает, на столах, на туалете никаких вещей. Я кинулся к матери и узнал все. В полночь отец вызвал Жанет, вручая ей значительную сумму и она на рассвете уехала в неизвестном направлении, как пишут в сводках. Не оставив письма, не зайдя попрощаться... Смолоду я был гордый, нетерпимый, решительный. План

мести отцу сразу созрел. В этом доме, где смеются над моими лучшими чувствами, я больше не останусь ни одного дня. Дождался вечернего чая. Злобная дрожь бежит по телу. Какими глазами, думаю, посмотрит на меня отец? Он вошел, с трубкой в зубах, с кипой фактур, писем, циркуляров. Сел на свое место, начал читать и подписывать, мне ни слова. Тогда я встал и сказал:

— Отец, я больше не останусь в твоем доме, я уезжаю навсегда.

Он поднял глаза. А глаза у него были подслеповатые, всегда прищуренные, всегда усталые.

— Что ж, — говорит, — я твой характер знаю. Тебя не разубедишь. Помни одно. По легкомыслию не соверши преступления, замараешься на всю жизнь. Плохо придется — телеграфируй.

Я, стиснув зубы, с учтивым бешенством ответил:

— Я тебе буду телеграфировать тогда, когда у меня будет столько же миллионов, как у тебя.

Отец снова погрузился в бумаги, мать и сестренка при нем боялись говорить, отозвали в другую комнату и стали умолять. Я отклонил и их просьбы и предложение денег, взял саквояжик, макинтош, сосчитал деньги: до Сан-Франциско на билет третьего класса хватит, продам золотые часы и начну работать. Пароходишка попался дрянной, колесный, теперь бы на такой посудине по реке не поехали; а в девяностых годах он шпарил от нашего Владивостока до Сан-Франциско с заходом в Иокагаму и Гонолулу. Волны нас перешвыривали не то пятьдесят дней, не то два месяца. Если б не капитан, старый просоленный япошка (много лет спустя он у меня в компании на главных ролях был), погибнуть бы и самой посудине, и мне, и куче эмигрантов, которые в трюме ехали. И все-таки только благодаря этой душегубке я человеком стал, ибо познакомился я в пути и со своими будущими компаньонами и с одним мудрейшим стариком, научившим меня жизни. Звали этого старика — Нахимов, всю жизнь шатался он по белу-свету и теперь уезжал к сыну, устроившемуся в Калифорнии на хорошем месте.

Как сейчас помню. Приплыли мы в Гонолулу. После качки, грязи тюремной, спертого воздуха вышли на берег, словно в рай попали. На Сандвичевых Островах в эту пору года растительность неизреченная. Земли не видно, так, фикция одна. А что ни бросишь — растет. С полудня до полуночи на наших глазах бамбук вдвое увеличивается. Апельсины с голову ребенка, гигантские пальмы с листьями размеров комнаты. Иду я по пальмовой аллее, гляжу на чудеса тамошние, воздух пью и чувствую, душа выпрямляется. Смотрю, на скамеечке под пальмой сидит старичок Нахимов и пальцем меня манит. Я подошел, и он начал тогда на Гонолулу под пальмой разговор такими же почти словами, как теперь через тридцать семь лет начал я здесь, на берегах Босфора, в гостинице счастливого армянина, у которого тоже замечательная история. Напомните, потом ее расскажу. Будете довольны. Но я опять отклоняюсь. Говорит мне Нахимов:

— Молодой человек, папашу вашего я давно знаю и вас еще ребенком издали видывал. Не мое дело, почему вы из родительского дома уехали, но разрешите мне, старику, вам два совета дать. Не волнуйтесь, не торопитесь. Пройдет мимо вас красивая женщина, не бежите ей вслед, через полчаса встретите еще более красивую. Выехали мы с вами с Дальнего, от природы скудной. В Иокагаму приехали, каких чудес насмотрелись. Думали, лучше в мире нет. Ан нет, вот в Гонолулу, здесь почище будет. Матросы мне на пароходе сказывали, что и Гонолулу еще не самый рай. В городе Коломбо на острове Цейлон много занимательнее... Предстоит вам множество испытаний. Опять же соблазнов тьма. И вот вам мой один совет — не хватайтесь за первое попавшееся, не прельщайтесь первой же прелестью. Прите напролом. Ноги молодые — жарьте по всему свету. Радость придет — не задерживайтесь, впереди радость еще радостнее и так без конца. Горе по голове хлопнет, смейтесь и прите. Никогда, нигде не помышляйте о самоубийстве, которое при гордости вашей очень соблазнительно. Нет мужества в том, чтобы надавить гашетку, мужество все пережить и задушить свое злосчастье... А теперь другой совет. Когда начнете деньгу зашибать, не скопидомничайте, в чулок не прячьте. Один доллар заработаете, на пять дело начинайте. Постоянно и непременно ставку увеличивайте. Или пан или пропал... Спросите, почему я, жалкий старик, смею искусству коммерческому обучать? Потому что много я видел, много передумал и, если б мысли мои особые не препятствовали, давно бы миллионером стал. Впрочем, в молодости, когда я первый раз на золотую лихорадку попал, зашиб и я великую деньгу. Не сохранил ее единственно из-за отсутствия гордости, единственно из-за того, что собственных двух заповедей не придерживался. Хотите верьте, хотите не верьте, но вспоминайте почаще...

Тридцать семь лет с того дня прошло. Но один Бог знает, сколько раз и в каких самых удивительных обстоятельствах вспоминал я два Нахимовских совета. Пригодились они мне в жизни не меньше, чем три моих компаньона, валявшихся, как и я, в японском трюме. И прежде всего хочется мне вспомнить об Уинстоне Вальтере. Только среди англо-саксов мог появиться подобный человек. К двадцати четырем годам, исколесив все страны, переехав все океаны, он насчитывал в своем послужном списке и малопочетное звание кочегара, и обогощающее великим опытом занятие меняльным делом, которое он практиковал в Голландской Индии. На двадцать пятом году Вальтер попадает в Сьерру-Неваду в разгар алмазных раскопок. С киркой в одной руке, с магазинной винтовкой в другой излазил он неприступные ущелья, работал день и ночь, думая не столько о том, как алмазы найти, сколько о том, как их от товарищей сберечь. Короче говоря, через два года он явился в Нью-Йорк, продал свои алмазы, подлечил револьверные и ножевые раны и стал подыскивать подходящее дело. Зарылся в финансовые газеты, в биржевые бюллетени, в многотом-

ные справочники. Много интересных дел в Америке, но более всего мечтательное сердце Вальтера кольнул Панамский проект Лессепса. Это уже, говорил он себе, не жалкие 8-10 процентов, здесь за год можно утроить, если не упятерить состояние. Через год Лессепс взлетел на воздух, а у Уинстона Вальтера осталось пятьдесят долларов и приятное воспоминание об обаятельных манерах гениального француза. Снова в стоптанных сапогах, снова насупив рыжие лохматые брови, шляется он по Сан-Францискому second street и решает пробовать счастье за океаном, на Дальнем Востоке. Однако и тут судьба бьет: на вторую неделю владивостокская полиция заподозривает его в тайной продаже опиума и добродетельному его защитнику, великобританскому консулу, остается вручить Вальтеру пособие в десять фунтов и пожелать благополучного путешествия. В раздумьи, куда бы поехать, неунывающий англичанин отправился в порт справиться об отходящих пароходах и здесь в харчевне встретился с двумя русскими молодыми людьми, в совершенстве владевшими английским языком. Один, Надеждин, был недоучившимся путейцем и бредил новой системой проложения туннелей, другой, назовем его здесь "мистер Рашен", был братом знаменитого русского химика и открыл исключительно дешевый способ добывания динамита, испробованный им в Верхне-Тагильском горном округе. Оба молодца решили ехать в Америку, в твердой вере, что новая страна сумеет оценить их таланты. Вальтер выслушал их и на месте же согласился возвратиться в Сан-Франциско, где он хорошо знал местные условия. Уже в дороге, в трюме была образована акционерная компания для эксплуатации проектов Надеждина и Рашена. И так как я был готов на все и так как основной капитал был намечен в двести долларов, то, внеся золотые часы, я стал владельцем 25 процентов акций и сразу повеселел. Оставаться мрачным не представлялось возможности. Вальтер, самый старший из нас, торжественно заявил, что если Сьерра-Невада дала ему 50.000 долларов, то неодинамит и неотуннель сделают его миллионером не позже, чем через шесть месяцев.

11 августа 1884 года высадились мы в Сан-Франциско. В те времена еще не было современных примечательностей калифорнийской столицы. По-настоящему Сан-Франциско обстроился лишь после землетрясения. А тогда, тогда помните, в "Пер Гюнт":

— Я в Сан-Франциско золото копал,

Фиглярами кишмя кишел весь город...

И фигляры, надо вам сказать, попадались все больше опасного свойства. На языке — юмор висельников, в карманах — по револьверу, за голенищем — нож. Беглые из Сибири, изгнанные из Американских Штатов, неудачники — французы, прожектеры — англичане, предприниматели — голландцы, мулаты, побивающие рекорды преступности, японцы, побивающие рекорды трудолюбия. Нужна была

особая варварская жестокость многочисленной, с головы до ног вооруженной полиции, чтобы удерживать в состоянии хотя бы относительного спокойствия это море авантюристов и преступнииков.

С первого момента оценили мы достоинства Уинстона Вальтера. У сходен парохода подошел ко мне неизвестной национальности человек и спросил, не желаю ли я что-либо продать. Я вынул часы и протянул ему. Пока он их рассматривал, подошло еще двое его приятелей, потом еще один — и я оказался оттиснутым от главного покупателя спинами его компаньонов. В это время Вальтер спустился с парохода, острым взглядом оценил положение, нахлобучил кепку и двинулся к покупателям, тяня меня за рукав. Покупатели тоже заволновались. Главный протянул мне часы и со словами — не подходят, золота тонкий слой, остальное — медь, — начал удаляться. Вальтер взял у меня часы, взвесил их и через мгновенье прозвучал выстрел. Пуля пробила картуз убегавшего покупателя, а Вальтер с криком "стой или конец" прыгнул на него и страшным ударом ноги в нижнюю часть живота поверг его на землю. Компаньоны покупателя бросились было на помощь товарищу, но, встреченные серией выстрелов, предпочли ретироваться. Уверенным жестом Вальтер стащил с ноги побитого сапог и мои золотые часы со звоном покатились наружу. После такого эффектного окончания эпизода первого начался эпизод второй — уже совершенно идиллический. Вальтер помог покупателю подняться, вручал ему фальшивые часы и мягко сказал:

— Не надо нападать на местных. Теперь пойдем к Джиму и вспрыснем знакомство.

Через полчаса Вальтер, Надеждин, Рашен, я и четверо новых знакомых сидели в задней комнате достаточно грязного кабака и горячо обсуждали возможность привлечения акционеров в наше общество.

Обсуждение продолжалось до вечера, после чего по совету Вальтера, мы отправились к некой Бетти Хьюрард, энергичной молодой ирландке, сдававшей комнаты малоденежным приезжим. Бетти радостно приветствовала Вальтера, троекратно с ним облобызалась и обещала в этом же доме найти для нас подвал, необходимый для Рашеновских работ. Со следующего утра началась страда. Двести долларов сразу ушли на покупку реторт, материала и т.д., на уплату арендной платы за подвал и месячного взноса в пользу Бетти Хьюрард. К концу месяца мы уже начали вешать нос на квинту. Опыты Рашена продвигались медленно, уставали мы чертовски, а новые акционеры, хоть лопни, не появлялись. Откуда взять денег на уплату аренды за следующий месяц? Я просыпался по ночам, тщетно ломал голову и слышал, как ходуном ходили соседние койки Рашена и Надеждина. Один Вальтер оставался невозмутим и наполнял молчание ночи методическим, энергичным храпом. Не знаю, что было бы с нами, если б трагический случай не положил предела и нашим работам и самому пребыванию в Сан-Франциско. Старожилы second street по сей день

помнят оглушительный взрыв 6 сентября 1884 года. Опыты Рашена дали неожиданные результаты, подвал разметало в щепы, а в верхних этажах полопались стекла и посыпались потолки. Случилось это во время обеда, что и спасло нам жизнь. Ночь мы провели в полицейском управлении, а наутро четыре "нежелательных иностранца" под усиленным конвоем были препровождены до границы Калифорнии. Провожала нас на вокзал одна Бетти Хьюрард, принесла нам провизии на неделю, долго прижимала каждого из нас к своей пышной груди и просила не забывать и писать.

...Мордатый детектив вышел на площадку observer-car, убедился в том, что мы действительно уже за границей Калифорнии, и, любезно приподняв шляпу, ушел в свое купе... На поросшей вереском поляне мы устроили военный совет. Я с грустью вспоминал золотые часы, Надеждин мечтательно обрывал тысячелистник, Рашен проклинал свою неосторожность и называл себя преступником, а Вальтер, трезвый, хмурый, посапывал трубкой и излагал план: надо ехать в Сан-Диего. Мексиканцы народ либеральный. В Мексике постоянная война и есть шансы продать патент на неодинамит. Так и сделали. Вернулись на станцию, еще раз полюбовались издали Калифорнией и поехали в Сан-Диего...

Рассказ мой затягивается, но это случается со мной каждый раз, когда я вспоминаю Уинстона Вальтера. Не человек, а дьявол. Вы бы дорого дали, чтобы увидеть его в Сан-Диего. Город в тревоге, вчера еще был переворот, назавтра ожидается новый. Туземцы, нахлобучив исполинские шляпы, щелкают затворами магазинок и на чем свет стоит проклинают вонючих gringos (так именуются иностранцы в Парагвае и Мексике), от которых вся смута будто бы происходит. А Вальтер и в ус не дует; на местных наречиях разговаривает с легкостью гоночной машины. Нас троих запер в номере гостиницы, раздобыл фатальную шляпу, потрепал меня по плечу и скрылся на пять суток.

В городе постреливают, я лежу на кровати и думаю: будь она проклята, Jannette, то ли дело сейчас во Владивостоке, за чайным столом. Тишина, благодать, шорох отцовских бумаг. Рашен, обросший дикой щетиной, делает вид, что ему все нипочем и знай пишет свои таинственные формулы. Надеждин мечется и пытается вступать в разговоры с хозяином, евреем-эмигрантом. Еврей успокоительно улыбается и твердит:

— О, Вальтер. Это такой человек... Он все может.

Еврей не ошибся. Вальтер сумел. На шестые сутки явился, просунул голову в номер:

— Рашен, иди побриться, забирай папку с формулами и едем получать деньги.

До сих пор я так и не узнал, как он сумел убедить генерала Кальвадереса заплатить за Рашеновский бред три тысячи долларов. Знаю только, что нам с Надеждиным при всей жажде денег стыдно было

получать свою часть — по семьсот пятьдесят долларов.... Уж больно наша хата с краю.

Покутили мы ночку в Сан-Диего, познакомились с другом Вальтера, адъютантом генерала Кальвадереса, выслушали его рассказ о том, что никакая пуля его не берет, ибо имеется у него великий талисман — пачка перьев птицы кобюрэ, передающий человеку железную стойкость ее клюва. А на рассвете снова поезд и снова на дальний Запад, и снова пятидесятитонная душегубка: мы едем на Клондайк , где началась, по сведениям Вальтера, золотая лихорадка.

В пути, при проезде через Техас, мы потеряли Рашена. Изобретатель неодинамита соблазнился возможностью льготного приобретения фермы и остался в Техасе. Что с ним там стало — не знаю. С тех пор и ни от него ничего не получал, ни о нем ничего не слышал. Приезжих из Техаса расспрашивал. Говорят, действительно, в начале девяностых годов проживал такой фермер, иностранец, холостой и все пр. Занимался сельским хозяйством, скупал соседние участки и отличался кроме того чудачеством. Все свободное время посвящал опытам со взрывчатыми веществами. Один раз даже ферму свою подпалил. В середине девяностых годов, когда нахлынули скупщики земель с Востока, он продал ферму, участки, скот и уехал. Куда? Неизвестно.

Меня и Надеждина расставание с Рашеном чрезвычайно расстроило. Почудилось нам в его выбытии из акционерного общества какое-то предзнаменование. Но Вальтер тоном, недопускающим возражений, объяснял, что Рашен, отдав акционерному обществу все у него имевшееся свое quasi изобретение, оставшись в нашей среде, был бы только обузой.

— У него неисправимо славянская душа. Он бы никогда не сделался ни англичанином, ни американцем. Другие же души на Клондайке не нужны. Приедете — увидите.

И еще раз Вальтер оказался прав. В моих воспоминаниях разлука с Рашеном знаменует окончание кратковременного периода испытаний. С тех пор в продолжение тридцати четырех лет вплоть до гигантского промышленного кризиса 1919 года счастье мне не изменило. Эти тридцать четыре года представляются эпохой такой гармонии, такой кристальной законченности, что, кажется, начинай снова и тогда б не изменил ни одного поступка. И причина недавнего поворота фортуны, конечно, не в мировом кризисе. Вся штука в том, что в 1918 году, дожив до шестидесяти двух лет, приобретя большие миллионы долларов, переборов все — конкурентов и судьбу, железный Уинстон Вальтер не выдержал смерти сына, погибшего в рядах американского корпуса добровольцев и, протосковав с месяц, пустил себе пулю в рот... Уинстон Вальтер был в моей жизни чудодейственной пачкой перьев кобюрэ. Потеряв талисман, я обрек себя на горе... Не удивляйтесь же, что воспоминание о нем вызывает у меня слезы.

Итак, мы на Клондайке. Как добывались деньги в месяцы Клондайкской горячки, вы наверно знаете. Достаточно об этом Джек Лондон писал, достаточно газеты прошумели. Скажу вам только, что через три года я оказался в Нью-Йорке совершенно седой, с хроническим ревматизмом, с расширением сердца и грудой мешочков золота. Все это в двадцать два года. По продаже золота на каждого из трех очистилось, если вас это точно интересует, по семьдесят две тысячи долларов.

Надеждин сразу стал буржуем. Будь она, говорит, проклята ваша Америка, мне каждую ночь снится, что мы опять на Клондайке в ущелье смерти, погибаем от холода и усталости. Поеду я лучше на Кавказ. Пишут мне, что там железнодорожное строительство началось. Буду заниматься подрядами.

...И вот остались мы вдвоем. У меня своих мыслей нет. Гляжу в рот Вальтеру, что-то он надумает. Надумал Вальтер меняльную контору открыть. Походил со мной по бирже, посвятил меня в десяток основных операций, сняли мы контору на шикарном street и машинка завертелась... За свой страх и риск не работаем, все больше комиссией и окольными счетами пробавляемся, не брезгуем и закладами. Нет в мире лучше дела меняльного. Не говоря уже о познании жизни — оборот феноменальный. Банковское дело много хуже. Там отчетность, ограниченность круга операций, установленные проценты, налоги гигантские... А у нас все шито-крыто. Работаем вдвоем. Посторонних не допускаем. Сделаем на десять тысяч, записываем на тысячу. Потом опять же приезжают наши Клондайкские и предлагают комбинации, на которые только мы с Вальтером пойти можем.

— Знаете, — бубнит приезжий бородач, — заявку Джемферсона, слева от нее в полумиле, будь я проклят, если нет жилы. Дайте мне денег поднять это дело: все пополам...

И вы думаете, мы не давали? Обязательно давали. Потому что и на Клондайке есть особая каторжная этика. Если свой выручил, своего нельзя надувать. Бывало осенью вручаешь Биллу или Джону три-четыре тысячи долларов, а к весне он опять является и швыряет на прилавок мешок — "получайте вашу долю". Вот капитал и обернулся много раз. Где же банку за нами поспеть? У какого же банкира были счастье и меткость Уинстона Вальтера?

К началу испано-американской войны состояние наше равнялось почти миллиону долларов — когда грянули первые пушки, Вальтер разволновался и решил, что настало время товарных операций. Надо на армию работать. Оба мы были уже американскими вольными гражданами, лазейки в министерствах до тонкости изучили и со второго месяца войны "Уинстон Вальтер и Со" сделались поставщиками военного снаряжения, владельцами гранатного завода под Чикаго.

Ах, какое веселое время! Риска ни малейшего. Присылают из министерства письмо: потрудитесь к такому-то числу поставить столько-то миллионов снарядов. Калькулируем себестоимость, набавляем 100 процентов, а то и 200, делимся с приемщиком — и гора долларов растет. На бирже тоже не зеваем. В дни войны всякая биржа в истерике, а об американской и говорить не приходится. Испанские бумаги вниз, а американские вверх, новые выпуски акций предприятий, работающих на войну! Есть разгуляться где на воле. И остров Куба стал для нас второй Клондайкой. Наш миллион из кубинской крови извлек такие живительные дрожжи, что по окончании войны я смог исполнить свое давнишнее желание — телеграфировать отцу. До сего дня с матерью и сестренкой переписывался, а с отцом ни гугу. Ни я ему, ни он мне.

Вместе с Вальтером составили телеграмму:

— Перевалив за десятый миллион долларов, я и компаньон приветствуем тебя. Не желаешь ли работать совместно.

Неделя проходит, получаем ответ:

— Горжусь. Исключительные лесные комбинации на Ялу. Срочно приезжайте.

В третий раз пересекли мы Америку. Поехали уже в собственном вагоне. Была у меня мечта повидать в Сан-Франциско Бетти Хьюрард и посмотреть, как она живет. Увы! Прибыли в десять утра, а в одиннадцать отчаливает пароход на Иокагаму. Решили, что повидаемся на обратном пути. Случился этот обратный путь лишь через восемнадцать лет...

С этого дня моя жизнь теряет для вас интерес на много лет, потому ее магистрали вам известны. Наше лесное предприятие на Ялу, наше золотопромышленное о-во, наши концессии на Командорских островах, наша Северо-восточная пароходная компания, наша знаменитая узкоколейка; благодаря последней я смог наконец побывать в Европе, ибо заказ вагонов был сдан частью Круппу, частью Крезо. Но все это известно русским людям и во всем этом уже не так много поучительного. Передать вам секрет приобретательства я не могу при самом горячем желании. Такого секрета нет. Есть два совета Нахимова, есть изумительный "закус" Уинстона Вальтера. Чтоб не разрывалась нить рассказа из всего периода с 1896 до 1914, сообщу только, что к нам шли новые и новые миллионы, что Вальтер женился на бедной сибирячке, которая по вечерам пела арию Вани из "Жизни за Царя" и пленяла Вальтера своей простотой, что отец мой умер, оставив мне предприятий и бумаг миллионов на сорок, что мать моя умерла, оставив на моем попечении сестру — перезрелую девушку, посвятившую свою жизнь благотворительности и коллекционерству.

А я... я продолжал работать, делая вид, что обладаю каким-то изумительным секретом создавать, спаивать, выпрямлять... Не женился

я потому, что не встретил женщину, которая бы меня полюбила за меня самого. Любовниц имел множество — в Европе и в Америке, в Сибири и в Канаде — я старался в своих подарках не переходить роковой грани. Знаете ли вы эту грань? Сумма подарков достигает предела, после которого к лицу дарящему интерес пропадает и оно заменяется молодым любовником.

В свое время много говорили о моей благотворительности. Не думайте, что я такой добрый человек. Я просто ненавижу зрелище нищеты и нет тех денег, которых бы я не дал, чтоб устранить из моей жизни диссонанс. Вы знаете, обо мне говорят и пишут: "его скромность изумительна, он никогда не бывает в приютах и больницах, содержащихся на его средства"... Не бываю я там не из скромности, а из отвращения. А вдруг в лице ребенка или гримасе старика мне мелькнет грязь и мерзость беспощадного пауперизма? Я хорошо знаю, что бедные не прощают, да и не могут простить своим благодетелям. Поэтому я лично получаю удовольствие только от одного рода милостыни: от поддержки разоряющихся миллионеров. Не дайте обанкротиться пяти миллионерам, вы приобретете пять верных, умных, понимающих друзей и получите радость в стократ большую, чем от спасения десяти миллионов голодающих. Гостиница, где мы сейчас сидим, приобретена на мои деньги. В 1911 году, когда я снабжал вооружением турецкую армию, я встретил в Стамбульской бане молоденького армянина. Бойкость его смекалки, игра его ума меня заинтересовали и я дал ему сравнительно большую сумму для приобретения отеля. За десять лет он стал миллионером, скупив все отели Перы и на Босфоре. Когда я приезжаю, он не знает, как меня встретить, где меня усадить, и за радостную поволоку его восточных глаз я отдам все свои нью-йоркские приюты.

— Эфендим, — говорит он, с восторгом глядя на меня, — останься в нашем городе. Мы скупим всю Оттоманскую Империю. Эфендим, помни, кто хоть раз испил сладчайшей воды Бейкоса, не может не вернуться в Стамбул.

Рассказ мой подходит к роковым датам. Начало Мировой войны застало меня в Милане, куда я приехал для туризма, проделав четырехнедельный курс Карлсбадского лечения. 1 августа вспыхнула война, а числа пятого, когда я уже собирался уезжать в Нью-Йорк, получаю странную телеграмму от Вальтера:

— Скупай все имеющиеся в Европе запасы сахара и урожаи свекловицы на корню.

Не скажу, чтоб я много понял в вальтеровской телеграмме, но и на этот раз я не усомнился. Раз Вальтер хочет скупать сахар, значит, он прав. Через две недели получаю подробное письмо с описанием сахарной идеи. На основании точных вычислений Вальтер доказывает, что ко второму году войны в Европе начнется сахарный голод, особенно, если немецкое наступление нарушит правильную хозяйст-

венную жизнь русского Юго-Запада. Образованный Вальтером специальный консорциум уполномачивает меня оставаться в Европе и скупать, скупать, скупать...

В странном разрезе вспоминается мне война. Я переезжаю из города в город. В Лондонском Ritz, в Нью-Йоркском Plazza, в Парижском Crillon, в Петербургской Европейской, в холодных отелях чопорной Скандинавии, в роскошных палаццо притаившейся Италии я сижу в осточертевших аппартаментах и по двадцать четыре часа веду разговоры о сахаре. В промежутке двух бесед из газет или рассказов узнаю, что война (где-то идет война) входит в новый затяжной период, что Китченера утопили, а Бриана свалили, что в моей необъятной России недостаток хлеба, что в Америке банки задыхаются от обилия золота... И снова сахар, сахар, сахар... Готовый продукт, полуфабрикат, урожай на корню, контрольные пакеты сахарных предприятий... Первый год в моей душе роилось подозрение: а вдруг Вальтер ошибся? Но уже с начала 1916 года наши заработки достигли астрономических цифр: сахар дорожал ежедневно и, казалось, не будет конца ни нашим барышам, ни войне.

В конце 1915 года в Амстердаме на вечере у главы тамошнего сахарного синдиката меня познакомили с Мата Хари, жившей в те времена с принцем регентом. Целуя ее длинную узкую руку с накрашенными ногтями и слушая ее рассказы об Индии — венгерская еврейка, она выдавала себя за индуску — я менее всего думал, что имею дело с германской шпионкой и что в скором времени эта обольстительная женщина будет расстреляна в Венсенском лесу. А ведь был момент — вернее, целая неделя — когда она снилась мне по ночам и преследовала мое воображение в суматошный деловой день. Я уже начинал чувствовать, что страшная незнакомая болезнь постигла мое сердце, но в это время Мата Хари уехала в Париж... Я остался лицом к лицу с сахаром...

Окончание сахарной эпопеи вам известно. После смерти Вальтера, из привязанности к его памяти, я продолжал выполнять его предначертания и скупал сахар.

Сахарный крах, случившийся прошлой осенью, застал меня на вершине. Я обладал к октябрю 1920 бесчисленными стоками и контрактами на пять лет вперед. За месяц кризиса я потерял три четверти своего состояния. Потом наступила очередь краха транспортного, краха рисового, краха табачного.

Дела мои запутаны до сумасшествия. Если кризис в ближайшие месяцы не смягчится, я буду беднее, чем тогда, когда впервые в трюме японского парохода ехал в Сан-Франциско. Кроме потери состояния за невозвращенные банкам ссуды, я попаду в тюрьму. На моем месте другие, на иных дрожжах взращенные люди, прибегли бы к благодетельной помощи браунинга. Но я взял от жизни все. Я имел

лучших женщин, лучшие автомобили, самые дорогие удовольствия. Почему же я должен отказаться от прогулки по теневой стороне жизненного сада? Если придет нищета, если меня бросят в тюрьму или объявят злостным банкротом — я снова вспомню остров Гонолулу, тропическую весну, советы Нахимова. Поверьте, современный Каниферштан сумеет пережить и дугу падения. Жизнь прекрасна. Оглядываясь, я нахожу ее удачной, насыщенной изысканнейшим счастьем... Не торопитесь, не спешите рубить канаты. Попутные ветры смерти не пропустят своего часа. Посмотрите, сейчас ночь и какая тишина на Босфоре! Но не успеет побледнеть мой дорогой сибирский Арктур, от Коваки побежит серебряный след первого утреннего парохода. Многолетние занятия меняльным делом убедили меня не отчаиваться при baisse и не обольщаться при hausse... Секрет шанжера в быстроте оборота... Таково же искусство жизни...

Человек с одиннадцатью платиновыми коронками замолчал, вытянулся, закрыл глаза и короткими быстрыми пальцами стал перебирать четки.

— Ну а что же было с Бетти Хьюрард? — спросил я, чувствуя исключительное волнение не то от рассказа, не то от тишины Босфорской ночи.

— Бетти Хьюрард?

Он приоткрыл глаза, искоса посмотрел на меня и снова откинулся на спинку лонг-чеза.

— С Бетти Хьюрард получалось нескладно. В 1915 году я видел ее в продолжение пяти минут. При приезде в Нью-Йорк я разыскал ее через сан-франциских детективов и вызвал к себе в гостиницу. Она прислала письмо, назначавшее день и час. Я сидел в своем номере и старался восстановить ее образ. Высокая с чуть длинными стройными ногами, с пышной грудью, с тонким продолговатым лицом, с маисовыми волосами. Стук в дверь и в комнату вошла громадная туша в кружевной накидке и в косынке на жиденьких выцветших волосах, морщинистая, беззубая, густо набеленная. Это не было лицо, это была отвратительная маска, отражающая все пороки. Количество ее любовников, степень ее жадности, напряженное ожидание богатых прибылей от неожиданной встречи... Я пробормотал несколько невразумительных слов и под предлогом экстренного дела попросил ее придти завтра. Назавтра она получила короткое письмецо со вложением, а я уже мчался в Нью-Йорк.

... Еще долго мы сидели на террасе. Еще не раз из салона доносился бой стенных часов. Но разговор больше не клеился. Молча мы попрощались, он ушел спать; я дождался первого утреннего парохода и вернулся в Константинополь. В переулочке знакомый перс уже успел раздуть свой неугасимый самовар, я присел на низенький табурет, облокотился на стол и задремал под бульканье кипящей воды...

Я нищ, я жалок, дела мои презренны, пусть же не мой Бог, но Бог чистых, светлых, беспорочных согреет закатным солнцем остаток дней того ночного человека, как согрел благодатным волнением его рассказ мою увядшую душу...

X

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ И ЕДИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЮРИЯ БЫСТРИЦКОГО

Рассказом "человека с одиннадцатью платиновыми коронками" заканчиваются записки Юрия Быстрицкого, опубликованные мной со всей полнотой, несмотря на протесты издательской стыдливости. В драном саквояже, порадовавшем меня неожиданной находкой, оказалось, впрочем, и еще несколько сплошь исписанных листков почтовой бумаги. Но это уже не "записки"; это — клочки мыслей, сумбурных, безобразных, ярко болезненных; это, неизвестно для какой цели, выписанные цитаты из прочитанных книг, газет, афиш... Выясняется, что Юрий Быстрицкий в часы досугов любил высказываться даже на неожиданные для его душевного склада темы:

О модном танце шимми:

"Все эти дни обучался у здешнего danseur'а Адольфа. Путает он невероятно. Дело обстоит проще. В шимми только два па: 1) делайте вид, что вам нужно почесать спину без помощи рук, 2) делайте вид, что вам нужно подтянуть падающие брюки тоже без помощи рук"...

О будущем человечества:

"Через двести-триста лет, когда чума истребит всех моралистов и нытиков, жизнь, вне всякого сомнения, будет прекрасна. Пока что рекомендуется покупать доллары"...

Об искуплении грехов:

"Если убить многих, напакостить многим, разбазарить душу, опошлить сознание, но ежедневно, приходя домой, безутешно плакать в подушку... Индульгенция приобретена? Старик простил?"

О ростовщиках:

"Кричат — банкиры, банкиры, банкиры! А я в Азове на Дону знал одного священника, любимейшего ученика Тихона Задонского; старик святости необычайной, кротость, борода, на каждом шагу св. тексты, под рясой вериги, семьдесят два года... А мужичкам азовским ссужал деньги под проценты. Зимой пять процентов в месяц, летом шесть. Потому что — вздыхал святой старик — летом же — слава Господу Богу нашему — дни длинней"...

О восклицаниях, выражениях радости и печали:

"Много нагрешил, короче, скверный человек. Но одного не отдал, одним заслужил. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах я не мог понять существа различия меж "увы" и "ура". Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не кричал ни "увы", ни "ура". Так? Так. Не так? Не так. Прошлый год, в июне в церквах служили молебны о даровании дождя, в это же время владелец знаменитой скаковой лошади барон N.N. пламенно молился о продолжении засухи. Ибо дождь означает "тяжелую" скаковую дорожку и проигрыш большого приза. Была услышана молитва барона. "Увы" или "Ура"? Не знаю. Правильно или неправильно? Отвяжитесь!"...

Как жить?:

"В Италии судили молодого парнишку, вырезавшего семью из шести человек. Парнишка хорошенький, мечтательный, руки белые, пальцы тонкие: "Как вы могли совершить такое ужасное преступление?" — недоуменно спросил председатель суда. "Ах, господин председатель, — с чувством ответил парнишка, — для того, чтобы жить и понимать, надо иметь слегка жестокое сердце"...

О солидарности:

"Солидарность в добре не удалась, по крайней мере, для нашего эона это выяснено окончательно. И беловласый Леон Буржуа, и великолепный Павел Иванович Новгородцев, и конгрессы, собрания, постановления. Где уж тут. Соберутся приют открыть — сейчас же грызня, письма в редакцию, "выход из состава". Насмердели, поломали, расплевались! Но солидарность в зле, но это трогательное взаимное понимание таких далеких (географически) и таких близких (психологически) душ!.. Взламыватели касс, специалисты по акционированьям, интенданты, расшатыватели обществ и общественных моралей... Как быстро — одним поворотом зрачка — они понимали друг друга. И загоралась молния, соединяющая полюса. "И долго мне его паденья смешон и сладок был бы гул"...

О свете побеждающем:

"Борьба Денницы с Христом вырешится лишь после того, как последний муша уяснит и почувствует различие меж падшим ангелом и падающей звездой. И кто знает? Быть может станет так до смешного просто; дурачки ломали голову, писали, просыпались в поту, а оно давно: Un monstre gai vaut mieux qu'un sentimental ennuyeux. Вопрос единственно в количестве запасов земной веселости"...

О чудесах:

"Уж никому и ни на что не требуются чудеса крупные. Сдвигание гор, осушение морей, всеобщее счастье. От Бога моего требую

мелочи. Ну, там, чтоб к пятерке не прикупать шестерки, а получать двойку, тройку, чтоб в железнодорожном крушении мой вагон "чудом" спасся и пр. До двадцати восьми лет молился, не верил, но продолжал, "на всякий случай". Потом задумал: если сегодня проиграю, прекращаю молиться, — если Он не хочет соучаствовать в моей мелкой жизнишке, то и у меня ровно никакого интереса к Его величайшим проблемам. Проиграл и бросил"...

Мой идеал:

"Возможность законченного равнодушия ко всему, всегда. Красиво? Да, очень. Покупаете? Покупаю. Только имейте в виду, дорого очень! Не дороже денег. Или: Послушайте, он святой, его голыми руками не возьмете! Да, да, я знаю, но, однако, сколько или кому другому надо дать, чтоб на вашего святого воздействовать? Слушайте, вы пошляк, неужели и вы все продаете? Я, почти все, кроме одного, кроме моего презрения... А презрения ни за какую сумму не продадите? Такой суммы нет, хотя бы посулите меня богом сделать, и тогда не продам. Пока у меня возможность равнодушного презрения — я сам бог, вне равнодушного презрения нет бога — ни на земле, ни в небесах."

Образы жизни и завещание:

"Половинчатость, недосказанность, самообман, надорвавшиеся весельчаки, острящие самоубийцы. В кабинете, за письменным столом суета, подобающая маклерам, на бирже, в кофейне мечтательность, простительная поэтам. И только из двух образов жизни может выбирать настоящий человек. Или как Кант, просиди сиднем всю жизнь — и от сиденья твоего бесстрастного зашатаются материки. Или как делец с Уолл-стрита грабь, комбинируй, будь твердокаменен, обирай, взыскивай, и от активности твоей отольются новые кристальные человеки, ходячие силлогизмы с арифмометром в голове... Мне не удалось ни то, ни другое. В письмах Ив. Киреевского читал описание смерти весельчака поэта Языкова: собрал у одра домашних и с блестящими глазами стал расспрашивать, кто из них в бессмертие верит, а кто не верит. Вот оно — suffrage universel!... Воскресенье мертвых по... большинству голосов. Я завещаю самому себе накопить денег достаточно для сожжения моего трупа в крематории, потому что не страшного суда боюсь, а заживопогребения... Ногти обламывать о крышку гроба... Кругом вонища, черви, тухлая сырость... Бррр"...

Сбоку выписка из Розановского "Уединенного": "Ни один человек не достоин похвалы, каждый достоин жалости".

2

Таковы некоторые из мыслей Юрия Быстрицкого. Привожу их не потому, что считаю их ценными. Просто верю в то, что и они — эпо-

ха. Кроме того, так редко случалось мне беседовать с Юрием Быстрицким, что напрягая память, мало что нахожу прибавить к сказанному в предисловии.

Встретились мы в Константинополе, в одной из шашлычных Гран-Базара. Пока пергаментный изможденный старикан суетился у вертела — мы разговорились. Чуть ли не о последнем московском скаковом сезоне. Ругали Манташевых, плакали о Лазаревых. Потом перешли еще на что-то подобное, слезливое, безвозвратное, ненужное. Кончили тем, что порешили дешевизны ради поселиться в одном номере.

Совместная жизнь не доставила мне никаких неудовольствий: я уходил, он еще спал; я возвращался, его уже не было. Мои занятия носили характер дневной: "ловчить" по части визы и займа денег, Юрий Быстрицкий остался верен привычкам и ничем, кроме карт, не интересовался. От полуночи до рассвета в прокуренной ковровой комнатке, где-то в Харбие среди греческих шулеров и турок, терроризированных свирепостью английских бобби, он сидел бледный, серьезный, пристальный. Понтировал, метал банк, устраивал всевозможные пари. Однажды пошел я посмотреть на его работу. Не понравилось: уж чересчур профессионально. Различие образов жизни исключало возможность сколько-нибудь частых разговоров. Изредка, идучи под вечер по Галате, я встречал его на веранде какого-либо кафе. И, если не было возможности увильнуть, присаживался, и начиналась беседа. Увиливал же я от раздражения, вызываемого его пристрастием к резонерству какой-то особой складки. Пополам с кровью, с мышлением гражданской войны, с ароматом карточных клубов. Или скажет печально — презрительно:

— Жизнь моя тянулась на девятку, а получалась десятка, — или снова и снова о ненависти к России. Я отмалчивался, полагая, что если хочет человек пулю в лоб пускать, то нечего медлить и разыгрывать новейшего Ипполита.

Прожили мы таким образом месяца два. Мои дела принимали все более трагический оборот. Быстрицкого трудно было понять. Покупает чуть ли не ежедневно шелковое белье, тоскует о невозможности достать Герлэновскую помаду для губ, а подойдет срок уплаты за номер, отворачивается к стене и глухим злым голосом просит внести и его половину.

Числа пятнадцатого (а может быть, семнадцатого) сентября встал я, по обыкновению, в половине восьмого. Гляжу на кровать Быстрицкого: пусто. "Ого, думаю, заигрался парнишка. Ну, дело хозяйское. Хочешь, играй. Хочешь, в Босфор прыгай. За номер цена одна — и плачу-то фактически я один. Вечером прихожу. Быстрицкого снова нет. Спрашиваю хозяина: приходил мол якши эфендум камрад. Хо-

зяин цокнул губами, поднял глаза к потолку. Сие на языке восточного клоповника означает: нет. Снова утро и снова пуста кровать Быстрицкого. Только стучат в дверь и приносят письмо. Городское, штемпель вчерашнего числа. Вскрываю, гляжу на подпись. Крупным размашистым почерком: "Юрий Быстрицкий". Читаю.

"Надеюсь, что вы не слишком обеспокоены ни моим отсутствием, ни тем, что я вообще испаряюсь из Константинополя. Случались разные случаи. Бывает такое небо и все прочее. Оставляю вам в наследство саквояж. Шелкового белья в нем не найдете. Проиграно. Но порыться поройтесь. Есть кое-что на любителя. Венков не возлагайте, если даже в скором времени предприму свой далекий вояж; как мы установили совместно: человеческая жизнь не перец — ее везде достаточно.

Улетучиваясь, хочу вам напомнить строку Уайльда — единственную строку, кольнувшую меня во всех двенадцати томах маэстро церемоний. Ah happy they whose hearts can break... Еще раз жму руку, мечтая о зацветающем английском нагорьи... Очень жалею, что гигантские издержки лишают меня возможности принять участие в уплате за номер. Уж таким меня выдумали. Будьте счастливы и ничему никогда не удивляйтесь..."

Строку из Уайльда ставлю эпиграфом к запискам этого проклятого резонера.

Виктор Шкловский

СЮЖЕТ В СТИХАХ

(В. Маяковский и Б. Пастернак)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1914 году — 80 лет тому назад — вышли две первых книжки Виктора Шкловского — теоретическая "Воскрешение слова" и книга его собственной стихопрозы "Свинцовый жребий". Автор знаменитой "Теории прозы" (1925) начался с разговора о стихе и с личного опыта стихотворчества, чтобы потом как бы забыть о стихах и вернуться к литературному монологу о них в 1934 году в статье "Сюжет в стихах", которая предлагается сегодняшнему читателю.

Публикуемая статья свидетельствует о том, что взаимодействие стиха с прозой в начале века было столь остро, что Шкловский, продолжающий писать о прозе, вдруг обращается к стиховому материалу. Он глядит на него через кристалл прозы — через романный прозаический сюжет — и стиховую конструкцию одновременно.

Впрочем, конечно, не "вдруг". Ведь одна из первых его статей была о поэзии Маяковского ("Вышла книга Маяковского "Облако в штанах", 1915). Да и в других известных статьях 10-20-х годов то здесь, то там разбросаны беглые наблюдения, афористически точные комментарии к стихотворениям русских футуристов — и одновременно к текстам поэтов пушкинской поры.

Шкловский и его литературные, филологические единомышленники слышат резкие перепады поэзии и прозы. Видят умелые и неумелые швы на их пограничье, а не только робкие шорохи и звуки, замеченные уже Ин. Анненским, который, прислушиваясь к новым токам поэзии, писал в 1908 году: "Поэзия и проза вступают в таинственный союз".

В 1924-ом — появляется статья Юрия Тынянова "Промежуток", почти одновременно с его известной книгой "Проблема поэтического языка". "... Стих дает новое измерение слову. Новый стих — это новое зрение", — писал он, продолжая сквозную тему этой книги. Тынянов выстраивает статью как цепь творческих портретов Есенина, Ходасевича, Ахматовой, Маяковского, Сельвинского, Хлебникова, Пастернака, Мандельштама, Тихонова, Асеева, рассматривая современный поэтических цех на фоне "расцвета прозы" и - отчасти — в соотношении с нею.

Сюжет о "сюжете в стихах", безусловно, присутствует в тыняновском анализе, но он не вытолкнут на поверхность, а растворен в исследовательской "утвари".

Десять лет спустя — через временной "промежуток" — эта тема заявит о себе статьей Шкловского почти с теми же героями, но с другой раскадровкой: с Маяковским, Пастернаком — на первом плане — и Хлебниковым, Блоком, Асеевым, Кирсановым, Багрицким, Сельвинским — на втором. С широкой ретроспективой: русская литература 18-19 веков с вкраплениями отсылок к Флоберу и Дос Пассосу.

В течение десяти лет "сюжет в стихах" постепенно приближался к Шкловскому — через его переписку с Тыняновым, через страницы о Маяковском в книге "Поиски оптимизма" (1931).

"...я очень рад, что ты занялся стихом. Стих создает иммунитет, — пишет Шкловскому Юрий Тынянов на рубеже 1930 и 1931 годов, — это мыслимое пространство, континуум, на котором ждут любви, драки, дружбы, и если бы его не существовало, — приходилось бы больше, чаще и страшнее умирать. Смерть стиха (правда, всегда только на поверхности) указывает на то, что организмы перестают сопротивляться" (РГАЛИ, ф. 562).

Обращение Шкловского к стиху происходит снова одновременно с его обращением к Маяковскому. Только в 1915 году таким поводом был выход в свет "молодой" поэмы "Облако в штанах", а в 1934-ом (как и в 1931-ом) — смерть Маяковского.

"...мы виноваты перед ним. Тем, что не писали об его рифмах, не делали поэтического ветра, который держит на себе тонкую паутину полета поэта <...>" — писал Шкловский Тынянову и Эйхенбауму в апреле-мае 1930-го года, расширяя свое письмо куском прозы "От себя просто", вошедшим в книгу "Поиски оптимизма".

"СЮЖЕТА НЕТ ОТДЕЛЬНО" и "ФУТУРИЗМ ПРИШЕЛ С ТЕНДЕНЦИЕЙ РАЗРУШЕНИЯ СЮЖЕТА" — вот, пожалуй, два основных тезиса публикуемой статьи Шкловского.

Где кончаются стихи и начинаются сюжеты, написанные стихотворными размерами? — Шкловский задает вопросы — и снова на годы уходит от стиха читать прозу Толстого, Достоевского, Пушкина и писать о теории прозы.

Статья печатается по первопубликации в изд.: Поэтический сборник. М., Сов. литература, 1934. (Вариант статьи публиковался в газете "Литературный Ленинград", 1935, 20 октября). Библиографические ссылки и цитаты приведены в авторской редакции.

Ольга Панченко

"Я теперь пишу не роман, а роман в стихах, — дьявольская разница".

А. Пушкин

I

Форма, содержание. Ночная тревога. Как будто надо сеять, что ли, а погода дождливая.

Смотрел фотографии с рукописей Маяковского. Написано карандашом. Заготовки. Косо записано. То, что использовано — зачеркнуто.

Есть записи рифм: "Собачонку" и внизу написано "речонку".

"Как те" — "когтей".

У Пушкина есть строки: рифмы записаны и начало строки, а к рифме фраза еще не протянулась.

Когда еще не было Турксиба, через степи Казахстана шла дорога, обозначенная столбами телеграфа. Каждый столб, как в двух пальцах, был зажат в двух гранитных призмах.

Степь пустая, ковыль падает и встает.

Изредка только по дороге — маленькое блюдечко источника, утыканное кругом перьями.

Изредка ли? Видел раз.

Реки редки.

Семиречье, а семь не сосчитаешь.

Камня много, воды мало, реки текут с гор каменными мостовыми.

Реки рассучились, растрепались.

Дорога вьется между столбами и промокает местами солончаком.

На столбах орлы.

Орлы там сидят на столбах, как у нас на телеграфных проводах сидят похожие на ноты птички.

Там сесть негде. А с земли взлетать трудно, как книгу начинать. И летит орел за много верст к столбу в гости.

Асеев пишет, что он заготовил две тысячи рифм.

Две тысячи столбов — это много.

Сюжетны ли эти рифмы, поворачивают ли они мысль? Рифмы нужны, как стяжки здания для передачи напряжения с одного угла на другой.

При разборе стихов обычно разбирают их отдельно по звуку, отдельно по образу, отдельно по ритму.

Отдельно говорят о тематике. Очень мало говорят о композиции стиха, о том, что соответствует в стихах прозаическому сюжету.

Посмотрите, как у Пушкина сложны и инверсивны сюжетные построения в прозе. Вспомните хотя бы "Метель" или "Выстрел".

Посмотрите, как прост сюжет "Евгения Онегина" и как сложна смысловая конструкция онегинской строфы.

Ритм связан, он создается словосочетанием фраз, ее интонацией.

Греч называл Пушкина автором поэтической фразы.

Выбор ритма предопределяет слова, ямбические стихи, вероятно, стихи с наименьшим уклонением от обычного прозаического словаря. В то же время исторически очень часто это стихи из слов, в поэзии обычных.

Ямб устал. Обновления его случайны.

Маяковский приводил в качестве примера ямба фразу из объявления на бульваре:

"Оркестр музыки играет по вторникам и четвергам".

Стих Маяковского построен на фразе, а не на строфе. Маяковский поэтому толок строку разбивкой. Рифму нельзя разбирать вне строфики.

Строфа Пушкина в "Евгении Онегине" организована на том, что две последние строки, связанные рифмой, смысловым образом разрешают всю строфу, причем у этих двух строк несколько сниженный словарь.

Вот несколько пар строк, взятые подряд из первой главы. Это строки развязки:

Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?

Там некогда гулял и я;
Но вреден север для меня.

Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

И возбуждал улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

Если говорить о словаре рифм Пушкина, то нужно было бы говорить о словаре, систематизированном по разным жанрам, потому что

в разных системах пушкинских стихотворений рифмы играют разную роль.

Пушнин так описал рождение рифмы:

Эхо, бессонная нимфа скиталась по брегу Пенея.
Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога:
Меж говорливых наяд, мучась, она родила
Милую дочь. Ее приняла сама Мнемозина.
Резкая дева росла в хоре богинь Аонид,
Матери чуткой подобие, послушна памяти строгой,
Музам мила; на земле Рифмой зовется она.

Здесь самое живое место, самое принципиальное — это слово "послушна памяти строгой".

Для Пушкина значение мифологических цитат было точное, он пользовался ими, как знаками "условны", "собраны", "точно известны" — читатели семантики.

Мнемозина — титанка, мать муз, была богиней наименования, мысли и воспоминания.

Рифма здесь точно связана с памятью, с воспоминанием, здесь подчеркнута возвращающаяся сила рифмы, ее способность вызывать, возвращать строку, с которой она связана созвучием.

Отношение поэта к рифме Пушкина интересовало. У него есть еще рифма о рифмах, о сопротивлении рифмы:

Он спорил с рифмой,
Но с тобой же расставался,
Сколько раз повиновался
Резвым прихотям твоим,
Как любовник добродушный,
Снисходительно послушный,
Был я мучим и любим.

Пушкин уже видел мертвую зыбь русского стиха.

Мысль о Радищеве восстанавливает для него старый нерешенный вопрос о Тредьяковском.

Пушкин цитирует Радищева:

"Но не один Ломоносов и Сумароков составили российское стихосложение. Неутомимый возовик Тредиаковский немало к тому способствовал своею Телемахидою. Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, примеры в добром и худом стихосложени глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выроют из поросшей мхом забвения могилы. Теле-

махиде найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы" ("Мысли на дороге", сочинения и письма А.С. Пушкина, изд. "Просвещение", СПБ, т. VI, стр. 350).

Тредьяковский много раз восстанавливался в русской литературе как неиспользованная возможность и обычно как писатель радикальный, так защищали его первые русские журналы. О нем в альманахе "Картины света" в 1836 году Вельтман писал голосом современника. Эта статья забыта начисто. Вельтман называл Тредьяковского вторым Колумбом, имя которого заглушил более счастливый Америго Веспуций:

"Тредиаковский, как судьба юного русского языка, нового Телемака, влек его на остров Калипсы. Юноша, наученный уже к комплиментам из прикладов, вышел на берег и произнес:

О, колико ты красна лица красотою,
Света белость ничего в сравненьи с тою,
А на щечках ямки две, и они отверсты,
Плут Купидо в них сидит, сложа нежно персты.
Улыбнется, молчит и грозно глаголет:
О, колико ты красна лица красотою!

Гречанка гордо встретила его словами:

Ты с чего, рекла, воспринял толикую дерзость,
Что к моему привалил так острову, вышел на сей же?

Но, узнав, что он новый Телемак, сын нового Улисса, с которым она издавна была уже в кровном союзе и которому в вечную память дала ожерелье из нанизанных сорока четырех букв, Калипса полюбила Телемака, и Телемак пленился Калипсою; но вдруг явился, как божич любви, Александр Петрович Сумароков, тайно внушил в него страсть к молоденькой нимфе Эвхарите, — началась ревность, началась трагедия. Профессор химии, Михаил Васильевич Ломоносов, предназначенный провидением быть ментором, видя несчастье, грозящее юному языку, стал увещать его:

О, беги, Телемах, от нимф, беги, мой любезный,
Больше ж беги в грунь от паренька сего не позванна
(т.е. от божича любви).
Речи сей отвещал Телемах воздыханием токмо.

Видя, что речи мало помогают, ментор охватил его поперек и с высокой скалы Пиимы сбросил его в Оду.

Ода, как вода, первоначальная стихия (по мнению некоторых философов), приличествует более всего младенчеству словесности.

Таким образом Тредьяковский, воображая, что русский язык и русские понятия уже не дети, предложил им целый европейский обед,

тогда как нужно было дать просто молочной кашки, что и сделал Ломоносов, вполне современный.

Язык, внезапно сбросивший формы XVIII столетия, и техническое правописание более всего повредили Тредьяковскому. Сам виноват: для чего щекотать русский слух беззвучным эллинизмом, когда он привык, чтобы слово стучало в барабан" ("Картины света", М. 1836, стр. 248-249).

"Мысли на дороге" Пушкина, в которых он цитирует Радищева, и статья Вельтмана появились с промежутком в один год.

Тревога об ограниченности русского стиха, тревога по ограничитель ямба явились одновременно с тревогой об ограничении роли рифмы.

В той же статье Пушкин говорит:

"Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение... Он первый писал у нас древними лирическими размерами. Стихи его лучше его прозы... Обращаюсь к русскому стихосложению. Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собой камень. Из-за чувства выглядывает непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудной и чудной, верной и лицемерной и проч.?" (там же, стр. 352).

Тут видна настороженность Пушкина, ощущение ограничительной роли уже создающихся словесных штампов.

Почти через сто лет другой поэт — Хлебников — писал:

"Строчка есть ходьба или пляска входящего в одни двери и выходящего в другие.

Итак строгий размер есть немая пляска, но свобода от него (не искусственная, а невольная) есть уже язык, чувство, одаренное словом".[1]

Революция стиха, предсказанная Пушкиным, здесь уже совершилась.

II

Стихи Александра Блока в своем происхождении связаны не только со стихами Полонского и с золотым веком русского стиха, но и с шуточными стихами Владимира Соловьева.

"Незнакомка" — юмористическое стихотворение с бытовыми подробностями. Это Озерки, дачная местность под тогдашним Петербургом.

Мне кажется, что и послана "Незнакомка" была сперва в юмористический журнал.

Поэма "Двенадцать" в своем отличии от остального творчества Блока связана, между прочим, и с куплетным стихом.

Куплетистов специально слушал Блок в тогдашних кинематографах.

Блок спустился к этим кинематографам так, как козы сходят с гор к солончакам.

Понадобилась соль для использовавия, для освоения новой темы.

Новую тему Блок брал через старый материал, перескакивая, переосмысливая его, переводя в записи 7 января на другую терминологию:

"Дурак Симон с отвисшей губой удит. Разговор про то, как всякую рыбу поймать (как окуня, как налима).

Входит Иисус (не мужчина, не женщина).

Грешный Иисус.

Красавица Магдалина.

Фома (Неверный) — "контролирует". Пришлось уверовать — заставили — и надули... Вложил персты — и стал распространителем: а распространять заставили — инквизицию, папство, икающих попов, учредилки.

Андрей (Первозданный) — слоняется (не сидится на месте): был в России (искал необыкновенного).

Апостолы воровали для Иисуса (вишни, пшеницу).

Их стыдили" ("Дневник" Ал. Блока, 1917-1921 гг., Л., 1928 г., стр. 95).

Блок брал новое через аналогии, через переосмысливание.

Кинематографы сидели без новых фильм. В них поэтому разговаривали куплетисты озлобленно и злободневно.

Первоначально сюжет "Двенадцати", вероятно, должен был идти по аналогиям.

Но тема переросла, отросла в сторону, налилась реальными деталями, затянулась плакатом Учредительного собрания, старухой.

"Двенадцать" и женщина среди них оказались оттесненными, и Христос в белом венчике из роз оказался не концом вещи, а ненужной ее разгадкой.

Сказ, изменение тона лексики "Двенадцати" — это сюжетный прием, способ соединения, перемещения планов. И с этой точки зрения, прав Флобер, который говорил, что сюжета нет.

"...нет ни возвышенных, ни низких сюжетов, и можно почти как аксиому установить, с точки зрения чистого искусства, что сюжета совсем нет, так как стиль сам по себе является абсолютной манерой видеть вещи".[2]

Сюжета нет отдельно.

Идя от аналогии, Блок понял много. Христос остался у него в самом конце. Многие спрашивали об этом конце. Блок отвечал всегда очень тихо (он говорил без интонаций): "Чем больше я вглядываюсь, тем больше вижу, что именно Христос, никак нельзя иначе".

Я, кажется, испортил конец его фразы. А в записных книжках от 29 января 1918 года сохранилась такая запись:

"Двенадцать" — отделал, интервалы...

Люба сочинила строчку: "Шоколад миньон жрала" вместо ею же уничтоженной: "Юбкой улицу мела".

Что Христос идет перед ними — несомненно.

Дело не в том "достойны ли они его", а страшно то, что опять он с ними и другого пока нет; а надо другого?

Я как-то измучен. Или рожаю, или устал" ("Записные книжки" Ал. Блока, Л., 1330, стр.199).

Рожать было тяжело. Блок сложно отслаивался от старой темы, перескакивая и переосмысливая ее.

Вот цитата:

"Нагорная проповедь-митинг.

Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули. Правда того, что они улизнули (больше ничего и не надо, остальное — судебная комедия).

Большая правда: кто-то остался.

У Иуды — лоб, нос и перья бороды, как у... Жулик (т.н. великая нежность в душе, великая требовательность).

"Симон" ссорился с мещанами, обывателями и односельчанами. Уходит к Иисусу. Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то поругались и не поладили; бубнят что-то, разговоры недовольных). Между ними — Иисус, задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет.

Тут-то проститутки" ("Дневник" А. Блока, 1917-1921 гг., Л., 1928, стр. 95-96).

Тут можно узнать петербургскую улицу, беспорядочный митинг на углу улицы, потерянный край города, край революции.

Тема ушла, и так широко развернутая Блоком аналогия осталась в последней строке.

На правах работы по психологии творчества, по генетике произведения. Именно здесь недоумевали люди.

Блок сам "Двенадцати" никогда не читал.

Он не мог отрезать конца, уйти от аналогии.

III

Для Маяковского вопрос об образе и организации звуковой стороны стиха вытеснял вопрос о сюжете стихотворения.

Звуковая сторона бралась как смысловая, увеличивалось значение рифмы, неожиданной и всегда смысловой. Это было могущественным средством столкновения смысла.

Многосложность рифмы позволяла вводить в нее целый смысловой комплекс.

Работу с образом очень интересно можно проследить в сценариях Маяковского, где она изолирована от звука.

Сюжет сценария вытеснен почти нацело. Можно говорить не о развязке, а только о заключительной сцене, вся вещь проведена на последовательной реализации метафоры.

Выражение "крылья любви" развертывается в целую сцену, связанную с выражением "цветы любви".

Кусок, который я сейчас приведу, взят из сценария Маяковского "Как поживаете", впоследствии сценарий стал материалом пьесы Маяковского, но в сценарии материал был законченный.

"...32. Молодой человек спешит за девушкой. Смотрит на девушку, нагоняет.

33. Да я же с вами и говорить не буду, только два слова.

34. Девушка отстраняется, оборачивает несколько раз голову, отрицательно покачивает, наконец, вступает в разговор.

35. Да я с вами и идти не буду, только два шага.

36. Делает шаг рядом, затем берет подруку, и идут вместе.

37. Человек на ходу срывает с мостовой неизвестным путем выросший цветок.

38. Человек перед воротами своего дома.

39. Да вы ко мне и не зайдете, только на одну минуту.

40. Вокруг зима, и только перед самым домом цветущий садик, деревья с птицами, фасад дома целиком оброзен. Сидящий на лавочке дворник в рубахе стирает катящийся пот.

41. На крыльях любви.

42. У девушки и у человека появляются простые аэропланные крылья.

43. Девушка и человек вспархивают по лестнице.

44. Каждая вещь в грязной комнате зацветает. На чернильнице появляются лилии, обои простого рисунка на глазах становятся рисунком-розочкой. Простая лампа становится люстрой и т.д.

45. Человек наливает из графина воду.

46. Да мы и пить не будем. Только один стакан.

47. Пьет.

48. Какая у вас крепкая вода.

49. Да мы и целоваться не будем, только один раз.

50. Тянутся губами друг к другу.

51. Фасад дома. Цветы с фасада обрываются, на улице снег. Дворник облипает в полушубок. Медленно обваленковалась нога.

52. Комната, пришедшая в норму обычного грязного вида.

53. Из подъезда выходят. На нем ботинки, у нее стоптанные каблуки. Сложенные крылья подмышками. Скользят, зевают.

54. Пройдя несколько шагов, человек достает часы. Двадцать две минуты десятого. Стрелки в разные стороны. Человек показывает девушке указательную стрелку. Прощаются. Расходятся в противоположные".

Здесь удача, потому что здесь есть ирония и условность приема работы, но часто такие реализации остаются плакатами и отрывками плаката, они не используются потом. Для примера приведу сцену из "Мистерии Буфф":

"К у з н е ц. Идите же!

Работы не было наваленней.

Никогда сильнее не требовалось починок.

Собственные груди ставьте на наковальни.

— Эй, кто для почина?

Б а т р а к. Мне надо новые поставить подковы.

П л о т н и к. Руку поправьте — не очень узловата.

Р ы б а к. Мне надо на грудь чего-нибудь такого.

Ф о н а р щ и к. Ноги подделайте, а то вата.

Подходят один за другим, работает кузнец. Стальные и выправленные идут от горна, рассаживаются по палубе. Утро. Холодно и голодно".

Это не сделано, как плакат, а просто плакат.

"Перековка" дана прямым показом. И так как показ осуществляет все, то исчезает возможность образности, возможность обновления смысла.

И дальше в драме или мистерии перекованные люди не изменяются.

Маяковский не знал этой тайны.

У него герой двигался обычно хронологически, так — умирал и воскресал.

Это странная настойчивость темы. Она есть в "Облаке в штанах", в "Человеке". Рай и ад дают ее в "Мистерии", она же в "Клопе" и в "Бане", она же осложнена машиной времени.

Сюжетно и ритмически сложно построенная "Сто пятьдесят миллионов" в эпизоде "Иван Вильсон" напоминает такой примитив, как стихотворение "В шапке золота литого старый русский великан поджидал к себе другого из далеких чуждых стран".[3]

Маяковский не скрывал того, что замаскировано у Мейерхольда, Эйзенштейна, Олеши и многих молодых.[4]

IV

Повторение форм, возвращение эпох — явление сложное.

Явления, как будто те же, возвращаются, имея совершенно иную смысловую нагрузку и будучи конструктивно иными.

Можно сказать даже, что если два явления через много веков или через несколько лет совершенно совпали, то, значит, они конструктивно различны.

Художественное впечатление такой формально подобной вещи может быть вызвано другими частями произведения.

История художественного произведения едина.

"Форма, становясь более искусной, уточняется, она отходит от литургийности, правил старых размеров, бросает эпос ради романа, стих ради прозы; она не признает ортодоксальности, она свободна, как всякая воля, которая ее производит. Такое освобождение от материальности мы видим повсюду, начиная от восточных деспотов и кончая будущими социализмами" (Гюстав Флобер, "Письма", М.-Л., 1933, стр. 231).

Так писал Флобер.

Сюжет как будто трудно входит в один ряд со строфикой и с рифмой.

Сюжетом в пределах данной книги мы называем композицию, основанную на передаче определенной судьбы героя (фабуле), определенного происшествия, а также на противопоставлении этого происшествия другому.

Так в XVIII веке говорили "повесть этого романа такая-то".

Мы уже говорили, всматриваясь в сущность сюжета, что благодаря сюжетоведению в пределах одного произведения изменяется отношение к герою, переосмысливается герой.

Маша Миронова робка, но может пойти в Петербург, если нужно спасти жизнь жениха и его честь.

Гринев ограничен, но он герой.

Сюжет изменяет отношение к герою. Определенные сюжетные схемы, годные для такого передвижения героя, задерживаются в литературе, становятся традиционными.

В некоторых художественных произведениях как будто художественный интерес состоит в гротескности предмета. Очень часто это дано с документацией.

Мы встречаем это в романе ужасов, например, у Матюрена. Но и здесь обычно мы встречаем в конце ироническое переосмысливание значения.

Форма — это замок построения предмета, т.е. мы, разбирая форму произведения, должны анализировать само произведение.[5]

При всех переключениях смысла, т.е. при всем том, что отдельные произведения, формально одинаковые, могут иметь равные значения, при всем том есть как будто пределы переключения.

Для некоторых отраслей искусства, для некоторых жанров их невсегдашность ясна.

Ясно, например, что инструментальная музыка была не всегда или что не всегда было кино.

Не всегда была опера и не всегда будет.

В слове "оперность" ощущается ограниченность оперной конструкции, замкнутость ее тематики.

Об этой ограниченности писал Глинка.

Не согласен с этим был Фаддей Булгарин. Он говорил:

"В музыке не может быть новой стихии. В ней невозможно открыть ничего нового. Все существует. Берите, пользуйтесь".

Один современный молодой поэт не учел опыта Глинки и написал оперу "Вышки Октября", в которой на сцену выходил хор вредителей.

Опера не выдержала ни одного представления, и я ее не видел и не знаю, какими голосами пели вредители. Впечатление было отрицательное, опера сломалась под новой нагрузкой. Это не обозначает, что нужно постоянно играть "Лебединое озеро", но это означает, что не из всего можно делать балеты и оперы.

Определенное построение представляет собою единственный пример пересечения социальных сил.

Но они пересекаются, действуя друг на друга через прежде существующее искусство, прежде существующее слово.

Они изменяются не эволюционно, а революционно. Происходит мутация.

Слова изменяются иначе, чем понятия.

Футуризм, войдя в революцию, пришел с тенденцией разрушения сюжета.

Пришел монологичным.

Монологична была первая драма Маяковского.

Футуризм пришел, сделал установку на выражение, на образ. Футуристы перестроили стих. Перестроили качественность слова в стихе.

У Пушкина слога подсчитаны, они не могут пропасть, они, так сказать, равноусилены.

Те части фразы, которые сняты в обыденной речи, восстановлены подсчетом слогов.

Стих Хлебникова, Маяковского прежде всего менее монотонен, чем пушкинский стих. В нем больше размаха интонации, больше усиленных и отведенных мест.

Но Хлебников поэт не только не сюжетный, но и не строфический. Он строил крупные произведения, сводя куски. Это было законом школы. Трудность разбора хлебниковских рукописей — это трудность нахождения и невозможность нахождения одного куска в разных контекстах.

Маяковский, создавая длинные, многостиховые произведения, не придавал им сюжетного построения. У него есть странные вещи, как "Пятый интернационал", когда целая поэма должна держаться на невероятном образе людо-гуся:

Я дней не считал,
и считать на что вам!
Отмечу лишь:
сквозь еловую хвою

года, отшумевши с лесом мачтовым,
лес перерос и восстал головой.

Какой я к этому времени —
даже определить не берусь.
Человек не человек.
а так —
людо-гусь.

Этот людо-гусь с жирафьей шеей по своей графической выразительности казался поэту новой возможностью организовать все произведение.

В лучших поэмах Маяковского сюжетное построение заменялось двухпланностью отношения поэта, резкими переходами от высокого стиля к нарочно сниженному словарю.

Эта двойственность, такая ясная в "Облаке в штанах" и в "Про это", сейчас выпала из традиции школы.

Стихи младшего из футуристов, Семена Кирсанова, не имеют этого двойного отношения, однолинейны и не переключают материала.

Кирсанов идет вдоль темы. Эту опасность... Маяковский старался ее избегать.

Кирсанов зарифмовывал пятилетку, и не изменяя системы жизнеотношения стихотворения. Он создает пятилетку без трудностей.

Заменой сюжета для Кирсанова является тема, например, историческая тема, фонетически орнаментированная. Эти поэмы не имеют конструкции, не имеют разрешения и конца.

V

Обычный сюжет, основанный на судьбе героя, не является основой организации произведений Пастернака.

Не является даже основой организации его поэм.

Гудящий, как будто бы ошибочно ставящий слова, как будто сбивающийся с ноги в бегу, Пастернак и в большой вещи "Спекторский" шел тем же путем. У "Спекторского" есть эпиграф: "Были здесь ворота".

Пушкин — "Медный всадник".

Но "Медного всадника" не получилось.

Воля Петра, поставившего город на низком берегу Невы потому, что так нужно было, воля его смыла дом Параши.

Спекторский после революции и случайной задержки пришел к той, которую он любил:

Скорей, скорей! Его приезд в секрете.
А вдруг, а вдруг? О, что он натворил!
Тем и скорей через ступень на третью
Подметками по плитам без перил.

Клозеты, стружки, взрывы перебранки,
Рубанки, сурик, сальная пенька.
Пора б уж вон из войлока и дранки,
Но где же дверь? Назад из тупика!

Да полно, все ль еще он в коридоре!
Да нет, — тут кухня. Печь, водопровод!
Ведь он у ней, и всюду пыль и море
Снесенных стен и брошенных работ.
("Спекторский", М.-Л., 1931, стр. 49).

Но структура поэмы не осуществляется, хотя как будто бы каждая строка высока.

Евгений не говорит... роком, голос поднят, а слова нет. А если нет разговора, то не нужна поэма.

И вот большой Пастернак решает вещь внутри ее самой, боковым способом, способом родства, которое ничего не решает. Возвращается случайно другая девушка, которую он когда-то видал, она в кожаной куртке, с револьвером. У нее муж или любовник.

И дальше идет опрометчиво бегущий, невнятный сбивающийся разговор:

...А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки
Сказал без слов: "Мой друг, как ты плюгав!"

Присутствие мое их не смутило.
Я заперся, но мой дверной засов
Лишь удесятерил слепую силу
Друг друга обгонявших голосов.

Был разговор о свинстве мнимых сфинксов,
О принципах и принцах, но весом
Был только темный призвук материнства —
В презреньи, в ласке, в жалости — во всем.

"Вы вспомнили рождественских застольцев?.."
Изламываясь радугой стыда,
Гремел вопрос. Затем — "Я дочь народовольцев.
Вы этого не поняли тогда?"

Читатель этого не понял, конечно. Если это было так, то значит Параша сама в той сфере, которая смыла ее дом.

Этот способ разговаривать с бурей не тот способ, на котором делается сюжет.

Но стихи Пастернака сюжетно организованы. Они организованы системой образов.

В книге "Второе рождение", изданной в 1932 году, Пастернак дает характеристику своей манеры работать.

Сейчас это уже воспоминания.

Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Образы у Пастернака переходили в образы, и их переосмысливание было стихотворным сюжетом произведения.

Так у Николая Асеева строка двигалась созвучием соседнего слова, несущего новый смысл.

У Пастернака разрывы смыслов давались и фонетически и зрительным совпадением.

Провалы переключений преодолевались ритмическим взмахом стихотворения.

Обозначения предметов были точны, когда Пастернак писал "у капель — тяжесть запонок". Тут взята и форма и вес - равновесие капли.

Образы не разнообразны, но чрезвычайно точны.

Слова вертелись, переключая и переигрывая свою роль.

Процитирую стихотворение:

Не трогать.
Не трогать, свежевыкрашен, —
Душа не береглась,
И память — в пятнах икр и щек
И рук, и губ, и глаз.
Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
С тобой — белей белил.
И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

Образ, точно названный и переключенный, становился у Пастернака сюжетом.

Я сознательно цитирую здесь лучшие места Пастернака и, может быть, слабейшие вещи Маяковского.

У позднего Пастернака образ стал описательным и определяет одно место. Композиция удовлетворяется параллелизмом:

Передо мною волны моря.
Их много. Им немыслим счет.
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой как вафли их печет.
Весь берег как скотом исшмыган.
Их тьма! Их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лег за горкой на живот.

Образ возвращается обычным сравнением:

Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.

Образ возвращается нарочито банально, так же, как сознательно просты здесь рифмы.

Пастернаку нужна сейчас простота. Он говорит о времени:

Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,
Но значу только то, что трачу,
И трачу все, что знаю я.

Пастернак тратит сейчас меньше, чем он знает, упрощая свой путь, обедняя обычный образ, цитируя себя и других упрощенно.

Семен Кирсанов, юнга капитана Маяковского, не знал труда править.

Он работал с легким фонетическим стихом, на легкой условной тематике.

Он писал стихи с вертящимися словами, которые возвращаются с таким звуковым подобием, что их уже не различаешь.

Уже в таких стихах, как "Турксиб", видно, что под эту манеру нельзя подвести новой тематики.

Так говорили либреттисты.

Они не писали слов для оперы, а подводили слова.

Нестор Кукольник собирал слова для музыки Глинки. Написал он стихи заумные или, как сам он их называл, "английские".

"Я написал их с тем, чтобы по возвращении Ширкова они были заменены стихами со смыслом, но этого не последовало, и теперь гуляют английские" (Записки М.И. Глинки).[6]

Но тематика, которую берет Кирсанов, нагружена, слова, взятые так, как он их берет, от нее отслаиваются.

Наступил день десятилетия проверки творческого баланса и квалификации.

Тут не поможет наследство, потому что нужно иметь руки, могущие принять и переделать.

Сегодняшние затруднения писателя не случайны. Они зависят от реконструкции искусства. Это высокая болезнь.

VI

О новой форме художественных произведений (как сообщает в своих записках А.Б. Гольденвейзер) Толстой говорил еще летом 1902 г. (28 июля): "Я думаю, — сказал он, — что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных

произведений может быть так бесконечно разнообразно, то таковой бы должна быть и их форма".[7]

"Фальшивый купон" имел много черновиков.

Особенность его сюжета состоит в том, что в рассказе люди связаны между собой, но не знают об этом.

Сюжетная связь осуществляется для читателя, но не для них.

Лев Николаевич колебался — возможна ли такая связь. В одном из черновиков она была поддержана странным способом. Грех в виде черта перелезал с плеча одного действующего лица на плечи другого. Черт рос и толстел.

В окончательном варианте Л.Н. от этого отказался.

Каково то содержание, которое стремился передать Толстой в это время?

"Учение Толстого безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов"* (Ленин, т. XX, стр. 174).[8]

"Купон" у Толстого не случайно основное зло.

"Критика Толстого потому отличается такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием и стремлением "дойти до корня", найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только-что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских "хитровцев" и т.д." (Ленин, т. XX, стр. 323).[9]

Для выражения этого отчаяния и протеста миллионов крестьян форма семейного романа не очень годилась.

В "Фальшивом купоне" мы имеем попытку иного метода высказывания.

Юрий Олеша в разговоре сказал мне, что, вероятно, Дос Пассос хорошо читал "Фальшивый купон".

Советская литература не идет ни от Дос-Пассоса, ни от "Фальшивого купона", но в ней с еще большей силой и с иной силой решается вопрос о методах выражения человеческих отношений вне узких рамок старого романа и старой поэмы.

Багрицкий много сделал в советском стихе. У него лучшие стихи сюжетные. Он избег суживающей монологичности. В "Думе об Опанасе" сюжетные отношения, сюжетные стыки осуществлены без искусственного заключения традиционных семейных ситуаций.

---

*Шкловский цит. Ленина по II изд. собр. соч. (М.-Л., 1926-1932)

Дан мельком комиссар Коган в рассказе Опанаса. Потом мы слышим его:

В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает:
— Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона.
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы?..

Убивает Опанас Когана. Взяли Опанаса в плен. Допрашивает его штабной:

Предлагает папиросу.
Зажигает спичку:
— Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною.
Долго ль вы шатались вместе
С Нестером Махною?
Отвечайте без обмана,
Не испуга ради, —
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде?
Отвечайте, но не сразу,
А подумав малость, —
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?..

В манере говорить, включенной в стихотворную интонацию и ее определяющей, в манере мыслить: "штабной" — это Коган и ему, как Когану, отвечает Опанас — винится перед ним, как перед Коганом.

Тут есть находка: сюжет ведется не повторением человека, не случайной встречей с тем же самым (сколько было этих встреч), а ощущением одинаковости людей, одинаковости думающих.

Эдуард Багрицкий написал "Думу про Опанаса" - либретто оперы.

"Дума", когда она не была оперой, двигалась внутренними силами, ее форма была "законом построения произведения". Это была дума про человека и про изменение его жизнеотношения.

Багрицкий впал в оперу.

Он ввел двух женщин — невесту Опанаса с украинской песней и Раису Николаевну, представляющую романтику.

Раиса Николаевна не человек, а голос, не роль, а ария.

Опанас перестал колебаться. Укротился.

VII

Сельвинский решил вопрос о сюжете в стихах тем, что просто включал в поэму прозаический материал вне учета его специфичности.

Он раздвинул даже счетные рамки поэмы.

Но перед ним не вставали вопросы о композиционном значении частей произведения, он не строил поэму, а все время ее обогащал.

Например, анархист Штейн говорит. Его речь классифицирует Гай. Штейн разговаривает, он начинает с шуток:

Ого, очевидно скоро весна,
Если даже распускаются почки в мадере.

Эта фраза в возможностях Штейна.

Возможна для него и болтовня про Вийона, но дальше идет уже спор конструктивиста, и спорит мастер:

А мы? Что у нас? Беспризорный Есенин,
Где "вяз присел пред костром зари",
Да ведь это же Япония, как я говорил:

Огромный закат да под лиственной сенью...
Вы скажете — случайность. Но нет — я берусь
Доказать, что Пегас без хлыста обнаглел.
Например: "Сторожит голубую Русь
Черный клен на одной ноге".

— А где же другая? Утолите мои нервы.
Или от этой ловкости надевать мне панцырь?
Вы себе представили всю грациозность дерева,
Которое балетно стоит на пуанте.

"Видите ли, Штейн, я не так закален,
Но вы-то как сказали бы — любопытно право"
— Мастер бы сказал — "одноногий клен"
И разом вогнал бы образ в оправу".

Это говорит не Штейн, это сказано методом Ильи Сельвинского и его ртом.

Второстепенный и отрицательный герой овладевает стилистическим ключом произведения.

И вообще образы Сельвинского размещаются, расквартировываются без учета, переосмысливая помещение, куда они попадают.

Сам Улялаев определен так:

Улялаев був такий: выверчено вико,
Дирка в пидбородце тай в ухе серга.
Зроду нэ бачено такого человика,
Як той батько Улялаев Серга.

Сделан человек хорошо и сделан совершенно отдельно, мечен всеми приметами.

Но вот Серга над женщиной. Она описана его видением:

Шелковые солнца золотистых чулок
На статных ножках, бабочки подвязок.
Молочно-голубой воздух панталон,
Где переливается лунная сорочка,
Где тело лучится...

Эта несколько парикмахерская утонченность никак с Улялаевым не связана.

Она просто вселена в роман.

Несмотря на фабульную сложность, Сельвинский смысловую композицию произведения, изменение систем жизнеотношения — сюжет — в своих произведениях не строил.

Подымался к этому вопросу Багрицкий, но в стадии написания либретто от этой задачи ушел.

Он вселился со своим Опанасом на пыльный, покатый, под поле расписанный пол оперы.

И познакомил Опанаса с контральто и сопрано.

Осип Брик, долго теоретически занимавшийся стихом, долго теоретически занимавшийся вопросами сюжета в опере "Камаринский мужик", обнаружил ошибки школы. Бессознательно леф отказывался от сюжета в произведении, разрешал вещи тактически, а не стратегически.

Брик вводит в оперу сложный квалифицированный стих.

Тема, которая у него в руках, это тема "Камаринского мужика".

Когда-то я принес ее в Межрабпом к Брику на литотдельский стол. Сущность, коллизия этой темы такая:

Камаринцы — это крестьяне, бедняки, которые разгромили имение помещиков и забрали у них женок. Этим объясняется обидность песни Камаринской. Недаром дворянин Фома Опискин у Достоевского наказывает мальчишку, который во сне увидал камаринского мужика.

Боярышня и холоп — это и есть тема "Камаринского".

"Тема" историческая на предмет авторства.

Брик написал оперу с блеском. В опере есть женские голоса. Женщина называется Иринка. Композиционно это Марина (Маринка), сниженная.

В опере "Камаринский мужик" есть камаринская как музыка.

Но камаринской ситуации самого танца, осуществления его — нет.

Для женщины-пленницы без сочувствия к ней в опере нет ситуации.

О. Брик с фонетическим стихом не переосмыслил старой оперы, а только в нее вселился и поэтому вряд ли ее перес...

Эта тяга к опере, к оперной упрощенности, легкое согласие на нее — здесь характерны.

Люди легко сдают то, что они не ценят.

А оперная традиция снимает боль и необходимость самому разрешить вопрос о неполноценности сегодняшнего стиха.

Примечания Ольги Панченко:

[1]См.: Велемир Хлебников. Песни 13 весен (Болтовня около красоты). // Велемир Хлебников. Неизданные произведения. Ред. и комментарии Н. Харджиева и Т. Грица. М., 1940

[2]Из письма Г. Флобера Луизе Коле от 16 января 1852 г. Далее в тексте Шкловского приведена выдержка из того же письма и дана отсылка к изданию Флобера.

[3]Первая строфа стихотворения М.Ю. Лермонтова "Два великана".

[4]См. статью В. Шкловского "Конец барокко. О людях, которые идут по одной дороге и об этом не знают" (В.Шкловский. Гамбургский счет. М., 1990).

[5]Ср. с более ранним высказыванием Шкловского в статье "Связь сюжетосложения с общими приемами стиля": "<...> форма создает для себя содержание". (В. Шкловский. Теория прозы. 1925, с. 30).

[6]См.: М.И. Глинка. Записки. Л., 1930.

[7]А.Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 116.

[8]Из статьи В.И. Ленина "Л.Н. Толстой и его эпоха". //Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 20. М., 1968, с. 103.

[9]Из статьи В.И. Ленина "Л.Н. Толстой и современное рабочее движение". //Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т.20, с. 40.

Рубрику ведет Сергей Юрьенен

АМЕРИКАНСКИЙ СЮР НА РУССКИЕ ТЕМЫ

Помимо "предперестроечного" и, можно сказать, пророческого стихотворения романиста *Нормана Мейлера* ("Голые и мертвые" и др.), публикация включает текст еще мало известного российскому читателю американского сюрреалиста Номер Один *Дональда Бартельма* (умер в 1989), а также совсем пока ему не известной *Джой Уильямс* (сборники рассказов "Проявляя заботу" и "Побеги", романы "Состояния благодати", "Кража со взломом" и пр.) — для нее, признанной одним из ведущих в ее поколении "сорокалетних" мастеров реалистической новеллы, предлагаемый рассказ является, скорее, "сюрреальным" исключением.

С английского тексты переведены мной. — *С.Ю.*

Норман Мейлер

(Из "Партизан ревю" 50-летний юбилейный номер 1984 года)

У СОБОРА СВЯТОГО ИСААКИЯ В ЛЕНИНГРАДЕ

Огромное древнее здание
Жутью несет из твоей сырости
Гигантский страх шевелится в своем камне
Ты сидишь посреди празднества
в угрюмом великолепии
Ты лежишь в совокуплении
на нашем общем воздухе
Старые предания оставили проклятье
Твои призраки — дети поражения
Они клянутся пробудиться снова
Мы слышим клятвы из твоего мертвого
огромного древнего чрева
Благовонное старое чудище
Пред тобой мы исполняемся благоговением

Дональд Бартельм

В МУЗЕЕ ТОЛСТОГО

ТЕКСТ: В музее Толстого мы сидели и плакали. Бумажные полоски вытекали из наших глаз. Наш взгляд привлекли картины. Они были расположены слишком высоко. Мы предложили директору, чтобы он опустил их по меньшей мере инчей на шесть. Это его не обрадовало, но он сказал, что сделает все возможное. В основном сокровищница Толстовского музея состоит примерно из тридцати тысяч портретов графа Льва Толстого.

После того, как они перевесили картины, мы вернулись в Толстовский музей. Я не думаю, что человеку в лицо можно смотреть слишком долго — в течение слишком долгого времени. Слишком много страстей можно различить по ту сторону кожи.

Толстой по-русски значит "жирный". Его дед посылал стирать свое белье в Голландию. Его мать не знала *ни одного* плохого слова. В юности он сбрил себе брови, надеясь, что расти они будут гуще. Впервые гонореей он заразился в 1847. Он был однажды укушен в лицо медведем. Он стал вегетарианцем в 1885. Чтобы привлечь к себе внимание, он время от времени кланялся головой назад.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: Далее в книге на развороте два идентичных портрета седобородого Толстого, на тот, что справа, снизу вверх смотрит маленький Наполеон.

Я ел бутерброд в Толстовском музее. Толстовский музей сделан из камня — много камней, мастерски обработанных. Если смотреть с улицы, он имеет вид трех ящиков: первый, второй и третий уровни. Они возрастающего размера. Первый уровень, скажем, размером с коробку из-под обуви, второй уровень размером с картонку из-под виски, а третий уровень размером с коробку, в которой было новое пальто. Что поражает, это кронштейн третьего уровня — предмет оживленных дискуссий. Стеклянный потолок там позволяет смотреть прямо вниз и обеспечивает "плывущее" ощущение. Все здание целиком, если смотреть с улицы, создает впечатление, что вот-вот оно на вас рухнет. Этот эффект архитекторы связывают с нравственным авторитетом Толстого.

Под текстом рисунок, изображающий гулливерских размеров камзол, который осматривают посетители. Подпись: "Камзол Толстого".

ТЕКСТ: В подвальном помещении Толстовского музея рабочие вскрывают ящики с новыми портретами графа Льва Толстого. Огромные ящики помечены трафаретными надписями красными чернилами "ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ"...

Смотрители Толстовского музея носят корзинки, в которых сложены кипы чистых белых носовых платков. Более чем какой-либо другой музей Толстовский вызывает слезы на глазах. Одно только название толстовской вещи, перенагруженной ношей любви, способно вызвать рыдания — например, статья под названием "Кто кого должен учить писать, мы крестьянских детей или крестьянские дети нас?" Немало людей стоят перед этой статьей, рыдая навзрыд. К тому же те, которых поймали глаза Толстого на различных портретах, комната за комнатой не остаются неуязвимыми. Это все равно как если, говорят люди, творить проказы и быть застанным врасплох отцом твоим, который стоит в четырех дверных проемах, глядя прямо на тебя.

В музее Толстого я читал рассказ Толстого. В этом рассказе епископ путешествует на корабле. Один из его попутчиков рассказывает епископу об острове, на котором живут три отшельника. Сообщают, что они исключительной набожности. Епископа охватывает желание поговорить с отшельниками. Он уговаривает капитана корабля бросить якорь возле острова. В лодке он отправляется на берег. Отшельники рассказывают епископу, как они поклоняются Богу. Молитва их гласит: "Тебя трое, нас трое, благослови нас". Епископа охватывает ощущение, что обращаются они к Богу с неправильной молитвой. Он обучает отшельников молитве "Отче наш". Отшельники обучаются молитве "Отче наш" с огромным трудом. Наступает уже ночь, когда они наконец усваивают ее правильно.

Епископ возвращается на корабль, довольный, что смог посодействовать отшельникам в их послушании. Корабль отплывает. Епископ сидит один на палубе, размышляя о переживаниях дня. Он замечает свет в небе за кораблем. Свет исходит от трех отшельников, которые плечом к плечу летят над водой не двигая ногами. Они приземляются на корабль со словами: "Мы забыли, поверенный Господа, мы забыли, чему вы нас научили!" Они просят его научить их молитве снова. Епископ осеняет себя крестным знамением. Потом, он говорит...

Следует разворот с рисунком здорового дитяти в камзоле, с книжкой и бокалом вина в кулаке, подпись: "Толстой в юности", на втором велосипедист прошлого века при велосипеде с огромным передним колесом: "В Старогладковской, около 1852" — гласит подпись. Третий рисунок — Толстой посреди группового портрета охотников, сидящих за лежащим на переднем плане уссурийским тигром: "Охота на тигра, Сибирь".

...отшельникам, что их молитву Бог услышит тоже. "Не мне вас учить. Молитесь за нас, грешников!" Стоя на палубе, епископ отвешивает им поклон. Отшельники летят обратно над водой, плечом к плечу, к своему острову.

Рассказ написан очень просто. Сказано, что вдохновлен он народным преданием. Вариант его есть у Святого Августина. Я был невероятно впечатлен рассказом. Его красота. Сдержанность.

В Толстовском музее печаль охватила 741 воскресного посетителя. Музей предлагал серию лекций по тексту "Почему люди одурманивают сами себя?" Посетители впали в печаль от красноречия лекторов, которые были, вероятно, правы.

На следующей странице рассказа в книге архитектурный рисунок с фигурами любовников прошлого века. Подпись: "Павильон Анны-Вронского". Еще один: пожар, остов здания, восемь любопытных. Подпись: "Перед катастрофой (Стрелка указывает на Толстого)".

Люди вглядываются в миниатюрные портреты Тургенева, Некрасова и Фета. Эти и другие миниатюры висят рядом с исключительно огромными портретами графа Льва Толстого.

На площади зловещего вида музыкант играет на деревянной трубе, а двое детей наблюдают.

Мы размышляем над 640086 страницами (Юбилейное издание) печатных трудов автора. Иные хотели, чтобы он ушел, но другие рады, что мы его имеем. "Для меня он всю жизнь был источником вдохновения", — сказал один.

Для себя я еще не решил. Пока я стоял здесь, в зале "Лето в деревне", несколько смутных образов прошло перед моими глазами. Все же я думаю последовать в залу "Утро помещика". Возможно, там произойдет со мною нечто вдохновляющее.

Завершающий архитектурный рисунок изображает площадь с геометрическими фигурами, сходящимися в перспективе к гигантскому портрету Льва Николаевича. Подпись: "Музейная Площадь с Монументальной Головой (по понедельникам закрыто).

Джей Уильямс

ГУРДЖИЕВ В СОЛНЕЧНОМ ШТАТЕ

Этому нет конца, думает Г. Он сидит за столом в зоне отдыха роликового катка во Флориде, наблюдая за катающимися детьми. На столе жареная по-французски картошка, наполненные сыром, два цыпленка-табака и стакан воды без льда. Как странно, что я в этом месте, думает Г. Ему бы хотелось обратно в Атлантис, но слишком уж много немцев там! С этими натренированными вынюхивать фармацевтику! Попытайся получить удовольствие от Флориды, приказывает он себе. Там, снаружи апельсины, пеликаны и фермы, где разводят змей. И акульи зубы! Невозможно пройтись по пляжам Флориды без того, чтобы акулий зуб не попал тебе меж пальцев ног. Здесь, внутри ему очень хорошо в кондиционированном воздухе. На нем тяжелое пальто с каракулевым воротником и казацкая папаха. В его кармане сорок семь роликов фотопленки. Мне надо все это проявить, думает Г. Тогда придет момент...

***

Сто подростков младшего возраста с ясными голубыми глазами и красивыми коленями, несутся на огромной скорости по кругу. Подростки вызывают у Г. чувство усталости. Вопросы, вопросы, вопросы, думает Г. А благословенные ответы не требуются. Г. разглаживает свои усища. *Вареная картошка умней, чем сырая,* развлекается он. *Я мыслю.*

***

Г. испытывает легкое головокружение. Он слишком много думал об индусах. Он бы снова отправился б в Индию, но, веря в Вечное. Сейчас, как ему и должно, он боится Фагов. Англичане уничтожили фагов в 1840, но это не помогло Г. Фаги удушали шарфами путешественников и бросали их в колодцы. Они убивали не всех. Были известные ограничения. Они не душили женщин, больных лепрой, слепых или калек, а также тех, кто вел корову, или точильщиков, или сапожников. Г. ведет учет на своих пальцах. Ни к одному из этих разрядов он не относится. Он пожимает плечами. Лучше держаться подальше от Индии, думает он. Г. боится фагов. Еще он боится грязи. Свои сны о грязи он бы не поверил ни единой живой душе. Лучше на эту тему не думать, решает Г.

***

Одно время Г. окружался мертвыми людьми. Он привык к почитателям, говорившим: "Все люди вокруг вас кажутся мертвыми". Он привык к этому роду почитания. Никто ничего подобного здесь ему не говорит. Никто его, кажется, не замечает.

***

Музыка давит на уши. Иногда песня звучит немного медленней, но ничуть не тише, чем другие, и отроки танцуют под нее на своих роликовых коньках. Г. любит танцевать. Он постукивает в такт ногой и покручивает ус. Темные воды, заключенные в бумажном стаканчике, выплескиваются на поверхность стола. *Я во Флориде!* думает он. Он любит Флориду, холодный центр этого. *Танцуй с апельсином,* говорит он с воодушевлением. *Охо-хо,* думает он. *Это сказал кто-то другой. Этого немецкий поэт. Эти немцы они повсюду,* думает он с раздражением. В Мексике, там они на пирамидах, в бассейнах, на рынках, покупая оловянные светильники. В Париже они в Лувре, применяя фрейцову теорию к да Винчи, стоя перец "Святым семейством", крича: "Я вижу стервятника, видите стервятника!" Они даже на Ривьере, где едят форель. Г. должен признать, однако, что они делают чудесные машины. *Эти "БМВ",* думает он, испытывая удовольствие. Ему бы хотелось утопить где-нибудь свою тупую машину и купить "Ягуар". Танцуй с апельсином, вспоминает он со смущением. Он краснеет, но никто бы этого не сказал.

***

Кэтрин Мэнсфильд подходит к этому столу и садится, угрюмая, как всегда. Сигарету ей он не предлагает. Может быть, она не проснулась, но никто этого не знает. Не надо ее оскорблять. Он улыбается. *Не правда ли, это великолепно, быть молодым,* говорит он, указывая на конькобежцев, просто чтобы не молчать. Кэтрин Мэнсфильд смотрит на него с ужасом. Когда у нее только будет хорошее настроение, вздыхает Г. Он наклоняется к ней. *Невозможность есть знак истины,* свистяще шепчет он. *То, что может быть выражено, не может быть истинным. Сколько раз я должен повторять вам это!* "Я была писателем", с достоинством говорит Кэтрин Мэнсфильд. Она уходит.

***

Г. мечтает о стакане кальвадоса из одной из этих двадцати семи бутылей, которые он обнарушил там вместе с зелеными лимонами, песком и тонко нарубленкой соломой, когда он копал яму в своем погребе для хранения моркови. Боже, какой должно быть вкус! У этой столовой воды вкус нереальный. Ему бы хотелось стакан кальвадоса, а еще один из этих больших ковров, которые фаги делали после того, как их простили. Эти люди изменились. Из душителей они стали ткачами ковров. О, Г. всегда хотелось иметь один из тех ковров! Какой...

Дети летают кругом, словно дервиши. Безумные дети. Г. смотрит на них, поглощенный, пристальный. Его челюсть начинает сводить. Он зажигает сигарету, затягивается, кашляет, зевает, смеется. Иисус никогда не смеялся. *Бедный парень,* думает Г. Мальчик в шелковых шортах, в рубашке, покрытой и черными роликовыми коньками с огромными зелеными крыльями летит к стене и врезается в нее. Г. смеется. Я знаю, на что это похоже, думает он. То дерево под Фонтенбло не сдвинулось ни на дюйм. *Осторожно,* кричит он мальчику, смеясь. *Или будешь, как я, куском живого мяса в чистой постели.* Его просят уйти.

***

Г. идет по пляжу. *Войти в океан, вот что мне нужно,* думает он. Но это только залив — Мексиканский. Он вбирает это все в себя. Я во Флориде! думает он. Его большая бритая наголо башка блестит на солнце. Он приближается к воде, пробует ее правой ногой. Она прохладная, вода. Я недостаточно спонтанен, обеспокоен Г. Мне бы сейчас вбежать прямо в нее, броситься в волну, вернуться с ней. Или, может быть, я должен просто покататься на доске, где мелко. Под пальто на нем красные шорты, не такие красные, как в Нантуки, но по цвету близкие к нантукским красным. Когда бабушка Г. умирала, она сказала Г.: *Никогда не делай в жизни то, что делают другие.* На смертном одре, последние слова, представьте! Сказать такое ребенку.

***

Г. сидит на берегу. Это январь, Г. в январе родился. Смеркается. *Охо-хо,* думает Г. Издали по пляжу приближается экипаж, который тащит старая лошадь под управлением пьяного кучера. *Что-то очень знакомое,* думает Г. Его темные глаза блестят, когда он смотрит сквозь очки. Все именно так. Кучер невежествен и всклокочен, лошадь неухожена и бездуховна, коляску пора чинить. *Точная космическая актуализации самой любимой моей метафоры* восклицает Г. в восторге. Сюда! Экипаж останавливается перец Г. *Никоим образом* Г. не намерен садиться в эту коляску. Непринужденно он наклоняется и подбирает кусочек коралла, и пускает его вдаль по воде. Плип плип плип плипплипплип, такой это звук. С руганью кучер поворачивает свою лошадь. Лошадь не двигается. Кучер слезает с коляски и начинает бить лошадь, ударяя ее в шею, пиная под ребра. Внезапно германец выбегает из и останавливает жестокую руку кучера. Это Ницше, Фридрих Ницше! Он обхватывает руками голову лошади и мгновенно сходит с ума. Полностью безумен, тут двух мнений быть не может. Его забирают, лепечущего, в продавленную коляску. Г. смотрит вслед, пораженный, но потом вспоминает, что это *январь.* Красивый лоб, должен он признать. Г. вновь один на темнеющем берегу. Совсем один. Но ничего не потеряно. Ничего.

ВЕРНИСАЖ

На открытии выставки коллекции Александра Глезера в Музее частных коллекций при Музее изобразительных искусств им. Пушкина. 20 сентября 1995 года

Выступление директора Музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирины Александровны Антоновой

Александр Давыдович Глезер известен не только московской художественной публике. Его хорошо знают в России, конечно, и во Франции, и в Соединенных Штатах Америки, потому что действительно Александр Давыдович Глезер сделал большое дело. Он делал его на протяжении многих десятилетий, собирая, начиная с 60-х годов коллекцию работ художников, которые вовсе не признавались официальной критикой, официальным искусством. И тем самым сумел сохранить для нас творчество многих выдающихся, великолепных художников, которых сегодня, в конце XX века, мы можем назвать классиками искусства двадцатого столетия. К сожалению, еще нет музеев, в которых бы произведения показывались в какой-то эволюции — и достойно, и обширно, показывались как часть художественного наследия нашего Отечества. Но идея создания музея современного искусства XX века, и в том числе его второй половины, у всех на устах, об этом говорят очень много. Однако пока его нет. И нам кажется, что вот такая выставка, довольно полно освещающая творчество основных художественных лидеров второй половины двадцатого столетия нашей страны, очень своевременна, потому что она дает представле-

Москва, 20 сентября 1995 года,
Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Открытие выставки

ние о том, как строить концепцию, как строить этот будущий музей. Он, конечно состоится, конечно будет.

Я уже говорила, о заслугах Александра Давыдовича, его роли не только в спасении наследия, но в его популяризации, его утверждении. Она очень велика. Мы знаем, что он, вынужденный эмигрировать из России, и под Парижем, и под Нью-Йорком создал музеи русского искусства. Он не прекращает свою деятельность, и сейчас. Он ездит по нашей стране, выкапывает новые имена, опять-таки поднимает их. И в этом опирается на свой вкус, свое знание, понимание искусства. Как мы убедились из прошлого, у него острый и чуткий глаз, который много нашел, многим помог. Ведь очень важно, когда художники знают, что их собирают, что к ним есть интерес. Естественно, тогда они уже работают по-другому, они знают, что их ценят, их поддерживают. Это все очень важно.

Эта выставка проходит здесь, в музее личных коллекций. Мы многократно открывали тут выставки, и мы говорим о том, что этот музей создан не только показать сами по себе художественные произведения, но чтобы как-то поднимать значение фигур и личностей коллекционеров. Причем самых разных. Мы проводили выставку Сергея Михайловича Третьякова как коллекционера, и показывали собранную им коллекцию. Мы показывали и других выдающихся коллекционеров.

И вот сегодня мы показываем коллекцию Александра Глезера. Можно сказать, что эта выставка открывает целую серию экспозиций, которые мы задумали, коллекционеров, собирающих современное искусство. Не все будут согласны с их вкусами, с их оценками, но этот

процесс обязателен. Надо показать эти коллекции и мы собираемся их показывать. Это не значит, что музей не будет говорить о коллекционерах прошлого — это все-таки музей, мы в большой мере обращены в прошлое. Это будут многие и многие знаменитые русские коллекционеры прошлого. Мы непременно будем их популяризировать.

Также мы контактируем и с зарубежными коллекционерами, потому что считаем, что личность коллекционера значит очень много. Ведь этот музей, когда он создавался, призван был реабилитировать коллекционирование, как художественное творчество, поскольку в нашей стране, коллекционеры находились в весьма угнетенном состоянии, их деятельность казалась предосудительной, непонятной, неясной в своем происхождении, их обвиняли во всех смертных грехах. Такая реабилитация коллекционирования как своеобразного творчества тоже нами предусмотрена.

Я не буду специально много говорить об этой выставке, все разделы искусства, во всяком случае, живописи, начиная с шестидесятых годов на ней так или по-другому представлены, вы увидите произведения всех именитых художников этого времени.

Генрих Сапгир, поэт

Я хотел бы поздравить своего друга Александра Глезера с выставкой, потому что я не знаю, что еще может желать коллекционер, особенно прошедший через множество всяческих перипетий. После того как его картины ездили в вагонах, бывали в разных странах, они наконец, пришли в эти стены. Это замечательно. Я хочу сказать, что 25 лет назад увидел мини музей современного искусства. Он уже тогда был в 1968 году, на Большой Черкизовской в кооперативной трехкомнатной квартирке. На стенах было очень много холстов, это был целый музей. В музей эта квартира превратилась благодаря хитроумию хозяина, который поверх стен сделал стенки на колесах. Выдвигалась стена на колесиках по рельсам, вы видели одну залу музея, потом выдвигалась еще одна стена и эта была другая зала музея. Таким образом, все помещалось в этой квартире. И это был музей современного искусства, потому что там были картины этих же авторов.

Поэтому я хочу поздравить Александра, это замечательно, лучшего желать нельзя. Пусть этот отдел называется музей личных коллекций, но все равно это музей изобразительных искусств им. Пушкина. Это прекрасно для коллекционера.

А сейчас я прочту сонет, просто про тебя, про твою биографию. Так и называется "Биографический сонет".

Я зрел Олимп! Сходили с чердаков
Рухин, Немухин, Рабин, Валентина,
Лев Кропивницкий, Зверев и Целков —
Соостер — все в душе неизгладимо!

Эрнст Неизвестный и Плавинский Дима,
Калинин, Краснопевцев, Кулаков,

Шемякин — жрец слона и крокодила
А Харитонов, Яковлев каков!

В своей квартирке всех их (вместе взятых)
ты показал еще в шестидесятых —
Скандал! Газеты пишут о тебе!

Вот по Москве бежишь в пальто потертом,
две черных "Волги" за тобой эскортом —
опасное вниманье КГБ

Эдуард Штейнберг

Разрешите поблагодарить, в первую очередь, Ирину Александровну и Марину Александровну за это событие. Я это говорю так, потому что Саша в 60-х годах пришел ко мне первому и его коллекционирование началось у меня. Но музей есть музей и никто не ожидал, что это кончится таким событием. Но я хочу сказать, что вне музея это событие интересно для меня в плане социологическом. Потому что как бы переходит в за музейную жизнь, потому что основная коллекция — это шестидесятники-семидесятники, которых сегодня время или забывает, или как-то их отвергает. Но все-таки интересно, что в и семидесятых годах их отвергали. Кончилось это бульдозером. Но дело не в этом. Художник всегда в оппозиции. И сегодня то же самое, эти авторы тоже являются оппозиционерами, несмотря на то, что происходит это событие в музее. Это имеет отношение к жизни, и автор этой жизни — наш друг, Александр Глезер. Я хочу поблагодарить его, большое спасибо, потому что ваш музей — как жизнь.

Александр Глезер

Я тоже хочу начать с благодарности. Несколько дней назад пришла телеграмма от Владимира Немухина, Оскара Рабина, Валентины Кропивницкой, где они поздравляют меня и благодарят Ирину Александровну Антонову, которая предоставила возможность здесь выставить эти работы. Хочу поблагодарить Марину Бессонову, Аню Чудетскую, Алексея Савинова — искусствоведов Пушкинского музея, которые приложили усилия, для того чтобы эта выставка состоялась достойно.

Хотя я участвовал в организации 162 выставок в музеях, выставочных залах, галереях европейских стран, США, Канады, Японии, тем не менее, эта выставка является одной из самых важных для меня. Потому что я всегда верил, и писал об этом, и говорил, что эти художники займут достойное место в Русских музеях, а не только в Модерн-Арт, Метрополитен, музее Помпиду.

Вы знаете, когда меня выгоняли из Советского Союза, я сказал полковнику Конькову, начальнику следственного отдела КГБ Москвы и Московской области, что вы об этом когда-нибудь пожалеете и не из-за меня, а из-за моей коллекции, потому что эти художники бу-

дут выставляться не только в западных музеях, но и в российских. Он высокомерно посмотрел на меня, усмехнулся и коротко ответил: "Никогда". Но вот сегодняшний день говорит о том, что полковник ошибся. И в этом замечательном музее, на мой взгляд, самом престижном музее России на сегодняшний день, выставляются эти бывшие изгои и это очень важно для всех художников.

Эта выставка готовилась почти год и художники волновались: состоится, не состоится, как пройдет, потому что эта выставка — это встреча с отечественными поклонниками современного изобразительного искусства, это вхождение, как говорили мне Елена Александровна и Марина Бессонова, этих художников в музейный круг, что они давно заслужили, и благодаря этой выставке это происходит сегодня и поэтому эта выставка так важна для меня.

Нужно сказать, что здесь есть молодые люди. Может быть, им будет непонятно, почему эти картины запрещались в прежние времена. Когда я привез коллекцию, и проходили выставки в Вене, во Франции, то если бы не было бульдозеров, то мне бы просто не поверили, что это было запрещено. Люди не понимали, подходили к картинам Владимира Яковлева или Дмитрия Краснопевцева говорили, что это не могло быть запрещено.

Я им рассказывал две коротенькие истории, расскажу и вам чтобы не было все, как говорил, Василий Аксенов свирепо серьезно. В 1969 году мне удалось организовать выставку цветов Володи Яковлева в библиотеке на Преображенке. Я сказал ему: "Не нужно ни абстракций, ни портретов, только цветы". Выставку закрыли, директора библиотеки выгнали с работы. Я пошел объясняться в горком партии: "Товарищи, это же цветы!" Мне говорят: "Это пессимистические цветы, а нам нужны оптимистические"...

Одно время пытались, в начале семидесятых, делать выставки работ из частных коллекций на Кузнецком мосту. Я принес работу Дмитрия Краснопевцева: натюрморт. Пришел на выставку — работа снята, нет ее на открытии. Я подошел к Исаяну, художнику который занимался этим, спросил, почему нет работы Краснопевцева. Оказывается пришла комиссия горкома, сняла. Я опять пошел в горком, говорю: "Это же натюрморт, в чем дело?". Они говорят: "Вы понимаете".

— Да нет, не понимаю...

— Да понимаете, понимаете.

— Да нет!

Там был кувшин, обычный краснопевцевский, и росло растение, но оно выходило не из горлышка, а разламывало боковину стенки. Они говорят: "Что это такое, почему отсюда?"

— Но это — фантазия художника! У него весь дом завален кувшинами, растениями, ракушками морскими.

Они говорят: "Нет, просто мы их не пропускаем прямо, так он хочет показать этой картиной, что хоть сбоку, но пролезут!"

Я в России показывал уже эти картины, но это самая полная выставка, и я счастлив, что именно в этом музее, как я сказал, на мой

взгляд, самом престижном музее России, она показывается. Я также очень надеюсь, что, может быть, она даст толчок, в том смысле, что кто-то из власть имущих поймет, что все-таки музей современного русского искусства в Москве необходим, а то мы открываем во Владивостоке, в Риге, а в Москве до сих пор ничего нет.

Ирина Александровна Антонова

Надо отдать должное нашему времени, которое позволяет музею свободно, без оглядки показывать такие коллекции, как коллекция Александра Глезера.

Вы вспоминаете судьбу некоторых картин Краснопевцева Димы и других художников, но я могла бы сказать, как мы получали серьезные замечания за выставку Бехтеньева. Сейчас это кажется совершенно неправдоподобно. Или за то, что в стенах Музея играли музыку Стравинского. Все это было, но, слава Богу, прошло.

Наконец, мы открываем эту выставку, и я хочу, может быть, со мной Александр Глезер не согласится, посвятить ее Александру Абрамовичу Каменскому — мужественному человеку, мужественному искусствоведу, который находил в себе силы в самое неблагоприятное время поддерживать и писать положительно о тех художниках, которых мы сегодня показываем.

Между прочим, он когда-то мечтал организовать выставку здесь, в нашем музее.

Александр Глезер

Я очень любил Александра Абрамовича Каменского и очень ценил его как искусствоведа и человека, и мы даже задумывали выпускать журнал, посвященный современному русскому искусству. Помню, как мы из Нью-Йорка ехали с ним вместе к Шемякину в поезде и разрабатывали программу журнала. Но, к сожалению, он ушел от нас. В 1990 году мы проводили в музее Джерси-Сити симпозиум по проблемам современного русского искусства. Выступая там с большим и очень серьезным докладом, Александр Абрамович назвал лучших представителей неофициального русского искусства, ведущими представителями современного русского искусства, за что я ему очень благодарен. И вот эти ведущие представители сейчас здесь. Спасибо.

Ирина Александровна Антонова

И еще эта выставка посвящается гражданскому мужеству деятелей культуры, по-моему, — это, несомненно. А сейчас мы вас приглашаем посмотреть выставку.

ПРАЗДНИК НОНКОНФОРМИСТОВ

В Музее изобразительных искусств имени Пушкина с 20 сентября по 20 октября проходила выставка коллекции Александра Глезера.

Предлагаем Вашему вниманию беседу с ним поэта Евгения Рейна.

Евгений Рейн. Мне известно, что ты начал собирать свою знаменитую коллекцию в 1967 году. Но что послужило толчком к этому?

Александр Глезер. В конце 1966 года я пришел в гости к шекспироведу Леониду Пинскому. У него над столом висела картина, которая меня поразила: — покосившийся темный барак, скособоченное окошко и какой-то удивительный свет из него, дрожащий как будто и в то же время пронзительный. "Это Оскар Рабин, — с гордостью сказал хозяин, — это Лианозовский барок. Но Рабин живет теперь в Москве, на Преображенке". В тот же вечер я побывал у художника, был покорен работами *и* предложил устроить его персональную выставку в клубе "Дружба" на шоссе Энтузиастов. Рабин стал предупреждать, что у меня будут большие неприятности, но это меня только раззадорило. И тогда он сказал, что нужно устроить общую экспозицию, объясняя это тем, что все неофициальные художники соскучились по выставкам. Так вот и открылась выставка двенадцати нонконформистов 22 января 1967 года. Через два часа гебисты и представители горкома партии закрыли ее. Я разозлился и решил создать нечто вроде музея у себя на квартире, наивно полагая, что уж квартирную выставку власти закрыть не

сумеют. Я стал покупать картины, рисунки и скульптуры и в 1968 году, приобретя трехкомнатную квартиру на Преображенке, создал свой домашний музей.

Е.Р. Почему ты решил собирать именно неофициальное искусство?

А.Г. Потому что его преследовали. Мне хотелось помочь талантливым художникам и, кроме того, мой домашний музей, окрещенный, кстати, гебистами художественным самиздатом, был, конечно, формой борьбы с тоталитарным режимом.

Е.Р. Произведения каких художников ты приобрел в первую очередь и почему назвал свою коллекцию музеем?

А.Г. Первые работы — это картины Оскара Рабина, Владимира Немухина, Лидии Мастерковой, Бориса Свешникова, Дмитриев Плавинского и Краснопевцева, Эдуарда Штейнберга; рисунки Валентины Кропивницкой, акварели Анатолия Зверева, гуаши Владимира Яковлева. Но, понимаешь, раз я решил создать у себя на квартире Музей неофициального русского искусства, то должен был собирать не только то, что мне нравилось, что воздействовало на мои чувства, вызывало эмоции, но и то, что оставляло более или менее холодным, однако являлось, головой я это понимал, значительным. Поэтому я начал покупать произведения, скажем, и концептуалистов, к примеру, Ильи Кабакова. И уже через год в моем собрании были представлены все направления, существовавшие в свободном русском искусстве. А ведь это и есть музей, тем более, что двери моей квартиры всегда были открыты для всех желающих познакомиться с этим искусством.

Е.Р. Как реагировали на появление твоего музея власть имущие?

А.Г. Ну, понятно как. Резко негативно. И быстро. Уже в 1967 году министр культуры Фурцева на собрании представителей московских издательств объявила меня врагом. В том же году газета "Московский художник" обрушилась на неофициальных живописцев с погромной статьей, которая начиналась словами: "Некий Глезер, именующий себя поэтом..." Дальше речь шла о выставке в клубе "Дружба". А в 1970 году, после того, как я отказался каяться, "Вечерняя Москва" напечатала обо мне фельетон "Человек с двойным дном".

Е.Р. И все твои книжки полетели?

А.Г. Да, их сняли с производства и в Москве, и в Тбилиси, и в Ташкенте.

Е.Р. Когда и почему ты эмигрировал?

А.Г. Мой отъезд трудно назвать эмиграцией. Это, практически, было изгнание. После бульдозерной выставки 15 сентября 1974 года и ряда пресс-конференций для иностранных журналистов, организованных на моей квартире, я был арестован, и на Лубянке полковник Коньк-

ков, начальник следственного отдела КГБ Москвы и Московской области, в течение трех дней склонял меня к эмиграции: "Или отъезд или отправитесь за антиобщественную деятельность в лагерь", — предупреждал он.

Е.Р. А ты?

А.Г. Я упрямо повторял два дня: "Хочу к Буковскому".

Е.Р. То есть в лагерь?

А.Г. Полковник же уговаривал: "На Западе приятнее, чем у нас в лагере, лучше уезжайте".

Е.Р. И на тебя его призыв подействовал?

А.Г. На меня подействовали призывы моих ближайших друзей: Оскара Рабина и Володи Немухина. Они убеждали меня уехать и помогать им с Запада. "Иначе тебя посадят, — говорили они, — коллекция погибнет, а мы тебе помочь не сможем, как бы не протестовали против твоего ареста". Вот так и потому я уехал.

Е.Р. Ну, что же, завет друзей ты выполнил. Открыл под Парижем и Нью-Йорком Музеи современного русского искусства, организовал свыше ста шестидесяти выставок во Франции, Италии, Западной Германии, Японии, США, Канаде, Англии... Выпускал книги о художниках, печатал каталоги, писал о художниках в газетах, давал интервью, публиковал статьи об их творчестве в своих журналах... В общем, промотером оказался первоклассным. И, конечно, они здесь ощущали эту моральную поддержку, которая к тому же делала их все более и более известными, а значит, служила защитой от репрессий. Ну, а за художественной жизнью в СССР ты оттуда следил? Здесь же появлялись новые имена, молодые художники.

А.Г. Конечно, я следил за событиями в СССР и откликался на них в печати. К слову сказать, порой молодые художники присылали мне по неофициальным каналам свои работы, я включал их в экспозиции музеев и экспонировал на тех или иных выставках.

Е.Р. Ты говорил мне на днях о том, что вот эта выставка одна из важнейших в твоей жизни...

А.Г. Естественно. Работы бывших изгоев, которых тридцать лет травили, ссылали, давили бульдозерами, коллекция, изгнанная из СССР, теперь представлена в самом престижном музее России — это ли не победа?! И ведь благодаря выставке в Пушкинском эти художники вводятся в музейный круг.

Е.Р. Не пора ли нам рассказать читателям что и кто представлен на твоей выставке? Ну, первые два зала — это лианозовцы сначала графика, потом живопись. Затем два зала художников, которые не входи-

ли ни в какие группы. Тут сперва зал живописи, а потом графики. Мне здесь запомнились картины и рисунки Бориса Свешникова, графика Анатолия Зверева, Эрнста Неизвестного и Владимира Яковлева, полотна Эдуарда Штейнберга, Владимира Вейсберга, Дмитрия Плавинского, Юрия Купера, Евгения Рухина, Вячеслава Калинина, Александра Харитонова, Дмитрия Краснопевцева. А вот что дальше у тебя идет, я в тесноте вернисажа хорошо не рассмотрел, тем более, что подошли ко мне Генрих Сапгир, Игорь Холин, Женя Попов, заговорили на литературные темы...

А.Г. Дальше зал группы Сретенских бульваров. Там работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Владимира Янкилевского, Юло Соостера, Виктора Пивоварова, Олега Васильева, то есть в основном концептуалистов, а также произведения соцартистов Виталия Комара и Александра Меламида, Александра Косолапова.

Е.Р. Пятый зал я узнал. Это же мои питерцы. Почти всех знаю. Шемякинская группа "Санкт-Петербург", Глеб Богомолов, Юрий Жарких, Анатолий Белкин и Анатолий Путилин, Игорь Росс, Александр Арефьев, Вадим Воинов и Алекс Раппопорт. Вот только чьи там скульптуры не знаю.

А.Г. Это бывшие питерцы, а ныне ньюйоркцы Александр Неждановв и Леонид Лерман.

Е.Р. А вот в шестом зале я узнал кинетистов и артефакты Франциска Инфанте. Другие же мне совсем незнакомы.

А.Г. Другие — семидесятники, причем, скажем, Александр Пырков из Владивостока, Игорь Курков из Ростова, Валя Шапиро — из Швейцарии, Римма и Валерий Горловины — ньюйоркцы. А в седьмом зале ты кроме "Гоголя" Леры Нарбиковой, наверное, ни одной работы не видел раньше. Это зал восьмидесятников — тут картины москвичей Алексея Бегова, кстати, весьма успешно выставлявшегося два года назад в Вашингтоне и Вячеслава Полищука, который в ноябре переезжает в Нью-Йорк, нижегородца Сергея Сорокина, о котором после его выставки у меня в музее в Джерси-Сити в прошлом году одна ньюйоркская газета дала статью под названием "Русский Рембрандт", москвичей Николая Пивоварова, Сергея Семенова, графика владивостокца Ильяса Зинатулина и нижегородца Александра Лаврова. Кстати, работы двух последних приобрели французские коллекционеры в мае в Париже, когда мы проводили там в отеле Друо аукцион "Современное русское искусство".

Е.Р. Мне понравилось, что здесь на витринах документация — каталоги выставок на Западе, фотографии 60-х, 70-х, 80-х, книги об этом искусстве. И, конечно, красиво и убедительно выглядит экспозиция афиш — парижских, венских, берлинских, венецианских — выставок твоей коллекции и вообще наших художников.

А.Г. На всех музейных выставках мы показываем и афиши, и каталоги, и фотографии. Это же история. Так было и в Институте современных искусств в Лондоне в 1977 году, и на выставках в Городском музее Токио и венецианском биеннале в 1978-ом, и на дюссельдорфской выставке 1983 года.

Е.Р. Эта выставка, ее организация, каталог, банкет требовали больших финансовых средств. Тебе кто-нибудь помогал или ты сам выходил из положения?

А.Г. Какой там сам, когда нужно было на все свыше двадцати пяти миллионов рублей. Без фирмы "Оридж", которую возглавляют Валерий и Дмитрий Комаровы и которую вдохновляет Юля Комарова, невозможны были бы ни каталог, ни банкет. Если бы не "Круглый стол бизнеса России" и его генеральный секретарь Александр Сергеевич Орлов, мы не смогли бы оформить графику и некоторые картины, не сумели бы оплатить их развеску. Помог нам и банк "Эскадо".

Е.Р. Как я понимаю из нашего разговора, эта выставка для художников и для тебя какой-то определенный и важный этап. Но мне хотелось бы знать, есть ли у тебя конечная цель. Ты многое сделал на Западе, ты основал Музей современного русского искусства во Владивостоке, передав ему в дар свыше тридцати, по-моему, работ и Музей современной русской графики и скульптуры в Риге, куда тоже передал произведения из своего собрания. Ты провел выставки в Новосибирском и Хабаровском государственных музеях, планируешь провести выставку своей коллекции в Ивановском музее, сейчас вот эта замечательная выставка в Пушкинском... А что дальше? К чему ты стремишься?

А.Г. Я хотел бы создать Государственный Музей современного русского искусства в Москве. Ему бы я передал в дар всю свою коллекцию.

Е.Р. И не жалко?

А.Г. А для чего же я ее собирал и столько из-за нее пережил?!

Е.Р. Тебя, Саша, тогда уподобят Третьякову.

А.Г. Приятное сравнение, но не это для меня основное. Главное, чтобы такой музей был, ибо эти художники, когда-то гонимые, сегодня являются лучшими представителями современного русского искусства. И это не только мое мнение, но и многих искусствоведов.

Е.Р. Я желаю тебе успеха и поздравляю с нынешним праздником.

А.Г. Спасибо, это для меня и правда большой праздник.

Москва
27 сентября 1995 года

ЛИТЕРАТУРА: ТУПИК ИЛИ РАСЦВЕТ?

(23 октября 1994 года)

Александр Глезер: Мы решили поговорить на эту тему, потому что существует раскол мнений, предлагаю высказываться.

Владимир Новиков: Я вспоминаю дискуссии в "Литературной газете" застойного времени, там иногда возникали подобные проблемы: "Современная поэзия: кризис, подъем или накопление" — три варианта были. По-моему, вопрос "тупик или расцвет" это в значительной мере условность, то есть можно надеть розовые очки — будет расцвет, можно черные — будет тупик. Чем мне кажется наше время лучше времени застоя и чем "Стрелец" лучше "Литературной газеты" — итогового приговора не будет. Не сомневаюсь, что Александр Глезер не будет, как Феликс Кузнецов, давать в конце указания теперь уже не советской литературе, как дальше ей развиваться. То есть каждый останется при своем. И нам совершенно нет нужды здесь друг друга переубеждать. Что касается меня лично, то я не вижу ни тупика, ни расцвета. Вся история литературы состоит из промежутков. Я бы определил нынешнюю ситуацию в целом как благоприятный процесс, процесс удобрения почвы, на которой будет произрастать новый всплеск авангардной активности, как это было в двадцатом веке, в 10-20-х годах. А сейчас литература подводит итоги конца столетия, и, к сожалению, абсолютному большинству ныне пишущих, уже сложившихся писателей приходится оставаться в преде-

лах этого века. Идет необходимое стремление к универсальности. В "Литгазете" опять рассматривается ложное противопоставление постмодернизма и реализма. Одна сторона утверждает, что нужно писать постмодернистски, другая — что нет, мне этот постмодернизм хоть сахаром его посыпь, в рот не возьму, нужен реализм. Но если вдуматься в эти определения, то здесь абсолютно ложное противопоставление. Постмодернистская ситуация все суммирует, все приводит к какому-то общему культурному знаменателю, и она включает в себя психологическое письмо, искусство перевоплощения как один из равноправных источников. Сейчас время плодотворного эклектизма, смелые гипотезы будут, очевидно, сделаны позже, так что идет нормальный процесс. Большая часть писателей послужит удобрением для будущей эпохи, а выживут одиночки, как во все времена. Вот такой ровной, спокойной мне видится ситуация. Это все-таки проблема собеседника, потому что, если критик берет сторону писателя, то ему не уйти от той проблемы, что современный писатель не очень заботится о том, чтобы доставить партнеру удовольствие. Под партнером имеется в виду читатель. То есть современная литература не очень гедонистична, не очень служит источником наслаждения. Сейчас существует такой жанр в литературе, который я бы назвал диссертацией. Допустим, вышло сочинение Анатолия Королева под названием "Эрон". Мне кажется, что это самая что ни на есть диссертация на соискание степени модного писателя. Я готов дать такой отзыв. Она обладает актуальностью, новизной, в ней присутствуют необходимые элементы: Адам и Ева, действительность 70-х годов, чернуха, эротика, мат. Вывод — несмотря на отдельные недостатки, соответствует уровню, и писатель Королев может быть признан, условно говоря, писателем эпохи постмодернизма. Таковы предварительные соображения, жду, чтоб меня решительно оспорили.

Константин Кедров: Удобрением бывают все-таки, как правило, критики, а не писатели.

Владимир Новиков: Я-то считаю, что критики выполняют скорее роль ядохимиката.

Александр Глезер: Несколько раз во время наших встреч я пытался понять, как наши ведущие критики — шестидесятники и семидесятники относятся к современному литературному процессу. Как правило они отмахивались и говорили, что никакого литературного процесса нет.Это очень странно, потому что, когда у нас властвовал соцреализм, считалось, что литературный процесс есть, его обсуждали. В общем процессе делания соцреализма попадались какие-то произведения, к примеру, Владимова, Солженицына, которые относились скорее, к реализму, а не к соцреализму. По аналогии с книжкой Гароди "Реализм без берегов", так сказать, прогрессивные критики счи-

тали это "Соцреализмом без берегов" и выделяли их на общем безрадостном фоне. Обсуждалась также "исповедальная" проза, "деревенская" проза и т.п. Сейчас получилось, что с одной стороны есть писатели реалисты, с другой — постмодернисты, с третьей — концептуалисты, с четвертой — еще кто-то. И в этом общем процессе, где присутствуют все течения, некоторые критики — словно запутались и их охватила растерянность. А между тем, если рассмотреть сегодняшний день, мы видим, что издаются книги и молодых авторов, и авторов, которые создавали свои произведения на Западе, авторов андерграунда 70-х — первой половины 80-х. Иными словами, несмотря на трудности рынка, публикуются произведения самых разных направлений, печатается все интересное, талантливое. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас все же имеет место расцвет литературы. Каждый читатель может найти то, что ему по душе. Плохо, по-моему, дело обстоит с критикой, с рецензиями на книжки. Читатель, особенно в провинции, не знает, что выходит в столице. Если это новый автор, он не знает, что это за автор. Мы столкнулись в одном московском книжном магазине, когда привезли туда книжки, с тем, что заведующий отделом художественной прозы спрашивает: "Ерофеев — это который написал "Москва-Петушки"?" Я говорю: "Нет, это другой Ерофеев". — "А, этого мы не знаем, этого нам не надо". Несмотря на то, что Ерофеев, по-моему, наиболее известный в Москве писатель, завотделом крупного московского магазина не слышала о нем.

Валерия Нарбикова: Дело в том,что мы присутствуем в странном времени, которое лет пять-шесть назад казалось невозможным. Теперь, когда тебе много чего позволено, тебя начинают убеждать, что в то время, когда это было не позволено, но ты этим занимался, никто ничего не делал. Все ходили в лес, купались в море, и это время как бы не учитывается. Конец двадцатого века можно назвать выходом из запоя. Это был сильный запой алкогольной советской литературы: когда человек пьет, упивается литературой и ему кажется, что это состояние единственно возможное. Но оказалось, году в 1987-ом, то есть после выхода из этого запоя, что не все пили. Не все упились этим, не все вкусили вот этот допинг советской литературы, потому что советская литература была именно единственным допингом, который прививался, за который платили, у которого был заказчик. А теперь, когда все выблевали советскую литературу, протрезвели, когда можно это понять, оказалось, что это тоже никому не нужно. Как тогда это было никому не нужно. Но я думаю, что вообще литература никому не нужна. В XIX веке, когда жили классики, это тоже всеми оспаривалось. Любой момент возникновения хорошей литературы в этом веке тоже оспаривается. Я думаю, что, когда так много об этом говорят, это и есть процесс. Если бы об этом не говорили, это был бы тупик.

Александр Глезер: Слышать от Нарбиковой о том, что литература никому не нужна, странно. С одной стороны ей то и дело звонят и просят дать интервью, с другой стороны, все, что она пишет, печатается, на ее вечера собираются люди и в Москве, и во Владивостоке, и в Риге... Но так как "другая литература", как Оскар Уайльд, привержена парадоксам, примем это за парадокс.

Константин Кедров: Я всегда считал, что литературный процесс это восхитительная выдумка советской критики. Они придумали это, чтобы оправдать свой хлеб, так как все, что печаталось, годилось для вторичного продукта. Тогда они придумали, что если люди пишут, значит есть литературный процесс. Я не верю, что в литературе существует эволюция, так называемое развитие, преемственность. С моей точки зрения, есть только талантливые или гениальные писатели, и больше ничего нет. Но мы попали в удивительное время, когда на фоне политического и социального убожества, гении были постоянно перед глазами. Были и есть. Меня поражает слепота критиков. Слева от меня сидит Генрих Сапгир, справа от меня Нарбикова, и мы еще размышляем: расцвет или тупик. Да если бы только были Сапгир или Нарбикова, уже можно было говорить о подъеме. У критиков еще почему растерянность? Они же действительно выдумали, что все, что появилось сейчас, написано сейчас. А это все писали в 60-х, 70-х, 80-х годах. При этом критики страдают потерей памяти. Эпштейн увидел Парщикова, Еременко и Жданова в 1980-м году. Он был в ужасе и спрашивал: "Зачем вы пишите метафорой, это же так не модно". Ему казалось, что столбовой процесс это Самойлов, Кушнер. Когда он увидел, что Парщиков, Еременко и Жданов побеждают, появилась поразительная статья о металитературе. Всех этих поэтов он причислил к восьмидесятникам, и все их стихи, написанные в 70-е годы, пристегнул к 80-м. Это было потрясающе. То ли это сознательный передерг, то ли политический инстинкт все вгонять в рамки сегодняшнего дня и сегодняшнего процесса. Сейчас критики не хотят признать, что всю жизнь они писали не об этом. О другом они писать могли, печататься не могли. Но так и скажи, но нет же. Это же значит признать, что твоя жизнь под хвост. И тогда они начинают придумывать постомодернизмы и прочую чепуху, которой на самом деле нет. Постмодернизм в западноевропейской литературе — вещь вполне реальная, у нас просто есть литература, которая не является реализмом, вот и все. Еще одна дистрофия советской критики, унаследованная от Чернышевского, Белинского и иже с ними, это всегда говорить, что в прошлом было лучше, что расцвет был или в прошлом, или будет в будущем. Они изобретают серебряные и золотые века, лишь бы они были не в настоящем времени, чтобы живущим ныне всегда можно было сказать: "Ну, вы, батенька, не Державин, не Маяковский, не Хлебников". А возьмите начало двадцатого века: Хлебников, Мандель-

штам, Пастернак, Маяковский — это же в одном времени, в одном пространстве жили люди. Середина века — появляется Набоков, сейчас, если только в прозе — Сорокин, Нарбикова. Что касается поэзии, неужели можно отрицать сверходаренность Парщикова, лианозовцев. Сейчас, когда мы говорим расцвет или тупик, не о литературе речь идет, а о том, что, как и в советское время, эта литература от читателя изолирована. Тогда это была идеология, сейчас просто такая сложилась ситуация. Для меня все советские журналы и газеты как были кладбищем, так и остались, несмотря на то, что они кого-то печатают. То есть осталось доминирование выдуманной советской литературы и теперь уже советской эстетики. Никто сейчас из просвещенных людей не будет читать производственные романы, деревенские. Об этом замечательно сказал Солоухин, это было потрясающее признание в передаче Ерофеева. То есть издыхает не только литература, а сама система распространения этой литературы. Но другой-то системы выхода к читателю в этой стране нет. А Запад консультируется у тех критиков, которые обслуживали эту самую советскую литературу. И недавняя вакханалия с Букером в этом отношении показательна. Я ничего не хочу сказать плохого про тех людей, которых выдвигали в финал. Им, как и раньше, дали задание, этих номинаторов они набрали по старому принципу, то есть устремились в глубинку и там, конечно, всегда есть кто-то, кто пишет. Опять видно, как это все сколачивалось и как это недолговременно...

Генрих Сапгир: Значит не по литературности, а по романтичности, да? Я теперь вижу, что некое пространство как некий итог соцреализма, как постимперия существует. То же и в искусстве. Слава Богу, что в ту ночь, когда скончался соцреализм, не умерли все соцреалисты. Жалко, человеки все-таки. Но тогда бы было все проще. А так все живут, занимают посты в газетах и журналах. Я себе сформулировал: "Искусство не для искусства, искусство не для народа, искусство для тех, кому надо это искусство, и больше ни для кого". Конечно, и то искусство, которое писалось домами, кубами, километрами, тоже было надо. Это писалось, за это получались деньги и это все читалось. Из чего состоит искусство — из писателей, читателей или зрителей, и знатоков. Знатоки, может, и не любили весь этот официоз, но все-таки воспринимали все очень серьезно. Вообще в России все очень серьезно: и социальное, философское, и литература, особенно, безумно серьезна. Боже упаси, никакой игры. Но в то же время в России удивительные фантомы вроде Гоголя, Козьмы Пруткова. Все-таки игра пробивалась. Мы всегда хотим установить какую-то иерархию ценностей, и правильно, все искусство на этом и держится. Из иерархии ценностей, которую составляют знатоки, писатели, художники, состоит карта современного искусства. Так вот, карта современной поэзии, к примеру, искажена. Я думаю, что пройдет

какое-то количество лет и все будет совсем другое. Будут не шестидесятники, семидесятники и восьмидесятники, а просто другие имена. Что мне дает основание так думать? Сейчас составляется двадцать первый том "Итогов двадцатого века". Я составляю том поэтического самиздата, и у меня получилась антология второй половины XX века. И имена там, вы меня извините, совсем другие, чем в антологии официальной поэзии, хотя в ней, конечно, есть и неплохие поэты. Но поэтами, которые в моей антологии, критики никогда не занимались и не занимаются поныне. Однако свято место пусто не бывает. Вырастут новые поколения и откроют все это.

Александр Глезер: Я хочу возразить Косте Кедрову. Кажется, в 1985 году ко мне обратился Крестный отец русской мафии в Нью-Йорке с предложением издавать антикоммунистическую газету. Я согласился, и он спросил меня, как она будет называться. Я ответил: "Правда". Он сказал: "Как "Правда"?" Я говорю: "Они что, взяли монополию на правду? У них своя правда, у нас наша правда". Я не знаю, кто из критиков придумал слово "литературный процесс", но от этого оно не стало плохим. Как я понимаю, литературный процесс это совокупность всего, что происходит в литературе, это можно назвать и литературной ситуацией. Появляются новые имена, всплывают имена, которые были неизвестны читателю. Теперь на счет того, что ситуация не изменилась. Как же она не изменилась? У Сапгира за эти годы вышло несколько книжек, я читаю его стихи в газете "Сегодня", я читаю о нем в "Независимой", в "Известиях", о книге Холина — в "Независимой", о Нарбиковой, о Пригове и многих других... Другое дело, что, как сказал Лев Аннинский, есть элитная литература, а есть массовая. И требовать, чтобы элитную литературу знали так же, как массовую, странно. Каким бы ни был роман "Кавалер Золотой звезды", как бы интеллигенция не плевалась, рабочие его читали. А интеллигенция техническая читала Юрия Германа. И массовой элитная литература априори быть не может. Возьмем Запад. Директор издательства Рэндом хауз говорил мне, что они выпускают 60% макулатуры, чтобы на деньги от оборота выпустить настоящую литературу, то есть там все то же самое. Поэтому нечего удивиляться, что Генриха Сапгира сейчас знает меньшее количество людей, чем в 60-е годы знали Асадова (жуткий поэт, по-моему). Но знали его многие, потому что на фоне железобетонной поэзии он писал о бытовых, интимных вещах, и люди млели от этого. Сейчас же каждый может найти издательство, толстый журнал и напечататься, если проявит инициативу. Мне кажется, что у сегодняшней литературной ситуации только один неприятный момент — отсутствие рецензий, о чем я уже говорил.

Герман Гецевич: Направленность журналов, конечно, изменилась, но направленность представителей этих журналов — нет. Они до сих

пор считают то, что делает Сапгир, просто игрой. А ведь эта игра идет в сочетании с антологической, житейской мудростью, они этого не чувствуют, они не чувствуют поэтического вещества. Для них это эпатаж...

Александр Глезер: Лучше, когда не понимают, но печатают, чем когда не понимают и давят.

Герман Гецевич: Лучше, чтобы там работали люди понимающие.

Александр Глезер: Лучшее — враг хорошего.

Ольга Новикова: Я сначала хочу защитить критику. О ней говорилось как-то в общем. Когда говорят о писателях, говорят Сапгир, Нарбикова, но в эту же кашу Пупкина какого-то не суют же? Потому что это портит картину. А про критиков говорят про всех в общем. Мне кажется, вообще, критику и литературу разделять не надо. Статья Шкловского "Гамбургский счет", так же, как и произведение Нарбиковой, не отражает реальной картины. Не все так живут. Но мы это читаем как художественное произведение. Если бы Окуджава написал автобиографию, это было бы интереснее читателю, а он выбрал более престижный жанр — роман. В какой-то мере это и эссеистика, и еще что-то, и если это написано хорошим русским языком, то к литературе мы его отнести можем. Я не называю имен. Мне кажется, что литература — это воплощение идеи вечного двигателя, который живет без всего, и он будет всегда. Литература как жизнь. Мне кажется,сейчас не тот момент, когда есть ощущение высшего счастья, праздника, но и не тот момент, когда кто-то из близких умер, ощущение полной безысходности. Это тот момент, который через десять лет, когда все плохое забудется, мы будем вспоминать как нормальную жизнь.

Генрих Сапгир: Я все-таки стою на своем. Есть разные страны, а есть Россия. И в этой России случилась беда. Литературу покорила фальшь и пронизала ее насквозь. Это вещь вроде какого-то распада. И эта ситуация привела к тому, что ряд писателей и поэтов значительных и интересных оказались неизвестными публике. Беда прошла, и если раньше поколение являлось за поколением, рождая разные направления, то сейчас всплыли все поколения, которые писали в разное время. Сейчас очень трудно разобраться, и я хочу взять под защиту критиков. Писатели всегда обижались на критиков, это естественное состояние писателя. Но поскольку я оптимист, то верю, что накоплено такое сильное энергетическое поле, столько оригинальных, интересных личностей, то хватит на многих критиков. В этих вещах надо разобраться. Но я не вижу охоты в них разобраться, ведь не все постмодернизм, все московский концептуализм, не все метафоризм. Есть художники, Шагал, например, которых неизвестно, куда отне-

сти. Я видел альбомы примитивистов, сюрреалистов и экспрессионистов, где Шагал равно присутствовал. Он просто не умещается в одно направление. Есть то, для чего еще не придумали название. Я лично считаю, что сейчас никакой не промежуток, сейчас настоящий подъем литературы и искусства, но он подготовлен не только шестидесятниками, семидесятниками и восьмидесятниками, но еще и пятидесятниками, в общем, всеми теми, которых прежде не было слышно. Когда я читаю лагерные стихи Домбровского, меня они потрясают, потому что я вижу, что в сороковые годы человек писал совершенно замечательные вещи. Сейчас сложное положение для критики, но не сложное положение для писателей. Потому что те, которые считали, что наивный реализм — это все, что может изобрести литература, сегодня в тупике. Для людей, обладающих большей фантазией, чей ум может сопоставлять разные парадоксальные идеи, для них все идет дальше.

Валерия Нарбикова: Все, что ты сказал, замечательно. Но ситуацию, о которой, ты говоришь, подготовили все вместе в этом веке, подготавливали на протяжении XVIII, XIX и XX веков. Потому что литература не возникает на пустом месте, не может возникнуть вдруг. Существует развитие языка, которое остановить невозможно. Ты можешь отгородиться занавесом, тебя могут сажать в тюрьму, ты будешь уезжать, писать где-то, развитие будет идти. Развитие может идти в прямом направлении от официальных структур, которые будут поддерживать это развитие, и может идти независимым путем. Даже если язык будет сидеть в тюрьме, он все равно будет развиваться. К концу XX века мы пришли к выявлению момента развития русского языка: там есть все, там есть язык Державина, Тредиаковского, Ломоносова, Пушкина — язык, который он отвоевал, пренебрегая языком Державина, Тредиаковского и Ломоносова, и теперь из этих всех линий мы перешли к комплексу языка, который не погиб. Сейчас язык оказался очень отражающим языки, которые были в разных веках, и сейчас наступило время, когда язык может себе позволить быть современным, но естественным. Ему ничего не запрещено. Он совершенно вольный и идет туда, куда его гонит интуиция. А все остальное зависит от степени таланта, дара, гениальности человека, который пишет на этом языке. Но во всяком случае, сняты табу с языка. Это было один раз в XIX веке, когда вдруг после французского языка, который насаждался при воспитании, возник язык русский, потом возник язык Достоевского, тоже сильно отличающийся от предыдущего. Язык, на котором пишет писатель, должен очень сильно отличаться от языка, на котором говорят. И литературный язык не имеет никакого отношения к языку, распространенному в данный момент. Он может им питаться, его развивать, но это другой язык. Раньше за это могли убить, теперь за это в тюрьму не посадят. То есть сейчас нет момента расплаты за язык.

Константин Кедров: Убвают не тех, кто виртуозно говорит, а тех кто много знает.

Елена Кацюба: Меня тут однажды назвали пиратом. Так вот я хуже — я терминатор. Я считаю, что задача литературы заключается в том, чтобы уничтожать литературный процесс. Потому что литературный процесс это тот самый средний уровень, где существуют писатели, сознательно или несознательно подражающие, которые ничего нового в своей жизни никогда не придумали. Я думаю, что если каждым своим текстом я уничтожу что-то из этого среднего уровня, это большое счастье. Что касается критики, она тоже должна уничтожать. Советская критика отличалась тем,что была как бы объективна. Критик, собственно, и не должен быть объективным. Чего ради? Это же не учебник по литературе. Какой же ты критик, если ты объективен, значит тебе все равно? Литературный процесс сейчас сам себя уничтожает. Взять фильм братьев Алейниковых "Трактористы-2", сделанный на высочайшем кинематографическом уровне. Но своим существованием он уничтожает все вот эти фильмы, бывшие до него: "Кубанские казаки", "Свадьба в Малиновке" и масса других. Как бы их там не называли — классикой советского кино... На самом деле их уже нет. Так же Сорокин уничтожает книги, которые были до него. Однажды я в детстве прочитала роман "За Москвою-рекой". Так вот, никакие триллеры зарубежные не сравнятся по ужасу с тем, который я испытаала, когда читала эту книгу. Когда я читала "Сердца четырех" Сорокина, я вспомнила этот роман. Соцреализм — это и есть постмодернизм, потому что там действительно ловили все: как только пошла какая-то струя, ее надо отловить. Последняя из таких вещей была году в девяностом: за нашим столом сидел писатель, который писал роман о бройлерах. Первая часть у него происходила в нашей стране, а вторая — на ферме в Дании. Это был последний социальный заказ. В советское время была создана ситуация, когда вся литература представляла собой болото. Оно нужно в природе. Из него чистые ручьи вытекают, кулики яйца насиживают, личинки выводятся, которыми потом птички питаются... Человек, который входил в литературу, не мог миновать этого болота, потому что только из него все и происходило. В природе-то пусть болото остается. Но в искусстве каждая бездарность, которая напечаталась, считает себя литературным процессом, поэтому литературный процесс должен сам себя уничтожить.

Генрих Сапгир: Люди очень быстро все забывают. Да, это было болото. Но каким ужасом, каким зловонием от него несло. Какое бесчеловечное оно было. Из писателей делали трупы, вот, чем прославилось это болото.

Александр Глезер: Когда меня в 1967 году Оскар Рабин и Владимир Немухин привели впервые в русский лес в Прилуках, я сбежал

оттуда, потому что кругом видел Шишкина. Сейчас я к этому гораздо спокойнее отношусь. Люди, которые не остыли, понимают слово литературный процесс как что-то советское, хотя на Западе пишут о художественном процессе и о социализме при этом никто не думает. И плохих художников в этом процессе уничтожают. А сумма хороших произведений и средних потому что не могут быть только вершины, есть и холмы и есть литературный процесс.

Елена Кацюба: Еще литературный процесс похож на конкурс красоты под названием "Мисс бомж". Собрать женщин страшных, перекошенных, и все равно среди них найдется одна, которая будет их лучше, и дать ей звание королевы красоты, но от этого она лучше-то не станет.

Михаил Воздвиженский: Я тоже являюсь редактором двух томов серии "XX век": "Машины XX века" и "Рассказы XX века". Это очень трудная работа. Когда я подбирал авторов рассказов, Саша Глезер мне сказал: "Не забудь Юрьенена". А когда в одной компании писателей это услышали, они сказали, если будет Юрьенен, все, мы уходим. Я что хочу сказать. У меня был учитель ректор МВТУ академик Николаев. Он был своеобразным читателем. Тогда был очень знаменит Аксенов, я его очень любил. Принес я Николаеву рассказ Аксенова, где один мужик придумал печь, которая, если сунешь в нее вошь, засасывала ее. Николаев тут же начал доказывать, что никогда вошь туда не засосется. И такие бывают читатели. Вот я сегодня слушал все выступления. Казалось бы, чего нам рассуждать о литературе. Я бы не смог стать критиком, потому что, когда я читаю, у меня возникает тысячи вопросов, крючков. Я не представляю, как из этих крючков можно вылезти и сказать что-то определенное, вычленить концепцию. Самое актуальное для критиков это изучать писателя. Все названные имена, мне кажется, приучают читателя медленно. Это длительный процесс. Разве может большинству моих знакомых понравиться Нарбикова? Это люди, которые до конца жизни ее не воспримут, может дети их воспримут. Целое поколение должно пройти. А Сорокин, хоть он и говорит, что пишет для себя, на самом деле только и занимается, что ищет подход к читателю. Это четко прослеживается. Каждый рассказ сделан с серьезным отношением к читателю. Если бы его начать активно пропагандировать по ТВ, радио и т.д., его приняли бы, но я почти уверен, что он никогда не обрел бы сторонников среди специалистов старого пошиба. Он их отталкивает. Интересный момент, в прозе Шукшина как нигде присутствует разговор народный, но на самом деле, это все выдумка. Так, как писал Шукшин, люди не говорят. И этого ни один критик еще не заметил. А Юрский сказал, что он измучился и никогда столько не работал, как когда готовил рассказ "Сапожки". Он понимал, что ничего не получается. Удивительно, какие глубины лежат перед критикой даже в изучении такого ясно-

го писателя как Шукшин, куда уж там до современных авторов. Еще один момент насчет реализма. Сорокин — это чистый реалист, даже во второй части его рассказов, где начинается абсурд, это все равно реализм. Разве может существовать литература без реализма? Она ушла от социалистического реализма... Я хочу спросить у Новикова, бывает так, что вам произведение писателя не понравилось, но вы чувствуете, что он настоящий писатель?

Владимир Новиков: Все по кругу выскажутся, а я потом отвечу.

Олег Дарк: Цитата первая. У Венички Ерофеева есть такая фраза: "Отчего мне так печально?" Цитата вторая. Густав Шпет, русский философ, говорил, что в России нет никакой философской традиции, зато тьма философствующих. Он говорил также, что в России нет любви к чистому умозрению. Возникает такой вопрос, как соединить две вещи: тьма философствующих, и в тоже время нет любви к чистому умозрению. О чем же они могут философствовать? Они философствуют вокруг умозрения. То есть весь наш разговор вырождается в разговор о том, кому кто нравится. Кто как относится к Давиду Самойлову,кто как воспринимает Владимира Сорокина. Возникает болезненный для меня вопрос, можем ли мы вообще говорить о каких-то принципиальных вещах, которые не имеют отношения к личному вкусу? Теперь я скажу, как я воспринимаю сегодняшнее положение в литературе. Во-первых, ситуация и движение — вещи разные. Ситуация противостоит по сути движению. Литературный процесс вещь нормальная. Третья цитата. Базаров говорил: "Попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает и баста". Отрицать можно все что угодно, но из этого ровным счетом ничего не получится. Не следует отождествлять процесс и прогресс. Прогресс в литературе, может быть, и не возможен. Процесс — движение, более ничего.

Елена Кацюба: Называйте процесс движением.

Олег Дарк: А зачем? Можно называть галоши мокроступами. Во всех авангардистских рассуждениях есть привкус славянофильства. Нельзя говорить, что на Западе постоянно что-то происходит, а у нас все по-другому. Конечно, в Англии одно, во Франции другое, а у нас третье. Литературный процесс это общепринятое наименование, совсем не обязательно от этих вещей отказываться. Как я отношусь к сегодняшней ситуации в литературе. Мне кажется сама постановка "тупик или расцвет" достаточно абсурдна. Литература это и есть процесс, а процесс — это движение. Как может быть у движения тупик? По поводу расцвета. Это точка зрения, связанная с желанием опередить. Представьте себе, что Достоевский говорит: "Ребята, мы живем в Золотом веке". Это невероятно. Это все видится через огромнейшее расстояние. И говорить сейчас о том, что у нас расцвет, абсурдно. Сама постановка вопроса абсурдна. По поводу того, нравится мне

современная литература или не нравится. Я думаю, что у нас в стране положение чрезвычайно благоприятное для литературы, но не для литераторов. Если получил грант — хорошо, а нет — выкручивайся как хочешь. Для литературы — очень хорошая обстановка. То, что у нас делается в обществе, декаданс. Не в советском смысле слова, что это плохо. Просто с философской точки зрения это отмирание каких-то форм, каких-то норм, каких-то догм. И в то же время это использование через эти нормы других норм и т.п. И обязательная черта декаданса — эклектика. Я думаю, что только в условиях общественного декаданса может развиваться и двигаться изящная словесность. С другой стороны, тот материал, что у нас за окном, то ощущение трагизма, которое переживают многие люди, для писателя и художника это богатейшее поле. Он впитывает, воспринимает... Это то настроение, которое и может питать искусство. Я разделяю точку зрения Новикова. Лера сказала о том, что литература никому не нужна. На это была очень страстная реакция окружающих. Я бы позволил себе добавить, что литература должна быть никому не нужна. Только в этом случае она станет настоящей литературой. Это как с верой в Бога. Если вы верите в Бога и думаете, что он вам что-то даст, это суррогат.В данном случае я говорю как читатель, а не как имеющий отношение к литературе. Именно в случае совершенно незаинтересованного отношения к литературе, когда она не решает для меня никаких проблем, никаких экзистенций не содержит, она мне доставляет определенную чувственную радость, которая вне всякой утилитарности. Именно в этом смысле искусство и должно быть никому не нужно. И именно среди потребителей, которым эта литература не нужна, возникают ее бескорыстные любители. Литература и искусство, так же как и вера в Бога, должны, на мой взгляд, быть роскошью, излишеством неким. Когда эта вера становится необходимостью, например, у меня все умерли и я уверовал в Бога, это не вера. А когда мне хорошо, мне никто не нужен и тем не менее я признаю существование некоего высшего существа, тогда это настоящая вера в Бога. В конце я скажу о вечном противостоянии критика и писателя. Есть критики, ужаленные литературой, есть писатели, ужаленные критикой. Им очень трудно друг друга понять. Так как я имею отношение и к тому, и к другому, во мне этот конфликт очень легко примиряется. Для себя я делю критику на два класса: критику диалогическую и критику монологическую. То же самое, кстати, можно перенести и на литературу. Диалогическая критика предполагает диалог, то есть читателя. Она к нему обращается, в чем-то убеждает, она ему разъясняет — как очень любят говорить, что критика должна быть связующим звеном между читателем и писателем. А монологическая критика исходит из того, что мое мнение никому не интересно. Вообще, нравится мне Давид Самойлов или Константин Кедров, это никому не интересно. Я человек маленький и ничтожный, моя точка зрения не нужна, не важ-

на и не интересна никому. Что я делаю. Я пытаюсь доставить читателю маленькую радость. Я занимаюсь построением некой структуры, то есть я проявляю какие-то свои умения. Естественно, тут стихийно проступает моя точка зрения. И читатель, которому вдруг, почему-то понадобилось мое мнение, его вычитает. Но я не ставлю этой цели. Я играю. Я выстраиваю некий организм. Если я это сделал хорошо, это доставит удовольствие. Мне Лера как читателю нравится. Отношения у меня как эссеиста с писателями такие же, как у какого-нибудь традиционного реалиста с его друзьями и знакомыми. Я не убежден, что какому-нибудь герою моих статей понравится то, что я про него пишу, что Лере понравится то, что я вычитал из ее произведений. В ее произведении должен содержаться какой-то материал для меня, как в любом частном человеке должны быть черты, которые потом могут перейти в героя. Таковы, на мой взгляд, сегодняшние черты критики. Это не значит, что старую критику нужно уничтожать, я не терминатор. Напротив, она благополучно существует. Просто эпохи определяются доминантой того или иного типа. Я помню, когда мы собирались в "Юности", Саша Глезер сказал, что современные критики все самовыражаются. Нет, я считаю, что этот термин неверный. Я, например, выражаю не себя, то есть я выражаюсь постольку, поскольку вне этого человек не может. Я пытаюсь создать некую объективную структуру.Так вот, от монологической критики не следует ожидать больше того, что она может дать, потому что то все находится вне круга ее интересов.

Александр Глезер: Говорить о том, что литература должна быть не нужна, чтобы появились любители, это мне немного напоминает такой расклад: писатели реалистической школы заявляют, что они не признают новейшую прозу, что ее представители умеют писать, но им не о чем писать, и что литература должна учить чему-то читателя, в то время, как представители новейшей прозы говорят, что литература никому ничего не должна и учить не может. Мне кажется, что литература может учить, а может не учить. Нарбикова не хочет учить и не учит, а Максимов хочет учить и учит. Меня литература многому научила. Дюма меня научил, и Шаламов, и Достоевский, и Солженицын, а, скажем, Набоков не научил, в смысле добра, зла, дружбы. Но Набоков дал другое.

Валерия Нарбикова: Что именно?

Александр Глезер: Мне кажется, категорически нельзя ставить вопрос, должна учить или не должна учить, должен любить или не должен любить. У каждого читателя и писателя по-своему.

Игорь Холин: Когда возникает вопрос, нужна литература или нет, мне сразу приходит на ум, а кому это нужно? Ведь то, чем мы занимаемся, и то, что мы говорим, это же все пустое дело. Литература была,

есть и будет. Это же каждому сидящему за столом ясно. Но это кому-то нужно. Кому нужно доказать, что расцвета никакого нет? Патриотам. У них есть Можаев и еще с десяток писателей, а остальное это не литература. Я не согласен с Дарком только по одному вопросу. Он сказал, что ему литература не нужна. Если бы вам литература была не нужна, вы бы не сидели здесь, не печатали статьи. Мы все делаем вид. Теперь в отношении критики. Безусловно, критика есть. Но из корифеев я первого встречаю Новикова, который присматривается к новой литературе, а остальные критики замечательные на современную литературу смотрят из XIX века. Даже не из начала XX. Я не говорю, что нужно разбираться досконально, но поговорить о каких-то направлениях... Какие процессы, что за чушь?! Каждый человек индивидуален, каждый писатель индивидуален и у него свой процесс. А зачем вместе? Когда мне говорят о Лианозовской группе, я всегда шутя говорю:" Да какая группа? Там же собрались индивидуалисты одни". Действительно, Свешников, Рабин, Немухин — как можно говорить вообще? Я хочу заключить свое короткое выступление — все это пиздеж. В середине XXI века книги уже никому не будут нужны, их место займут компьютеры и дискеты. Нашел любимое место, включил, сделал текст... Это в середине века. К концу XXI века и писатели станут не нужны. Будет сидеть оператор, который наберет вам любую книгу, с любым направлением, на любую тему. Из того, что слышал, мне больше всего не понравилось то, что сказал Воздвиженский. Ну какой путь к читателю? Пусть читатель ищет путь ко мне, а я на него чихал!

Генрих Сапгир: Я хотел...

Валерия Нарбикова: Генрих, секундоку, а то это будет бессмысленно. Я просто с Игорем не согласна...

Генрих Сапгир: Так и я тоже. Я только насчет будущего. Я знаю одно, что люди всегда будут стараться опередить время. Тем и занимается искусство. Оно старается опередить или уйти в сторону, в общем, не оставаться в этом времени. Поэтому никакой оператор ничего не наберет, а если даже наберет, то это будет пошлость и банальность. А пошлостью и банальностью искусство никогда не будет заниматься.Оно будет заниматься изысканностью, чем-то из ряда вон выходящим. Люди, я думаю, что-нибудь изобретут вместо этой литературы какую-нибудь другую. Но поскольку за все свое существование, начиная с древнеегипетской культуры, люди ничего, кроме литературы, не изобрели, я думаю, она и дальше будет развиваться.

Валерия Нарбикова: Я абсолютно не согласна с Игорем Холиным по поводу того, что в XXI веке ничего не останется от литературы. Мне доставляют огромное наслаждение книги XVIII века. Бумага верже или

рисовая — качество издания это для меня большая вещь. Или если книга — репринт книги XVIII века, это очень хорошо. Я думаю, что твои книжки, Игорь, которые сейчас издаются тиражом в сто экземпляров, потом будут читаться вне телевизора, вне компьютера, люди будут их покупать как библиографическую редкость. Это страшная глупость думать, что кто-то чего-то может заменить. Потому что ничто ничего заменить не может. Я не знаю никакой литературы, которая могла бы заменить другую литературу. И еще реплика Олегу Дарку. Многие хотели ему возразить, потому что не поняли, когда он сказал, что литература никому не нужна. Последний период теперешней жизни складывается на парадоксах. Если человек говорит не парадоксами, он никому не интересен. Как только Лена сказала парадокс — мне не нужен литературный процесс — все оживились, то есть парадокс является стимулом обсуждения. Когда Олег говорит, что литература не нужна, этот тезис вызывает прилив сил...

Олег Дарк: Реплика по поводу того, что литература не нужна. Действительно, меня не поняли. Понимаете, парадоксом является все. Земля круглая — это тоже парадокс. Шестов говорил: "Я по ней иду — она же плоская, а меня пытаются убедить, что она круглая". Под "не нужна" я понимаю конкретную вещь. Литература не учит жизни, она никому не нужна, но она доставляет удовольствие. Но глубинное, философское вчитывание — я думаю, что это этап уже пройденный. У Сапгира, мне кажется, это никакая не мудрость, а блистательная игра, которая доставляет колоссальное удовольствие. И ничему она меня не учит и научить не может. И последнее, по поводу компьютера и т.п. Дело в том, что время, которое идет, оно наоборот освящает прошлое. И когда компьютер вытеснит литературу, именно тогда она приобретет истинную ценность. Когда человек будет смотреть "Кубанских казаков" как Чаплина — это ретро. Живи я в то время, все было бы иначе. А сейчас я получаю от этого колоссальное удовольствие. И в XXI веке, когда все будут жить в видеокультуре, наша литература окажется абсолютной ценностью.

Константин Кедров: Я понял, что на позициях эстетики советской критики стоят два человека: Дарк и Новиков. И в чем я это вижу. В тезисе, который повторялся несколько раз в шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годах: "Мы не имеем право судить. Вот пройдет столько лет, время покажет". Как раз всегда были люди, которые не были трусами и говорили: "Гоголь — великий писатель, Достоевский — гениальный писатель". И в этой аудитории есть такие люди. Я не буду смешивать этику с эстетикой, но думаю, что какая-то взаимосвязь существует.

Владимир Новиков: Нам не хватает советской власти. Потому что при ней все собирались и был один предмет — против советской вла-

сти. Ее сегодня у нас заменили четыре фетиша: постмодернизм, критика, литературный процесс и массовый читатель. Что значит нет постомодернизма? У нас не было постиндустриального общества, поэтому не было постмодернизма в политике, экономике. Но постмодернистская ситуация в искусстве есть хотя бы потому, что есть полицентричность художественного процесса. И то, что мы здесь собрались и говорим, является абсолютно самостоятельной системой, равноправной с другими группами, сборищами. Кроме того, есть классический постмодернизм, например Сорокин, который абсолютно не соответствует критериям языка, которые Лера Нарбикова как модернистка сформулировала. Сорокин — это постмодернистский писатель, очень архаичный и в своем пародировании соцреализма, и в своем эпигонском воспроизведении зауми начала века. Сорокин не языкастый писатель, саморазвитие языка в его прозе отсутствует, он держится на чисто композиционной конструкции. Постмодернистская ситуация существует, и все мы к ней причастны, даже не будучи постмодернистами. Теперь, что я хочу сказать о критике. Тут назвали критиков, занимающихся только критикой, корифеями, на самом деле это мутанты. Никогда не было критиков, занимающихся только критикой. Их создала советская власть. Правда, первым советским критиком был Белинский. Эта категория критиков вымирает. Что, вы хотите откликов от Станислава Рассадина? Не дождетесь. Он до конца дней будет писать, что Наум Коржавин хороший писатель. Костя, вы работаете в "Известиях", я работаю в "Общей газете". Где мы с вами можем найти критика, чтоб написал какую-то дельную статью? Нигде. Существуют профессиональные журналисты, которые работают прежде всего на читателя. Журналист не может работать ни на кого, кроме читателя. Его в газете не будут печатать, если он будет писать письмо своему другу-писателю с выражением любви к нему. В газете "Сегодня" задача самовыражения полностью затмила задачу анализа. Критика работает полностью на себя. Но это естественное стремление критика. У меня как у критика главная цель — доставить удовольствие читателю, даже если при этом я закопаю, уничтожу тысячу писателей. Это для меня самоцель, и я не исправлюсь. Теперь по поводу объективности. Елена Кацюба справедливо сказала, что никакой объективности быть не может, и новая критика может родиться только у писателей, таких, как Андрей Белый, Иннокентий Анненский. Критики будут направленческие, как Кедров был критик метаметафоризма. Отпарирую насчет того, что я не предсказываю, как Белинский, своего Гоголя. Свои Гоголи у меня есть. В области поэзии я довольно последовательно отстаиваю Виктора Соснору и Геннадия Айги, и считаю их гораздо талантливее и Парщикова, и Жданова, и Еременко, которым я совершенно открыто об этом говорю. И они, потупив очи долу, обещают, что постараются и переплюнут и Соснору, и Айги. В области прозы я долгое время боролся за Вале-

рия Попова, которого ставил выше Маканина, Петрушевской. Сейчас последние две его книги мне кажутся менее удачными. Но так или иначе, критики ждать неоткуда. Она возникнет как самовыражение литературных течений. И это и есть настоящий литературный процесс, когда течение создает своего критика. Кстати, есть еще профессора на Западе, которые занимаются исторической справедливостью. Которые уже пишут в академических трудах, что глупые советские критики не замечали лианозовцев. А в их академической истории есть глава про Сапгира, Холина, но это уже другая профессия, это не критика. Хотя Кулаков, не знаю, как вы оцените его уровень, пробовал этим заниматься. Он не критик, он чистый литературовед. О слове "процесс". Зачем его ругать? Чем отличается литературный процесс от литературы? Литература — это тексты, которые могут быть созданы и вне процесса, а процесс — это "Арзамас", это когда Жемчужниковы с Толстым Козьму Пруткова писали, это башня Вячеслава Иванова, это салон Гиппиус и Мережковского, это "Цех поэтов", это обериуты, лианозовцы, "Зеленая лампа" Александра Глезера. Я границы чувствую очень хорошо. Позвонил Глезер, назначил очень хорошее время, чтобы утром можно было писать, заниматься литературой, а сюда прийти и заняться литературным процессом. Совершенно четкое разграничение. Так что, литературный процесс это самоорганизация литературы, это литературные течения и направления, которые независимо от ЦК КПСС возникали. Виктор Соснора, например, совершенно к литературному процессу непричастен, он живет исключительно интимной литературной жизнью, поскольку он еще тринадцать лет назад потерял слух и ничего лишнего для себя не слышит. Это пример писателя вне процесса. И наконец, отвечу на вопрос Михаила Воздвиженского, как оценивать рассказ. Хотя про массового читателя много дурного было сказано, многие западные писатели, как Умберто Эко, например, не без пользы для себя осваивают массовые жанры. Чрезмерная замкнутость на элитарности опасна аристократическим вырождением.То есть высокой литературе нужны измены с массовой культурой, если, конечно, к этому располагает природа. Если человеку хочется быть элитарным, то не надо его стеснять, но если человеку хочется изменить с чем-то массовым, от этого будет только лучше литературе. И наконец, как определить, хороший рассказ или нет? Раньше я как тыняновец следовал принципу: "Литература есть динамическая речевая конструкция" .Прочел первую фразу, вижу, это динамическая фраза, с хорошим языком, с конструктивностью. Сейчас я стал смотреть немножечко иначе. Потому что появилось множество подделок под элитарность. Некоторые нынешние графоманы маскируются не реализмом, как в советскую эпоху, а таким квази-модернизмом. Курицын, помимо того, что он занимается критикой, написал повесть, опубликовал ее в "Знамени". Это пример графомании, стилизованной под элитарный модернизм.

Нам не надо забывать, что элитарность бывает подлинная и мнимая. Теперь, когда я читаю рассказ, до конца, помимо признаков текста я смотрю, как текст развивается в глубину, которая и передает глубину авторской личности. Это такой эмоциональный критерий. Будь это произведение модернистское, постмодернистское, реалистское, если я чувствую эту вертикаль, если я проваливаюсь в глубину текста вместе с личностью автора, то я его оцениваю положительно.

Генрих Сапгир: Здорово. У меня только одно возражение. Очень все ясно, четко,но... Я сам многого не знаю в литературе, многим не интересовался; так получилось, что многое прошло мимо меня. Я хочу сказать, что очень обрадовался, что у вас очень хороший критерий в области современной поэзии. Но вы с такой легкостью произнесли лианозовцы, что я вижу, что вы ничего не читали. А если читали, то очень мало. Правильно?

Владимир Новиков: Нет.

Генрих Сапгир: Ну,что вы могли читать?

Владимир Новиков: "Избранное" ваше читал, еще в самиздате читал. Другое дело, если у меня появится сказать про вас что-то, чего не сказали другие критики, о вас или Игоре Холине, тут же напишу.

Игорь Холин: Почему обязательно критик должен положительное говорить?

Генрих Сапгир: Я хочу сказать, что чувствую, что вы не специалист в этой области. Это не обвинение. Вы специалист в области Сосноры. Очень хорошо, что у нас появляются специалисты и профессионалы. Обо всем судить он не может, только о том, в чем он специалист, что он изучил. И я тоже не эклектик, я разбираюсь тоже в какой-то части искусства. Но весь мой пафос в пользу расцвета искусства, не промежутка, а расцвета. Потому что когда гляжу на холсты Свешникова, Штейнберга, бронзу Неизвестного — я это давно видел, думал над этим — то думаю, это шедевры.

Валерия Нарбикова: Во всем замечательном, что сказал Владимир Новиков, единственное — есть интонация очень утверждающая. Как бы критик, который это прочитал, уверен, а писатель, который это написал, в этом до сих пор сомневается. Мне очень нравится момент, когда Сократ беседовал с софистами. Сократ был как бы дурачок, а они как бы умные. То есть он у них все спрашивал про жизнь, про литературу, про искусство, а они ему умно отвечали на его глупые вопросы. И собственно задача писателя — ставить перед собой глупые вопросы про жизнь и глупо на них отвечать на каком-то своем языке, который критик потом может осмыслить. Это, по-моему, и есть процесс. Если бы писатель не задавал себе этих глупых вопросов, то вообще никакого бы процесса не было.

Константин Кедров: Я очень благодарен Володе Новикову, что в его заключительном слове, как на гербе Москвы — Георгий Победоносец на коне, поражающий змия — прозвучало: стоят три поэта — Парщиков, Еременко, Жданов и стоит критик и говорит: "Я же вам говорю, что вы не талантливее и т.д.", а они, потупившись, отвечают: "Мы, конечно... но мы постараемся". Спасибо, это герб советской критики.

Владимир Новиков: Наша профессия — профессия категорическая. Я читаю газету "Сегодня", которая взялась писать в такой амбивалентной манере. Мне хочется позвонить коллегам и спросить: "Ты как — за или против, и вообще, что ты хотел сказать?" Я, доктор наук, такой критики не понимаю. Я к читателю обращаю что-то категоричное, пусть он тысячу раз не соглашается. Но надо сказать, что я беру на себя большой риск. Газета "Завтра" уже три раза написала, что Новикова нужно уничтожить. И Глеб Горбовский написал, что он мечтает увидеть труп Новикова на могиле Рубцова, потому что я написал, что Рубцов — слабенький поэт, созданный усилиями Кожинова. Я единственный написал, что Веничка Ерофеев слабый писатель, это мое искреннее убеждение. Я вызываю огонь на себя. Но я с удовольствием прочту, когда о Веничке Ерофееве будет написана дельная статья, где будут не эмоции, а будет доказано, что он художник. Костя, ваши питомцы — Парщиков, Еременко и Жданов — бездельники, которые уже несколько лет ни черта не пишут. Посмотрите на труженика Соснору, который создал свой мир, а Еременко полгода пишет одно стихотворение и не может дописать. Цель моя — провокация. Дать Еременко, Парщикову, Жданову энергии, чтобы они еще что-то написали, потому что в целом он живут в обстановке колоссального перехвала. Лианозовцы наверное согласятся, что этим ребятам от западной славистики досталось лавров больше, чем им.

Елена Кацюба: Я напомню, что термин литературный процесс каждый понимает по-своему, но он возник в конце 70-х. Означал он совершенно четкую вещь: "Все, что написано, плохо ли, хорошо ли, талантливо или бездарно, является частью литературного процесса и должно сохраняться на века и годы". И когда я возразила: "Если ты видишь, что это плохое стихотворение, зачем тебе его сохранять?" — "Потому что это все ценно не для тебя, а для грядущих поколений". Я тоже грядущее поколение, на кой мне чье-то плохое стихотворение? Может литературный процесс — это процесс отбора?

Александр Глезер: Плохие стихи нужно сохранить как часть истории литературы. В плохих стихах большой и сильной группы была определенная идеология, которая давила всю остальную литературу. Так как исторический факт выражен в литературе, его надо сохранить.

Генрих Сапгир: Время, по-моему, само разберется. Потому что время одновременно и выявляет, и стирает. И ничего не поделаешь. Человечество все время в пути, всех чемоданов с собой не возьмешь, все лишнее выкидывается.

Елена Кацюба: Лучше заранее выкинуть, чем таскать с собой.

Олег Дарк: Небольшая реплика. Константиу Кедрову должно понравиться. Есть такой прозаик Егор Радов. В свое время он меня удивил, а потом я понял, что он прав. Он меня спросил по поводу романов Сорокина: "А знаешь, какой пафос всех этих текстов? — Полюби социализм". Сорокин сохраняет всю эту стилистику, там есть и соцреализм, и производственный роман, порно, все что угодно. И вот это и есть консервация всех этих стилей. Хочу добавить по поводу литературного процесса. Для меня это независимое ни от чего общение текстов: прошлых, настоящих и будущих. Традиции, цитаты, реминисценции. То есть это не литературные общества, а процесс литературы.

Александр Глезер: На этом мы закачиваем общение под магнитофон. Хочу подвести итог. Тут не нашлось ни одного человека, который бы сказал, что литература в тупике. Большинство сказало, что у нас все-таки близко к подъему, расцвету или расцвет. Кто говорит расцвет?

Генрих Сапгир: Я говорю.

Константин Кедров: И я говорю.

Александр Глезер: Так мы и назовем в журнале — "Все говорят: "Расцвет".

НАШ ЮБИЛЕЙ

В связи с тем, что своим предыдущим номером "Стрелец" вступил в одиннадцатый год существования 30 марта в Москве в салоне "Литературы XXI века" Чеховской библиотеки состоялся его юбилейный вечер. Зал был переполнен. На сцене вокруг главного редактора сидели поэты, прозаики и критики — авторы "Стрельца" Лев Аннинский,Семен Липкин, Евгений Рейн, Генрих Сапгир, Александр Кабаков, Валерия Нарбикова, Константин Кедров, Елена Кацюба, Михаил Айзенберг, Владимир Новиков, Катя Садур, Герман Гецевич, а также барды — москвич Игорь Гельман и приехавшая из Швейцарии Галина Бови-Кизилова. Главный редактор признавался в любви к авторам. Они отвечали ему тем же. Генрих Сапгир вручил Глезеру будильник, дабы последнему не приходилось время от времени звонить в Нью-Йорк своему другу литературоведу Петру Тартаковскому с просьбой разбудить в пять или шесть утра по московскому времени.

А затем на протяжении почти трех часов в зале звучали стихи, проза, песни на слова авторов "Стрельца" и, конечно, приветствия и поздравления в адрес альманаха и его основателя.

В сравнительно небольшой зал библиотеки не смогли попасть многие любители изящной словесности. Более того, один из авторов "Стрельца", прозаик и критик Евгений Шкловский, не сумел пробиться на сцену. Поэтому юбилейный вечер в апреле пришлось повторить в Малом зале Центрального дома литераторов. И снова на протяжении трех часов читали свои произведения Евгений Рейн, Генрих Сапгир, Александр Кабаков, Константин Кедров, Елена Кацюба, Ольга Новикова, Евгений Шкловский, Асар Эппель, Александр Тимофеевский. И вновь зал был полон.

Ниже мы приводим тексты выступлений на обоих юбилейных вечерах, касающиеся "Стрельца" и его неизменного шефа.

Стрелецкий вечер № 1 в Чеховской Библиотеке (30 марта 1995 года)

Семен Липкин: Мы помним из истории, что Петр Первый сражался со стрельцами единоутробной сестры Софьи и победил. У Волошина есть такая строчка в поэме "Россия": "Великий Петр был первый большевик". Таким образом первый большевик победил стрельцов. Но нынешние большевики не победили "Стрельца". Получается, что "Стрелец" победил большевиков, и я с этим поздравляю главного редактора Глезера.

Лев Аннинский: Я считаю, что Александр Глезер — это удивительный человек, который, будучи по вкусам абсолютным шестидесятником, нашел в себе бесстрашие сделать издательскую ставку на молодые поколения, которые к шестидесятникам относятся неоднозначно. Это доказывет, во-первых, потрясающую интуицию Глезера, это доказывает, каким образом можно выжить, когда приходится с одного берега над океаном перекидываться на другой берег. Речь идет о том, что надо чувствовать настроение людей и дать возможность высказаться тем, кому есть что сказать. Главное откровение того, что здесь происходит, это даже не то, что есть стопки журналов, отпечатанных чудесным образом из рукописей, главное откровение, что здесь не хватает мест, что столько народу пришло. Это значит, что литература еще не вполне умерла, что что-то еще возможно. Это значит, что, когда было сказано: "Пусть Россия исчезнет, а потом из любого уезда, любой точки она начнет сама собой расти", это было сказано правильно, что и в нынешней смуте что-то растет. Вот это и есть главное откровение, свидетелями которого нас сделал Глезер. В заключение хочу тебе как Овен Стрельцу сказать: "Дай Бог тебе всегда сохранять состояние стрелецкого бунта, но не дождаться утра стрелецкой казни".

Константин Кедров: Когда вся страна радовалась перестройке для меня это были черные времена. КГБ навалилось на меня и отстранило от преподавания в Литинституте. Все говорили про какую-то свободу, а я ждал — не то посадят, не то не посадят. В это время Саша как раз стал меня печатать. Учитывая то, что советские издания как не печатали, так меня и не печатают, представьте, насколько смел Саша Глезер.

Владимир Новиков: Изначальной идеей "Стрельца" была идея полноты спектра. Глезер как издатель и как редактор всегда обладал

полиглотским качеством. Есть такая закономерность: что если человек любит крайности, эксперимент, что-то необычное, то он понимает весь остальной спектр искусства. Иначе говоря, искусствовед, который не понимает Кандинского, ничего хорошего и ценного и про передвижников не скажет. Аналогии с изобразительным искусством возникают недаром. Почва и судьба "Стрельца" — это почва художественная. Эта связь литературы и изобразительного искусства, этот лианозовский контекст который не случайно разворачивается в "Стрельце", я думаю, именно это позволит "Стрельцу" выжить в любых условиях. И еще одна хорошая особенность есть у "Стрельца" — у него очень небольшой аппарат. Все журналы обладали большим аппаратом, когда, как говорил Шкловский, чтобы пробить комедию, надо было рассмешить двенадцать человек, а это невозможно. Глезер работает совершенно иначе. Он не просто отбирает произведения, а он их еще и вдохновляет. Это относится ко всем журналам. Они смогут выжить только тогда, когда будут работать не в кабинетном стиле, ожидая, когда им принесут шедевр, а они его два месяца промурыжат и завернут. Произведения надо режиссировать. То есть редактор журнала - это человек, после встречи с которым хочется сесть и написать. Если все люди будут так работать, как главный редактор "Стрельца", то литература в России будет продолжаться.

Александр Кабаков: Для меня в деятельности Саши достаточно одного того, что он опубликовал Сережу Юрьенена. Уже за это я его люблю. Вообще, истории очень многих русских авторов можно было заканчивать или начинать словами: "Нашелся Глезер". То, что Саша делает со своим "Стрельцом" уже многие годы, это на мой взгляд, абсолютно уникальное явление. Обложка, под которой можно встретить людей, не способных в другой ситуации объединиться что называется на одном гектаре, более того, таких же абсолютно несоединимых людей можно встретить в редакционной коллегии. Это очень много говорит не об этих людях, которые, как все нормальные слабые люди, враждуют между собой, а уж как литераторы тем более, а это очень много говорит о Глезере. Я думаю,что роль, которую Саша играет в истории русской литературы последнего времени, она только его. "Стрелец" не принадлежит ни к какой литературной партии, никакая литературная партия его не поддерживает. Я не даром об этом так много говорю, потому что наша постсоветская литературная жизнь как правило окрашена тем же самым, чем была окрашена советская. Это компании, группы, родство душ, квартирных интересов, формальных пристрастий и в связи с этим — карьерных надежд. Всего этого нет в "Стрельце" и, вообще, там,где появляется Глезер, при всей непримиримости его характера и склонности к принципиальным конфликтам. Я не знаю, как он выжил: раньше при той истории с ПЕН-центром, которая у него произошла, советская психиатрия ставила официаль-

ный диагноз "правдолюбец". Я думаю, что этот диагноз должен быть записан в историю сашиного душевного здоровья.

Евгений Рейн: Так много сказано о "Стрельце", что добавить уже решительно нечего. Я только могу сказать, что последние десять лет моей жизни прошли со "Стрельцом". Я помню его в виде ежемесячных тетрадок, потом в виде альманаха, который сейчас выходит. Он всегда был для меня сборником лучшего, важнейших новостей нашей литературы. Действительно, все наиболее значительное, что как-то связано с важными событиями в русской литературе и как-то опирается на круг имен, все прошло через "Стрелец". Как сказано поэтом: "Тут не убавить, не прибавить, так это было на Земле..."

Валерия Нарбикова: Мне очень приятно, что "Стрелец" — плюралистический журнал, в котором печатаются авторы разных направлений и все это происходит достаточно прилично и тихо. Нет ни одного человека, который бы встал и что-то выкрикнул, подрался бы с кем-то. А представьте себе, если бы здесь собрались редакторы или авторы журналов совершенно разных направлений — "Наш современник", "Москва", "Юность", "Знамя", газет "Сегодня", "Завтра" — изданий, которые на своих страницах достаточно тихо выдерживают бой, если свести всех этих людей вместе одновременно в замкнутом пространстве, то может быть очень нехорошо. Так вот, "Стрелец" потому и хорош, что каждая его страница тихая, в ней нет человека живого. То есть он живой, конечно, но уже после того,как его живого напечатали и остался текст.

Виктор Ерофеев: Это одно из первых изданий в тогдашнем Советском Союзе, который рискнул напечатать мои вещи, а вышли они уже в независимой России.

Михаил Айзенберг: Все слова уже сказаны, остается только описывать свои личные ощущения. Главное ощущение — это ощущение личного комфорта, состоящего из трех составляющих. Во-первых, очень приятно иметь отношение к сегодняшнему празднику, во-вторых, очень приятно оказаться в такой милой, прекрасной, талантливой компании, я имею в виду и читателей, в-третьих, приятно находиться в непосредственной близости к источнику мощного культурного начала.

Стрелецкий вечер № 2 в ЦДЛ (8 апреля 1995 года)

Юрий Кублановский: Что я ценю в "Стрельце" и что выделяло его из других эмигрантских изданий, так это его совершенная идеологическая неангажированность.

Мы знаем, к примеру, что журнал "Синтаксис" Синявского — это был журнал с претензией на эстетизм, очень идейный. Почти в каждом номере была критика Солженицына, многих и многих духовных явлений, которые не соответствовали личным взглядам Синявского и Розановой. Владимир Максимов тоже был зажат в значительной степени и деньгодателями, и собственными представлениями о том, что надо — и политическими, и эстетическими. И только журнал Александра Глезера был действительно свободным, не допускавшим вместе с тем никаких хамских выходок по отношению, к примеру, к Александру Исаевичу Солженицыну. Я знал, что не только моя поэзия, но и публицистика не могли бы найти места на других страницах. Только Саша Глезер безоглядно это публиковал, не думая, что это как-то повредит конъюнктуре его журнала, потому что он был независим от определенных идеологических установок. То, что журнал этот выжил и постепенно превратился в альманах, была для него органичная трансформация. Александр Глезер был одним из первых русских эмигрантов, поехавших в Россию, потому что он ставил контакты с родиной гораздо выше определенных политических спекуляций. Он так же, как и я, достаточно рано поверил в необратимость начавшихся здесь процессов. Он поехал сюда, когда еще многие эмигранты считали поездки в Красную Мекку колаборанством и упрекали Глезера за его поездки. Я всегда это приветствовал и знал, что это придаст сашиным культурным начинаниям новый импульс и свежую кровь.

Генрих Сапгир: Моя первая книга "Сонеты на рубашках" вышла в издательстве "Третья волна" в 1976 году. Издал ее Александр Глезер, я так понял, потому, что я оказался такой смелый: нашел французский его адрес и поскольку я знал Сашу раньше, то я перепечатал свою книгу на большой лист бумаги — все сонеты вплотную и послал ему. Тогда на Международном почтамте смотрели все письма, но каким-то образом оно до него дошло. И где-то через полгода знакомый дипломат в машине вручает мне мою книжку. Я в ужасе ее беру и знаю, что показать ее никому не могу. Потому что у меня уже был прецедент, когда меня вызывали в КГБ и показывали мои публикации, за которые я должен был ехать либо на Запад, либо на Восток. Я говорил: "Ну что вы, это без моего ведома..." Люди быстро все забывают. Все уже забыли про всепоглощающий страх. Слава Богу, что есть такие люди, как Саша Глезер, которые издавали нас и издают.

Евгений Рейн: К великому моему сожалению, я довольно поздно познакомился с Александром Глезером и со "Стрельцом". Многие годы знал эту фамилию, видел "Стрелец", но познакомились мы только семь лет назад на вечере в Нью-Йорке. С тех пор я много раз печатался на страницах "Стрельца" и считаю это для себя большой честью. Мне действительно очень нравится журнал прежде всего необыкновенной широтой, почти всеохватностью своего вкуса. В отличие от многих

ангажированных журналов, этот журнал печатает все, что считает, талантливым, даровитым, новым, значительным. Почти невозможно назвать сколько-нибудь значительное имя, особенно в новейшей литературе, которое бы миновало "Стрельца". Это громадная заслуга издания и Глезера. Саша не даст мне соврать, каждый новый номер "Стрельца" я у него немедленно беру и он является моим насущным чтением. Так что я готов пожелать "Стрельцу" многих десятилетий преуспевания, я понимаю, что это дело невероятно нелегкое. Нужны деньги, нужная какая-то оборотистость, тем не менее все это уходит куда-то в небыль, а номера "Стрельца" остаются у читателей, остаются у авторов, остаются в библиотеках, расходятся по всему миру, и это, на мой взгляд, чрезвычайное достижение.

Асар Эппель: Огромное спасибо Александру Глезеру за то, что на моей первой и единственной книге стоит надпись издательства "Третья волна". Потому что я сейчас в Риме принес в магазин эту книгу, и когда некая синьора Роза прочла — "Третья волна", она сказала: "Да, да, конечно, мы берем".

Игорь Яркевич: По-моему, сейчас ситуация начинает костенеть, леденеть и становится зеленой тоской. То есть то, что называется нашими толстыми литературными журналами, благополучно избегают меня и сегодняшних писателей. Вот им бы поучиться тому, что называется эстетической толерантностью у господина Александра Глезера.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Михаил Воздвиженский
Шрам от взгляда. Повесть 4

Виктор Соснора
Бессмертье в тумане. Стихи 30

Андрей Бычков
Ночная радуга. Рассказ 34

Марина Темкина
Из страны зимы. Стихи 41

Нина Садур
Заикуша. Повесть 46

Вадим Фадин
Нить бытия. Стихи 85

Тихон Непомнящий
Не жизнь, а еврейский анекдот. Главы из повести 88

Елена Кацюба
Пять стихотворений 105

Игорь Шевелев
История Полифема. Рассказ 109

Валерий Краско
Пять стихотворений 124

Наталия Семынина
Капричос. Рассказ 129

Игорь Меламед
Терцины. Стихи 136

Игорь Мартынов
Я ненавижу американский империализм и
слов на ветер не бросаю. Рассказ 140

Александр Вайнштейн
Экватория. Стихи 145
Игорь Яркевич
Знаки тьмы. Рассказ 149
Ольга Ильницкая
Озноб костров. Стихи 157
Игорь Зотов
Запах кардамона 159
Владислав Пинхасович
Ленинградский вокзал. Стихи 172
Владимир Тучков
Двадцать первый Петров.
Песня о порожней молодости. Рассказы 174

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей Ранчин
Война и мир Георгия Владимова:
о романе "Генерал и его армия" 181
Зинаида Миркина
Не уронить звезду 191
Евгений Шкловский
Потакая чуду 198

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

А. Ветлугин
Записки мерзавца. Роман. Окончание 203
Виктор Шкловский
Сюжет в стихах (Маяковский и Пастернак).
Предисловие Ольги Панченко 251

НЕРУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Сергей Юрьенен
Американский сюр на русские темы 273
Норман Мейлер
У собора Святого Исаакия в Ленинграде 274
Дональд Бартельм
В музее Толстого 275
Джой Уильямс
Гурджиев в солнечном штате 278

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Вернисаж
На открытии выставки коллекции Александра Глезера в Музее частных коллекций при Музее изобразительных исскуств им. Пушкина. 20 сентября 1995 года 281

Праздник нонконформистов 287

"ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА"

Литература: тупик или расцвет?
Участвуют: Михаил Воздвиженский, Герман Гецевич, Александр Глезер, Олег Дарк, Елена Кацюба, Константин Кедров, Валерия Нарбикова, Владимир Новиков, Ольга Новикова, Генрих Сапгир, Игорь Холин 292

ПОД ЗНАКОМ "СТРЕЛЬЦА"

Наш юбилей 312

ЛР № 030469 Заказ 3176
Отпечатано с оригинал-макета в ДПК.
142040 Домодедово, ул. Пионерская, д.18.